



SHOUT
SHARE

IT



Annotation

Автобиографический роман А. К. Воронского, названный автором «воспоминаниями с выдумкой». В романе отражены впечатления от учебы в тамбовских духовных учебных заведениях.

- А. Воронский
 -
 - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
 -
 - I. Мир
 - II. Дедовская Русь
 - III. Люди
 - ЧАСТЬ ВТОРАЯ
 - I. Вертеп Магдалины
 - II. Туги-душителы
 - ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
 -
 - I. Исход
 - II. Утраты
- notes
 - 1

А. Воронский
Бурса









ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«На морском берегу бесконечных миров собрались дети.

Беспредельное небо неподвижно над ними и немолчные воды охвачены бурей.

На морском берегу бесконечных миров с криками и плясками собрались дети.

Строят они себе домики из песку и играют пустыми раковинами. Из листьев опавших они сплетают кораблики и, улыбаясь, пускают их по широкой пучине. Дети играют на морском берегу миров.

Они не умеют плавать, они не умеют закидывать сети. Искатели жемчуга ныряют за жемчужинами, купцы плывут на своих кораблях, а дети собирают камешки и снова разбрасывают их. Они не ищут скрытых сокровищ, они не умеют закидывать сети.

Море вздымается с хохотом, и бледной улыбкой мерцает морской залив. Смертоносные волны напевают детям незатейливые песни, как поет мать, качая колыбель младенца. Море играет с детьми, и бледной улыбкой мерцает морской залив.

На морском берегу бесконечных миров собрались дети. Буря мечется в бездорожном небе; корабли бесследно тонут в пучине; смерть свирепствует, а дети играют.

На морском берегу бесконечных миров великое собрание детей».

«Гитанджали»,
Рабиндранат Тагор

ТРЕХ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ, бегая по горнице, я ударился о печную дверцу и проломил голову: спустя несколько месяцев опрокинул на себя кружку с кипятком и обжог локоть; пометки остались на всю жизнь. Об этих случаях узнал я от старших. Не запомнил я в эти годы ни одной зимы. А вот альчики-камушки во влажном желтом песке, и как я ищу их и радуюсь им, — запомнились. Помню дуб в лесу за рекой Вороной, уродливый и могучий, — я прижимаюсь щекой к его окаменевшей коре и притворяюсь, будто хочу на него взобраться. Помню солнечные косяки в пятнах, в струйках: рядом дрожат и прыгают зайчики. Окно настежь открыто. За окном сирень, утренняя прохлада. На листьях дрожат сверкающие крупные капли росы, готовые упасть. От подушки, от простыни — сухое, ровное тепло. Кривой пустой рожок с резиновой соской висит у изголовья. Я хватаю рожок. От соски пахнет кисловатым, прокол по краям побелел. Держу рожок обеими руками и жадно сосу, но он скоро мне надоедает, и тогда я подтягиваю ногу и, пыхтя, сосу большой палец. Это куда вкуснее. От сосания меня долго не могли отучить.

В канаве за домом поймал я тритона, боялся его и жалел упустить; и все же упустил; тритон был холодный и скользкий. В роще напугал меня уж. С высокого сырого пня, где лежал он кольцом, уж блеснул темной лентой и со свистом скрылся в траве. И страшно и очень занятно...

Солнце осыпается ослепительной прозрачной пылью. Солнце во мне, повсюду, оно затопило леса, берег, луга. Река блещет до рези в глазах. Песок чист и горяч. Стаи рыбной мелюзги, лукавой и легкой, суетятся в прозрачной и теплой воде. Дно покрыто трепетными бликами. Сажу на корточках и не вижу, что уже успел замочить рубашку. Все, что двигается, живое, живое таинственно, любопытно; привлекает к себе. Живое есть радость. Я быстро погружаю в воду руку с распластанными пальцами. Раз, два! Неудача! — в руке ничего нет: мелюзга разбежалась, она играет подальше от берега. Осторожно я подвигаюсь к ней: ах, как хочется поймать! Башмаки давно в воде, рубашка намочила почти до пояса. Опять неудача! Сзади нянька Груня хватает меня подмышки, тащит на берег и шлепает. Я барахтаюсь и кричу не от боли, а оттого, что непременно хочется поймать силявку и настоять на своем. Не припоминается ни одного размышления. Мир. Живое... Все живое... Живое влечет к себе... Ощущения свежи, отрадны.

...Открывается дверь в спальную. Спальная в сумерках. Я лежу почему-то не у себя на кровати, а на широкой постели, где спят обычно мать и отец. Темный неизвестный человек приближается ко мне медленно, неторопливо высыпает на одеяло из карманов много гостинцев в разноцветных бумажках. Лица у него не разглядеть. Гостинцы я прячу под подушку. Утром шарю под подушкой. Гостинцев нет. Я плачу. Входит мама. Я жалуюсь: неизвестный дядя подарил мне много гостинцев, я спрятал их вот сюда; кто-то их взял у меня. Мама смеется — «Дурачок, — все это тебе приснилось». — Пускай приснилось, но куда же девались мои гостинцы? — Соленые слезы попадают в рот. Слюни текут на нагрудник, его не снимают с меня и по ночам: такой я слюнявый. Нагрудник прокис; я срываю его и требую моих гостинцев. Может быть их взяла противная Груня?!

...Отец в лиловой рясе, светлородый, и мама в широкополой соломенной шляпе усаживаются в тарантас. Меня обещали взять с собой, но обманули. С ревом бегу я за тарантасом. Груня перехватывает меня на дороге, где в колеях горячая пыль. Я визжу, кусаюсь. В кухне кухарка Анисья сует мне огрызок бублика. Я выбиваю огрызок из ее рук. За мной больше не ухаживают. Я долго кричу, кричать надоедает, и я уже только тихонько хныкаю, но когда замечаю, что на меня обращают внимание, хнычу громче. Голос мой мне самому противен. Анисья всердцах говорит:

— Будя! Не бросишь кричать, вытолкну в сенцы. Там вурдалак на чердаке тебя дожидает.

О вурдалаках Анисья при мне рассказывала Груне. Вурдалаки встают из могил по ночам, проникают к сонным людям, надкусывают им шеи, пьют кровь; люди умирают. На миг я притихаю, кошусь на дверь, но вдруг неожиданно для себя раздражаюсь новым ревом. Анисья хватает меня в охапку, я отбиваюсь, но она легко справляется со мной и выбрасывает за дверь: — «Родимец тебя расшиби!.. Возьми его, вурдалак!» — В сенцах темно; лишь с потолка, через квадратное чердачное отверстие пробивается немогущий, бледно-желтый свет. На чердаке видны задки сношенных сапог, метла, угол печной трубы. Я замираю от страха и черных предчувствий, жду вурдалака. Знаю, он должен непременно появиться. И вот вурдалак появляется в чердачном отверстии. У него нечеловечья мохнатая лапа, предлинные когти, узкое синее лицо, иссиня-темные губы. Обман зрения настолько нагляден, что я вижу, как вурдалак машет лапой, точно бросает вниз камни. От лапы на стену в просвете ложится огромная тень, она двигается, и она страшней

самого вурдалака. Не сводя с него глаз, я жмусь к двери, обитой рваным войлоком, а вурдалак все машет, все машет рукой, но ко мне не спускается. Неизвестно, сколько времени все это происходит. Груня открывает дверь. Меня трясет «родимчик». Груня долго не может со мною справиться.

— Ничего, милой, ничего... Примнилось... У курочки болит, у собачки болит, у коровки болит, а у Лешеньки нашего все, все заживет.

В сенцы я долго потом не решался один выходить.

...Другой обман, обман слуха, был приятен. Часто кто-то окликал меня по имени и так ясно и громко, что я быстро оглядывался и удивлялся, когда не видел никого кругом. Голос был далекий, он звучал как музыка...

...С дивана я показываю на картину: бабушка, повязанная пестрым платком, с очками на конце пухлого добродушного носа, вяжет чулок; рядом — кудрявый, светловолосый мальчик. Оба сидят у плетня на охапках сена. Вдали церковь, рожь, луга.

— Это кто будет?

Отец кашляет, прикрывает горсткой рот, осторожно гладит меня по голове:

— Это твоя бабушка...

— А это кто будет?..

— А это ты будешь. Бабушка рассказывает тебе сказку.

Бабушки такой я никогда не видал. Очень также странно, что я нарисован на картине. Правда, я — кудрявый, вот они — мои кудри, и мальчик на картине кудрявый, вот они — его кудри, — все же непонятно, как же это я очутился на картине. Но я верю отцу, он для меня высшее существо. Он все знает. Никогда мне с ним не сравняться. Я верю ему вопреки очевидности.

...Но разве взрослый человек не верит сплошь и рядом вопреки очевидности?

Взрослые все знают. Но и я иногда не ударю в грязь лицом. Старшие говорят — «Продолжайте рассказывать, он ничего не понимает, он занят своими игрушками». — Пускай так думают, а я слушаю и понимаю и только притворяюсь, будто занят игрушками. Говорят про чужого дядю, про доктора: дядя «прохлопал» свою тетю и она сбежала от него с купцом Миловановым. «Прохлопал» — он ее пребольно бил не то кнутом, не то палкой. Взял да и прохлопал насквозь. От такого сбежишь!

Я — хитрый. Знание свое таю в себе и чувствую свое превосходство перед взрослыми.

Взрослые умные, они все знают. Но они в конце концов занимают меня меньше животных, насекомых, птиц, вещей. Котенок, бабочка, майский жук, божья коровка, сверчок за печью,

пенал, кнут, деревянная лошадка, песок, яблоня — мне ближе, занимательнее. Взрослые отстоят от меня дальше. Они делают много непонятного и мне несвойственного.

...Мир мой около меня. Это то, что я вижу хорошо, могу брать, могу есть. Мир мой ярок и свеж, он точно умыт. По-своему он для меня огромен. Огромна комната с потолком, до него не долезешь нипочем, сад тоже огромный, а за ним начинается беспредельное и неведомое. Отсюда тоска. И каждый день приходится что-нибудь узнавать и удивляться. В жизни самое хорошее — удивление. Вместе со мной рядом двигается тень, я пробую изловчиться и наступить на нее — никак не удается. Бегу от нее запыхавшись, а тень все около меня... Удивительно... Если надавить пальцем глаз снизу вверх, все удвоится... Если долго кружиться, — комнаты, столы, стулья, пол тоже пойдут кругом... Прыгаешь со стула и машешь руками, точно птица крыльями, но полететь не удастся, а птицы почему-то летают. Все это и многое другое удивительно...

...Пожалуй, самое удивительное — заводные игрушки. Они не живые, они сделанные, но они будто живые, сами двигаются, бегают. А сколько в них колесиков, винтиков, пружин и всякой мудрой всячины! Повернешь ключ и в коняшке что-то зашипит, и коняшка скачет по полу. В гостиной на столе — ящик с музыкой: ящик заводят и он «сам» играет. Даже иногда страшно от всего этого, сделанного человеком.

...Простые игрушки впрочем тоже чего-нибудь да стоят. С базара мама принесла лошадку в подарок. Нимало не медля принимаюсь я за нее и, пока накрывают к обеду стол, успеваю продырявить лошадиное брюхо. Подходит мама, укоризненно качая головой, журит:

— Зачем портишь лошадку? Она такая славная!

— Кишки ищут! — пыхтя и надувая щеки я запускаю в дыру указательный палец.

Игрушку отнимают, но вечером, улучив досужий час, я довершаю начатое дело. Кишек нету. Плохая лошадка! У настоящей лошадки, говорят, есть кишки!

...Очень хочется скорее стать «большим», до того хочется, что утрами я изо всех сил тянусь вверх: авось подрасту. Большим можно носить очки, самому снимать штаны, садиться на горшок, засыпать, когда вздумается, не есть пресной манной каши, если не охота, не хорониться, чтобы всласть пососать палец... Да здравствует полная свобода!.. Огорчений и обид не оберешься, до того стесняют во всем и мама, и отец, и Груня, и кому только не лень. Но горе и забывается очень легко. Дел по горло. Надо изображать пастуха, ямщика, скакать верхом на палочке, гей, мой

верный конь вороной, — надо строить шалаш, надо подразнить немного — с опаской — дворнягу Шарика. Каждое утро точно рождаешься или начинаешь жить новой жизнью. Нет ни прошлого, ни будущего, а одно настоящее, да и оно лишь в том, чем занят сейчас, сию минуту. Быть занятым с утра и до вечера — и ничего делового, связанного с расчетом, с обманом и с ложью, — о, великая детская беспечность!

Детство — это забвение и беспечность. Забывают, чтобы лучше, свежей воспринимать. Но вот проходят годы, человек стоит с обнаженной головой пред безбрежным океаном. Кипят пучины, из недр их поднимается Левиафан вечности, с сердцем твердым, точно камень, и жестоким, как жернов... а позади многое, многое, что утомительно и беспощадно хранит память и что нужно бы по-ребячьи откинуть от себя навсегда!..

За палисадником огород, за огородом — кусты и болото. Болото тянет к себе. В нем головастики, лягушки, жуки, пауки, козявки, гукает бучень. В нем — тина, кочки, камыш, в камыше неизвестность. Но в болоте есть еще что-то такое странно-притягательное и неведомое, и я подолгу в одиночку смотрю на болото, прислушиваюсь и чего-то жду. Я не могу об этом написать лучше, чем написал когда-то Мопассан, а написал он о болоте просто и необычайно:

— В болоте в часы солнечного заката есть... присутствие какой-то смутной тайны, готовой вот-вот открыться жизни, которая, быть может, родилась когда-то из поднявшегося со дна болота на закате газового пузырька!

Самое сильное ощущение жизни связано у меня с болотом.

...Многое мелькает в тумане, и нельзя с уверенностью сказать, во сне ли то привиделось, или было то наяву... Стою в сумерки у окна. За окном — пустырь, дальше — река в снегах, за рекой — церковь с тонким, длинным шпилем. Над шпилем в сером небе вьется галочья стая. Место незнакомое. От сумерек, от тонкой иглы, от галок, от пустыря, еще от чего-то до того грустно и тоскливо, что надо сделать усилие, чтобы не заплакать. Нет, никогда не вырваться отсюда, и податься совсем некуда.

Где, когда я видел наяву все это — не знаю.

Но о шпиле, о пустырях я неожиданно и тоскливо вспомнил, увидев в первый раз Петропавловскую крепость.

Сон в руку!

...В чем мое «я» теперь, когда седеют волосы и выцветают глаза?

Это — ощущения, это — страх, радости, горе, надежды. Но все больше и больше кажется мне моим «я», его ядром — мое сознание. — Cogito, ergo sum — мыслю, следовательно существую, — сказано стариком. Это заметил кто-то очень верно. В детстве «я» прежде всего в ощущениях. И потому, вероятно, многие детские ощущения сохранились с ослепительной яркостью, а свои мысли тогдашние я припоминаю хуже. Теперь же со мной происходит обратное: ощущения все тускнеют, а мысли очищаются...

...Зато какой рой вопросов обуревают ребенка позже, при пробуждении рассудка!.. Прямо податься некуда! Отчего мычит корова? Почему у петуха красный гребешок? Отчего видятся сны и где я бываю, когда сплю? Почему у собачки четыре ноги, а у меня две? Почему на небе звезды и можно ли их достать, если к ним лезть, все лезть до самого верху? Почему деревья выше человека? В каком месте кончается свет и что есть там дальше, где свет кончается и где ничего нет? Можно ли видеть невидимых ангелов? Отчего я родился и что я делал, когда еще не родился, и что было, когда еще ничего не было? Все это требует безоговорочных и окончательных ответов. Дети — величайшие метафизики. А ответов-то и нет. Старшие все знают, но они чаще всего отходят от шуток, либо ссылаются на то, что им недосуг, или говорят: подрастешь — узнаешь. А может быть и взрослые не все знают?.. И это непорядок, и неизвестно, как же быть?..

...Лежу в кровати с тяжелой и горячей головой. Сохнут губы. Знойно. Хочется долго и много говорить. Закрываю глаза, и стоит мне о чем-нибудь подумать, это додуманное легко воплощается в образ... Груня... И из тумана выступает ее простое бледное лицо, покорные серые глаза. Она что-то говорит, но я не понимаю ее слов... Довольно о Груне... Лучше о Шарике... Шарик выглядывает из конуры, эдакий хитрец, он косит глаза, а сам ждет от меня подачки, знаю я тебя, знаю!.. Именье Унковских... Вот конюшня... Ведут на водопой лошадей. Одна, каурая, взбесилась, что ли!.. Вырвалась!.. Скачет, скачет... прямо на меня несется... не надо... и нету... Как все странно... стоит подумать — и является.

— Нет, мамочка, ничего не болит, мне только жарко...

Не говорите — иногда приятно хворать, это когда жарко и мамина прохладная рука дотрагивается до лба, а в гостиной еле слышно отец играет на гитаре... Вот, если бы и в жизни так было: подумал бы — и явилось... перестал думать — и сгинуло.

...Сумерничаем в столовой. Отец лежит на диване. Я примостился между отцом и спинкой дивана. В темноте большие, глубоко запавшие отцовские глаза влажно светятся. Нос заострен; во впалых щеках — тени. Волосы покоятся на подушке, рассыпались. Папа мой хворый, ему надо ехать лечиться, а денег нет, приход бедный. Все это мне известно. Отец похож на бога, распятого на кресте, такой он худой и длинноволосый. Отец рассказывает тихо:

— За горами, за долами, за сыпучими песками, в неизвестном царстве, в неизвестном государстве жил-был царь с царицей.

Стараюсь представить царицу. Утром на опушке леса видел я молодую Унковскую. Белая женщина сидела боком на серой лошади с хлыстом в руках, около бегали две собаки, поджарые, с острыми мордами. Должно быть, царица похожа на дочь генерала Унковского. Я спрашиваю:

— А у царицы собаки большие были?

— Были. Не мешай рассказывать.

...— Говорит царь сыновьям — «Возьмите по стреле, натяните тугие луки и пустите в разные стороны: на чей двор стрела упадет, там и сватайтесь». Пустил стрелу старший брат — упала она на боярский двор, прямо против девичья терема; пустил средний брат — полетела стрела к купцу на двор и пала у красного крыльца, и на том крыльце стояла душа-девица, дочь купеческая; пустил младший брат — попала стрела в грязное болото, и подхватила его лягушка-квакушка.

Буду жениться — возьму тоже каленую стрелу: может и мне на долю выпадет лягушка-квакушка. Хорошо, если она обернется Василисой премудрой, а если этого не случится?.. Сяду за обед, а лягушка-квакушка тут как тут: лезет погаными лапками в тарелку... Сказке я верю. Меня уже приучили к мысли, что есть мир видимый и есть мир невидимый; в мире невидимом все возможно, самое необыкновенное.

Отец рассказывает не спеша, ровным голосом, и все теребит курчавую и негустую бородку. А в окнах уже темно, давно пора засветить лампу. В доме тихо и только из кухни доносятся неясные голоса.

— И говорит Ивану-царевичу баба-яга, костяная нога, нос в потолок врос: — «Трудно, Иван-царевич, Кащей одолеть: смерть его на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, и тот дуб Кащей как свой глаз бережет...»

Сказку я слушаю не впервые, и все же с интересом. Однако позавчера отец ее рассказывал по-другому: тогда Иван-царевич в чистом поле встретил серого волка, а не медведя; селезня тоже не

было, а был ясный сокол.

— И все это неправдычка, — возражаю я отцу и вздыхаю. — В спальней ты говорил мне по-другому.

Я точно излагаю поправки. Отец треплет меня по плечу, улыбается:

— Это, дружок, сказка, ее можно баять по-разному.

— Нет, сказки надо рассказывать только по правде, — сурово обрезаю я отца, сердитый и разочарованный карабкаюсь через него: в кухне зажгли огонь, надо посмотреть, что там делается; пора притти со двора работнику Павлу, он обещал свить кнут, пастушинский, взাপравдавший..

...Искусство не терпит ничего, что вызывает сомнения даже в мелочах, и, пожалуй, больше всего именно в них. Искусство все в этих мелочах.

На дворе у дьячка Николаича играю с сынишкой его Сергунькой, однолетком. Очередь ловить за Сергунькой. Двор невелик, заставлен телегой, санями, дрожками; в углу преет навоз. Около кухни лоханка с помоями всклянъ. Колодезь с журавлем и длинным корытом для скотины. Сруб колодца старый, низкий. Я бегаю то вокруг телеги, то вокруг колодца. Сергуньке все не удастся меня запятнать. От этого у него пропадает охота к игре, и, чтобы его подзадорить я, пятась назад, поддразниваю — «Не поймашь, не поймашь, не поймашь...» Вдруг я лишуюсь опоры, ударяюсь пребольно головой... куда-то я лечу, разверзается темный мешок... Обо всем этом я не успеваю даже подумать и уже захлебываюсь водой. Я упал в колодезь. Вода леденит кости, внутренности, жжет кожу. Захлебываюсь, бью по воде руками. Около меня плавают мертвая, вспухшая лягушка с белым брюхом; я хватаю её руками в поисках опоры, ухожу с головой под воду, поднимаюсь на поверхность. Неожиданно пальцы находят твердое, ломая ногти, я цепляюсь сперва одной, затем другой рукой. Из сруба выступает немного одно стропило в мокрой плесени, за него-то я и хватаюсь. Я продолжаю барахтаться, запрокидываю вверх голову и кричу ужасным, нечеловеческим голосом. Брызги кипят вокруг меня, отвратительная вода заливает рот, уши, ноздри. Темно, сыро. И высоко надо мной квадрат темно-синего неба, несказанно желанного. Небо дрожит, дробится от всплесков воды. И так хочется очутиться наверху, и так остро, жадно я чувствую: там тепло, солнце, жизнь, а здесь мрак, ужас и смерть! — И мне уже не холодно, а жарко, и я весь горю. Горло сжимают спазмы. Плавают мертвая лягушка белым брюхом вверх, с распластанными лапками; стараюсь, чтобы вместе с водой она не попала мне в рот,

и содрогаюсь от отвращения. Неизвестно, какое проходит время. Наверху показывается голова в лохмах, в бороде. И голова и плечи кажутся огромными. Я нахожу еще силы подумать: Берендей. Берендей, держась за бадью, раскорячив ноги и упиравшись ими и ручищами в углы сруба, спускается вниз ко мне.

Берендей, дьячок Николаич. Спустившись, он долго не может оторвать моих пальцев от стропила и, когда справляется со мной, в моей руке все же остается гнилушка. Наверх нас вытягивают соседи. Еще и в избе я не выпускаю из рук той гнилушки, покудова совсем не прихожу в себя. Матери моей сергунькин отец, между прочим, позже сказал:

— Дивиться можно, матушка, как это он сумел зацепиться за сруб. Я опосля осмотрел колодезь: сруб-то весь гладкий да склизкий, только в одном месте и есть за что ухватиться, и то не взрослому... И вот, поди ж ты, это самое место и нашел. Живуч будет мальчонка-то, право мое слово!..

Спустя несколько дней мы сумерничали с отцом. Он стал было рассказывать сказку про лягушку-квакушку. Я хмуро и решительно перебил отца:

— Про лягушку-квакушку на надо. Рассказывай про другое.

— Почему же не хочешь? Ведь это твоя любимая сказка. Я упрямо и кратко объявил:

— Не надо...

...Отца, по личной его просьбе, перевели в другой приход, где не было реки. Это ему не помогло и он умирал от чахотки. Он уже почти не поднимался с дивана, и сквозь подрысник плечи его выпирали сиро и жалко, а на пальцы его я боялся смотреть: до того они высохли. Иногда отец сажал меня около себя, тихо гладил по голове, перебирал пряди волос, а я не знал, что ему сказать и что делать с собой. Ночами он, прислонясь к спинке дивана, усердно молился, читал кафизмы и акафисты, и лампадка в переднем углу теперь теплилась день и ночь. Вечером, однажды, я слышал: после обычных молитв отец, пристально глядя на иконы и задерживая истово на лбу трехперстие, через силу шептал:

— Даруй мне, господи, скорую и легкую кончину, призри и не оставь сирот моих без попечения и милости твоя.

Я понял: отцу худо, и он нас, меня и Лялю, очень любит; в тот вечер я не отходил от отца и старался развлечь его шумными играми. Отец пытался улыбаться. В кухне мама часто плакала. Плакали и Груня, и кухарка. Глядя на них, и я плакал. Меня жалели и называли «горемышным», и мне было жалко себя.

После соборованья отец попросил привести меня и Лялю. Он

полулежал, откинувшись на горку подушек. Его изнурял пот, грудь высоко и неровно вздымалась; в ней что-то застревало, свистело и шипело. Отец долго молча на нас смотрел. Я держал Лялю за руку. Мы тоже молчали. Отец, сделав движение головой, будто ее приподнимая, еле слышно вымолвил:

— Какой ты еще крохотный! Совсем мальчик-с-пальчик! А Ляля и того меньше. Жить тебе придется без меня, дружок. Лялю не обижай, не забывай ее. Помни, одна у тебя сестрица. Сироты вы оба. Надеяться вам не на кого...

Я с готовностью сказал:

— Нет, Лялю я не забуду. Я и тебя не забуду, когда помрешь, буду ходить к тебе на могилу. — Подумав, деловито прибавил: — Зимой, пожалуй, в могиле холодно; ты тулуп свой возьми.

Мать толкнула меня в плечо.

Отец взял наши головы, мою и лялину, заглянул глубоко в глаза, перекрестил нас трясущимися руками, поцеловал в лоб и отвернулся к стене.

Мама прошептала:

— Иди на кухню играть в коняшки.

Я побежал на кухню и играл там в коняшки.

Ночью отец скончался.

В гостиную, где он лежал, нас не пускали. Забывали вовремя кормить. Мы испуганно и подавленно следили за старшими. Перед выносом мама придела и вывела нас к панихиде. По середине гостиной стояли два сдвинутых стола и на них — обитый черной материей длинный, безобразный ящик. В ящике лежало что-то очень изжелта-белое и неподвижное. Я понял: это мой мертвый отец. Нос чуждо и нелепо задирался кверху. От гроба и от белого отца источалась тошнотаватая тишина, и она не смешивалась ни с тихим и сдержанным разговором причта, родных и знакомых, ни с позвякиванием кадила, ни с плачем матери. По обеим сторонам ящика стояли подсвечники, затянутые белым ситцем, и в них желтели огоньками свечи. Комнату убрали хвоей, и запах ее смешивался с синим и постным запахом ладана. Все это было страшно, но я не поверил смерти. Мне дали свечу. Стоя и слушая панихиду, я вспомнил, что скоро рождество христово, придут из села славить, затем уберут елку, развешат хлопушки, разные подарки, а на самой верхушке под потолком заблестит вифлеемская звезда, та самая, с какой путешествовали волхвы. Хотелось, чтобы мне подарили пистолет и книгу с раскрашенными картинками.

На лбу отца что-то было наложено. Что бы это такое? Я сделал два, три робких и неполных шага туда, где в ризах служил священник. Мама потянула меня за рубашку назад. Лежавшее на

лбу у отца не давало покоя, и я стал думать, как лучше и скорей мне приблизиться к гробу. Старшие часто опускались на колени, и я стал тоже делать земные поклоны и понемногу и незаметно стал подвигаться к причту. И опять мама за рубашку одернула меня. Я не сдавался и вновь, кланяясь, двигался вперед. Груня взяла меня на руки, и я увидел, что лоб отца обвит бумажкой и на ней золочеными буквами что-то написано. Отец лежал враждебный, до странности спокойный, сдвинув ноги пятками вместе, очень длинный. Один глаз, правый, был приоткрыт, и отец будто подглядывал, что кругом делается. На него страшно было смотреть, и в то же время он притягивал к себе. Я отворачивался, но жуткое любопытство заставляло меня опять на него взглядывать. И я желал, чтобы отца скорей похоронили. И глядя на мертвое тело я с особой остротой чувствовал себя живой личностью в огромном безбрежном мире, который мне противопостоит.

В церкви я с отвращением приложился к холодным синим губам мертвеца, а Ляля, когда ее поднесли к нему, громко закричала, спрятала свое лицо в плечо Груни и не простилась с отцом.

Когда ящик спустили в могилу и на его крышку посыпались мерзлые комья, мама бросилась в яму, ее схватили за ручку и за бархатную шубейку.

Вечером я спросил старших, что будет с отцом. Мне сказали: настанет время и отец воскреснет.

Я нашел, что так и должно быть и иначе быть не может.

Несколько ночей я боялся засыпать без старших и спрашивал, крепко ли прибита крышка к отцовскому гробу гвоздями.

II. Дедовская Русь

ДЕДА УВИДЕЛ Я ВПЕРВЫЕ после смерти отца. Привезли меня к нему зимним деревенским вечером. Два дня мы ехали в розвальнях. Стояли крещенские морозы и заснеженные, завьюженные поля терялись в нелюдимых, безымянных просторах. Колокольчик звенел дальним, бессильным и одиноким звоном. Казалось, мы навсегда завязли в синих, сыпучих сугробах и никогда не будет конца путям и перепутьям. Мы запоздали, ехали в лесу. Седобородый ямщик Никифор, низко подпоясанный широким красным кушаком, рассказывал матери о северных скитах староверов, куда доходил он в поисках работы и хлеба. Чудилась безгласная таежная глушь, заболоченный край, неведомые тропы, смолистый бор, не тающий сумрак и в полночь, в час страхов и баснословных былей, в час сказочных свершений едва заметное мерцание огня в лесной глубине, островерхая ограда во мхах и в плесени, запущенная снегом, сторожевая башня из толстых дубовых бревен с темными бойницами; там гнездятся желтоглазые филины. За оградой, внутри келий — закопченный потолок, яркий воск свечей, тени и мрак по углам, древние лики святых. В кельях — бородачи-староверы. У них сухие, мертвенные щеки. Глаза ушли глубоко под лоб. Женщины с окаменевшими лицами ступают неслышно и полы их черных одежд распахиваются, точно крылья ночных птиц. Они все «спасаются». Нашинского бога староверы не признают, и это очень дурно, но они не признают также ни исправников, ни урядников. Староверы — бегуны; иногда на них нападают солдаты, они уходят дальше в заповедные леса, а если им некуда податься, то сжигают себя живьем в срубах. Это жутко, но староверы храбрые, и у меня к ним скрытое сочувствие.

— Они бунтуются? — спрашиваю я у Никифора.

Никифор с облучка скашивает глаза:

— Ишь какой вострый! Подрастешь, до всего допытаешься. — Помахав кнутом, прибавляет: — Ах ты, сосунок махонький! Все слышал. А я думал, ты спишь... Эй, поштенные... — И он начинает длинно и ворчливо корить лошадей.

Я глубже прячу лицо в тулуп. Он славно пахнет дубленой кожей и шерстью. Непонятно, почему рано спрашивать про староверов, бунтуются они или нет. Правда, я еще не взрослый, но умею уже считать. Сколько мне лет? Раз, два, три, четыре, пять... А колокольчик все звенит себе и звенит. Теперь у него почему-то добрый, домашний звон. На сани осыпаются звонкие хрустальные лепестки; это звенят падающие снежинки... Да, я

умею недурно считать: один, два, три, девять, двенадцать, пятьсот. Динь, динь, динь! И вот странное и блаженное состояние — я не сплю еще и плечами чувствую спинку саней, мать, Лялю. Сквозь закрытые отяжелевшие веки будто наяву я даже вижу и снег, и лошадей, и Никифора, но меня во всем этом больше нету. Или вернее: и снег, и сани, и лошади, и тулуп, и небо — это и есть я сам, но «я» сам стал себе посторонним, другим, и это так отлично, что мне хочется: пусть это мое чувство продлится как можно дольше. Затем все исчезает, остается одно ощущение теплоты, и тоже меня нет и есть только теплое и уютное, и теплое это — я, и я себе — посторонний, другой... Поднимаюсь, все поднимаюсь по высокой и крутой лестнице, прямо к небу, к золоченым облакам, и чем выше, тем отраднее и легче; несут крылья... я большой, огромный... и все чудесно и непонятно... я добрый... и все...

...Заснул я так крепко, что по приезде меня долго не могли растолкать, и мама даже перепугалась: быть может я замерз... В тулупчике, в платках я походил на узел. Меня раскутали, и я увидел деда. Высокий, костистый, худой, он шевелил нависшими бровями и руки держал за спиной.

На нем обвисал полотняный зеленый подрясник; в белей бороде пробивалась желтизна. От деда крепко пахло нюхательным табаком. Валенки, пожалуй, были выше меня. Я ждал, что дед подойдет меня приветить, но он лишь угрюмо рассматривал меня. Я часто замигал и поправил ременной пояс.

— Здравствуй, дедушка! — прошептал я еле слышно.

Дед засунул руки в карманы.

— Здравствуй, — пробормотал он небрежно, круто отвернулся и направился к выходу. Сутулая его спина заняла двери почти во всю ширину, дед наклонил голову, чтобы не коснуться перекладины.

Я обиделся, тогда-то у меня родилось подозрение, что дед из староверов. Строгий, угрюмый, он тоже «спасается». Заснул я с твердым решением проверить свои подозрения...

...Дед мой в то время уже находился за штатами. Свою младшую дочь Анну он выдал «со взятием», с приходом, с домом, с землей. Зять его, Николай Иванович, отделил деду и бабушке угловую комнату, но строптивый и неуживчивый дед бабушку скоро от себя выгнал, она спала в темной передней, не решаясь к деду даже заглядывать. Деду пошло уже за седьмой десяток и с семинарской скамьи он не прекращал пить горькую. По семейным преданиям, вполне достоверным, дед отличался незаурядными способностями, и после семинарии его назначили в духовную

академию, о чем за него хлопотал сам «владыка». Едва ли не в первые дни своего в ней пребывания дед упился и пьяный с поленом гонялся за инспектором, изрыгая непотребные слова и пытаясь изувечить начальника. Деда немедленно из академии исключили и отправили простым дьячком в глухое село. Женившись и получив кое-как приход, дед продолжал запивать. Пил он угрюмо и одиноко, ни к кому из соседей не ездил, не ходил и редко кого принимал, разве только прихожан-грамотеев, да и то с большим выбором. И родных и духовенство дед открыто презирал. Сам я был свидетелем, когда он вмешивался в разговоры старших, если речь заходила о науках и искусствах. Лохматый, хмельной, он неожиданно появлялся в дверях, громко и грубо обрывал и своих и гостей: — «Болтуны, скудоумцы! Не дано вам, скорбные главою, помыслить об этом и... нечего зря языком трепать!..» — Он круто оборачивался, хлопал дверью. Про деда говорили, что он знает древних и новых философов и творения отцов церкви.

По селу и среди нашей родни ходило также довольно рассказов о пьяных причудах деда. С Николаевских времен в селе жили евреи, выходцы из черты оседлости. Права свои они получили солдатами в турецкой войне. Около базара, на задах, евреи заселили целый порядок. Они ссыпали хлеб, знали ремесла. Православное купечество жаловалось на еврейское засилье: у евреев было больше смекалки, торговых связей, да и крестьян они обвешивали меньше. Дед с купцами не ладил. Купцы считали его гордецом, пьянчугой, мрачным чудаком и самодуром. Чтобы досадить купечеству, дед свои обходы на рождество и на пасху начинал иногда... с евреев. В облачении он, дьякон и псаломщик истово славил Христа у Хазанова или у Канторовича. Хазановы и Канторовичи деда принимали и, подобно волхвам, не скупились на сильные дары. На «чистую половину» дед, впрочем, к евреям не заглядывал, а скромно ограничивался кухней, где подпускал к кресту православных, кухарку и работника, хозяевам же говаривал — «Шмуль, рабов твоих и рабынь я приобщи́л благодати. Ты же ее не достоин, ибо обрезан и употребляешь мацу. Однако разуме́й: куличи и опресноки не вера, а жалкое суеверие». — Неизвестно, что отвечали деду Шмули и Абрамы, но крещенные купцы, созерцая предосудительные обходы из окон своих домов или с крыльца, зеленели от обиды и унижения. Дед это знал и, заметив на улице кого-нибудь из местных тузов и добродеев, совершенно наглядно показывал им преогромный кукиш и, несмотря на изрядное подпитие, твердо и всеуслышанье через дорогу возглашал: — «На-ко, выкуси, стяжатель и спесивец! Раньше четвертого дня не приду, не жди!..»

Дед пил с утра, но не гнушался пить и вечером. Богослужения сплошь да рядом приходилось отправлять ему нетрезвым, и тут на помощь ему обычно приходила бабушка. Дед впадал в неожиданные раздумья, в рассеянность, умолкал, забывал подать дякону или псаломщику возглас, либо им ответить. Бабушка, стоя у правого клироса, сперва тихо, а затем и более внятно подсказывала деду. Вмешательство иногда сходило ей с рук, но нередко случалось, — дед выходил из себя. Из алтаря или с амвона он бурчал тогда на всю церковь: — «Больно ты у меня умна, чортова перешница!» — Да, он отнюдь не стеснялся сводить счеты с бабушкой. — «Оглашении, изыдите!» — произносил он в царских вратах, устремляя на бабушку пронзительный взгляд, ожидал и, наконец, громогласно требовал: — «Уходи с моих глаз, уходи, помраченная!» И бабушке, тогда еще молодой хлопотунье, пунцовой от стыда, приходилось покоряться. Не жалел дед ее и в проповедях, грозно обличая неких бесстыдниц, кои полагают, будто они могут вмешиваться в действия иереев, облеченных благодатью свыше через таинство миропомазания. Чего доброго, эти грешницы даже до того дойдут, что сами захотят справлять службы и требы. Дух гордости и иные злобы буруевают их!..

...Бабушка прошла с дедом путь поистине скорбный. Дед не был семьянином, хотя и прижил девятеро детей. Хозяйством он тоже не занимался. Между тем приход доходностью не отличался, к тому же дед многое и пропивал. Дети, кухня, хлебопашество, сад, огороды лежали на бабушке. Она обучала детей грамоте, помещала их в бурсу, в епархиальное училище, готовила приданое, выдавала замуж, женила, нянчила внучат, упрасивала духовное начальство не давать ходу пьяным делам деда. В мое время бабушка вся согнулась, голова, руки, ноги у нее тряслись, и в глазах, глядевших в землю, застыла вековая забота, безрадостность жизни, оставшейся позади, усталость, великая усталость до самого конца дней. Точно рубцы ран, секли ее лицо крупные и глубокие морщины, и в бескровных, поджатых, дрожащих губах таились терпение и никому не высказанная горечь. Бабушка не умела и не могла сидеть сложа руки и с самого раннего утра неутомимо пересыпала муку, перебирала картошку, сушила сухари, сажала овощи, полоскала белье, топила печь, громыхала ухватами и чугунами. Пережила она деда лет на двадцать и в день смерти своей, хватаясь за столы, за стулья, за комоды, шаря руками по стенам, она вползла в кухню помогать младшей своей дочери. Холодеющими пальцами что-то пыталась делать и только скупно пожаловалась, что вот к глазам «подступила темная вода» и ей все «притчится словно бы в тумане». Спустя какой-нибудь час она лежала бездыханная.

Дед редко выходил из своего логова. Там в шкафу у него стояла заветная посуда, тарелка с черным хлебом, с грибами и кислыми огурцами. Дед шагал, скрипя половицами, шумно вздыхая и густо откашливаясь. Если шагов его долго мы не слышали, он, следовательно, читал; если хождение прекращалось не надолго, это означало: дед «подкреплялся». В шкафу, сложенные как попало, покоились книги в кожаных старинных переплетах. Страницы у них коробились, а буквы «г» и «ш» походили друг на друга. Читал дед книги с толстыми очками на носу в железной оправе, откинувшись к спинке неуклюжего, но добротного кресла, шевеля сумрачными бровями и не выпуская из рук табакерки. Заметив, что я наблюдаю за ним в приоткрытую дверь, он неохотно поднимался, я убегал из передней в столовую, дед запирал дверь на задвижку. Я боялся, что при встречах дед за подглядывание осрамит меня или даже «поучит» за ухо, но дед меня не замечал.

...Мы поселились от деда через дорогу, в невзрачном, с большой русской печью, домишке, похожем на простую избу. Мать заняла место просфорни. Место это нас троих еле кормило. Деда я стал видеть реже. Догадка, будто он из староверов, меня не покидала. Его одиночество, почти одичалость, загадочность подтверждали подозрения. Подозрения уводили в новые домыслы. Верил я им вполне или нет — решить трудно, но времени им я уделял довольно...

...В детстве мир раскрывается двойным бытием: он ярок и свеж, он овеян чистым и непорочным дыханием жизни, отпечаток непререкаемой подлинности, полноты, роста лежит на нем. И в то же время мир окутан выдумками, наполнен призраками, чудесным гулом незримых видений, звездным волшебством. Эти восприятия, полярные для взрослых, у ребенка живут по-братски, неугашая друг друга. Античный мир, мир человеческого детства, прелестен именно этим наивным сочетанием вымысла и действительности. Мы переживаем это теперь лишь на пороге бытия; позже сущее и возможное (или невозможное) теряют и свою непосредственную силу и свою наивную сопряженность...

...Мне представлялся дед уже не только старовером. По ночам он неслышно, тайно от домашних уходит на кладбище, где в голых, мерзлых ветлах страшно гудит и воет ветер, а по могилам стелется и дымит злая позёмка. Дед бормочет заклятья; встают в саванах мертвецы с пустыми черными впадинами глазниц, встают убиенные, умученные, встают нераскаянные грешники, отринутые людьми и богом. Они скрежещут зубами, стучат костями, с воплями несутся над

погостом, над полями, а дед все стоит и шепчет заклинания и наговорные слова. Седые пакли волос у него растрепал ветер. Мертвецы, вурдалаки, утопленницы готовы на деда наброситься, но ничего не могут с ним поделаться: дед чернокнижник и старовер. Никто не знает о ночных странствиях деда. Знаю о них один я. Пусть взрослые считают меня маленьким, я хранитель ужасной тайны.

Исподтишка я следил за дедом глазами, должно быть, странными, и бабушка меня спрашивала:

— И что это ты, малый, все смотришь на деда, будто на чудо-юдо или на заморского турка?

Я скрытничал, я боялся — не догадались бы старшие о тайне...

Родные и мать ушли однажды в гости. Я с Лялей остался на попечении бабушки. Бабушка уложила Лялю спать, дала мне растрепанную «Ниву»; Сама же отправилась к черничкам на село. Я шуршал в столовой листами и косился на дедовскую дверь. Дед — колдун; вот выйдет и схватит меня. От страха я уже не решался ни дотронуться до книги, ни даже пошевелиться... Дед и впрямь вошел в столовую.

Я замер и зажмурился.

— Скучаешь, или спать захотелось? — услышал я хриплый голос.

— Нет, ничего, — пробормотал я упавшим голосом.

— А ты петь умеешь?

— Нет, я петь не умею; меня не учили.

Я поежился от холода, повел пальцем по скатерти и через силу взглянул на деда. В голосе его я не услышал обычной суровости, скорее дед ко мне был даже расположен. Он держал табакерку и, рассеянно забирая табак, задумчиво на меня глядел.

— Да, браток, — промолвил он и зашагал по столовой, зачем-то он трогал рукой стулья, стол, стены.

Походив, дед скрылся в своей комнате и подкрепился, после чего вышел опять и опять зашагал, скрипя половицами. На стене ходил маятник, качались гири. Нождаданно неглубоким басом дед запел песню об одинокоем развесистом дубе. Я слышал деда поющим в первый раз и с первых же слов освободился совсем от страха. Дед поет при мне без взрослых; в этом увидел я к себе доверие. Слушая однообразный, старинный мотив, я пожалел деда хорошей детской жалостью. Мне тоже захотелось петь, и я неуверенно подтянул деду, выдумывая слова и удивляясь собственной смелости. Дед довел песню до конца, подошел, положил ладонь на стол, похлопал ею, негромко спросил:

- Сказки знаешь?
- Сказки я знаю.
- Какие знаешь сказки?

Одним духом я пробормотал:

— Сивка-бурка, вещая каурка, стань предо мной, как лист перед травой...

— Ладно, ладно, — похвалил дед и полез в подрясник за табакеркой. — Ты петъ учись! Человеку без песни, запомни, нет жизни. Без песни человек звереет, душегубом делается.

— А старoverы, дедушка, тоже поют песни?

— Какие старoverы?

Потупившись я ответил скороговоркой:

— Никифор маме рассказывал про старoverов. Они спасаются в дремучих лесах.

— И старoverы поют... — молвил рассеянно дед и стал опять шагать по комнате.

Походив, он затынул песню о «Вещем Олеге». Я вторил, старательно глядя деду в рот. Иногда я сбивался с тона, дед хмурился, но все же был терпелив. Пришла бабушка, дед точно обо мне забыл, ушел к себе. Укладываясь спать, я осудил себя за ошибку: дед на погост не ходит, мертвецов не вызывает. Он не колдун и не чернокнижник, но все же он — из старoverов. Это, впрочем, не страшно.

С тех пор само собой повелось: когда взрослые уходили или уезжали в гости, дед учил меня петъ. Я обнаружил себя учеником не лишенным способностей, к сожалению, однако, скромных. Дед моими успехами был доволен, хотя наглядных одобрений почти никогда не выражал. Церковных песнопений он не любил: если у бабушки собирались чернички и начинали петъ духовные молитвы, дед бурчал: — «Ну, заголосили!» — и плотнее прикрывал двери. Уважал дед старинные русские песни: про заросшие стежки-дорожки, про ягоду-калину, про белые снега, про горе-злосчастье, про дивные терема. Знал он веснянки, масляничные песни, егорьевские, песни семицкие, свадебные, купальные. Но не они, не эти песни поразили тогда мое воображение. Этот старик, пьянчуга — поп в истертом подряснике, с трясущимися руками, с опухшим лицом и грязными паклями седых волос, пел еще много буйных и вольных песен про лиходеев и разбойников. И так свежо вспоминаю я и по сию пору необыкновенные дедовские песни и зимние вечера с ним, будто было это не сорок с лишним лет тому назад, а совсем недавно, и будто время не имеет никакой силы над прошлым.

...Окна запушены снегом, покрыты толстыми кромками льда. От лампы на льдинках тускло-зеленые отсветы. За окнами

нетронутые сугробы, всепоглощающая ночь. Мир точно отсутствует и мы одни повисли в черной, в слепой бездне. Вещам у деда неприятно, никак не могут они у него обжиться, да их и немного у деда: деревянная кровать простой работы, без затей, облезлый шкаф, стол, кресла. В переднем углу, затканном паутиной, Никола Мерликийский, Георгий Победоносец, Сергей Радонежский. Чудится, они следят за мной. Дед все ходит и ходит в огромных валенках.

— Про Кудеяра.

Господу-богу помолимся,
Древнюю быль возвестим,
Нам в Соловках ее сказывал
Инок, честной Питирим.
Было двенадцать разбойников,
Был Кудеяр атаман,
Много разбойники пролили
Крови честных христиан.
Много богатства награбили,
Жили в дремучем лесу,
Вождь-атаман из-под Киева
Вывез девицу-красу...

В горнице бродят тени. Крупная голова деда расплывается в полутьме. Подрысник обвис, дед рассеянно теребит бороду. Поет он негромко, вразумительно. Мой голос сплетается с его басом подобно плющу вокруг старого, дуплистого дерева. Русь, старина, глушь, зеленая чужь... Церковный сторона медленно выбивает поздний час; удары колокола теряются в одичалых полях. Добрый очаги ночлег всем странникам, бездомникам, всем, кто в пути, кто терпит от стужи и вьюги!.. А в расписных санях лихой разбойник мчит девицу-красу, прижав ее крепко к широкой груди. Взметая серебряные вихри, несется птица-тройка. Золотом, камнями самоцветными горит при луне упряжь; сибирские меха запущены снегом. Темные девичьи косы свесились из саней... Но зачем нужна Кудеяру красавица? Говорят, добры молодцы целуют их. Меня тоже иногда целуют, и я целую родных. Приятного в этом мало. А Кудеяру-разбойнику и совсем не пристало миловаться с девицами: до них ли лихому человеку?.. В ночь-полночь округ Кудеяра бродят окровавленные тени. Леса ли то Брынские шумят, или то стонут души погибшие, души усопшие, отравленные, умученные, с черными зияющими ранами, с проломленными черепами, растерзанные, поруганные, молодые, старые? Много нагрешил Кудеяр!.. Много и долго надо

замаливать ему злодейские дела!.. Уже не разбойник Кудеяр, а отшельник. Простым ножом по обету пилит он дуб в три обхвата: не спилить ему дуба до самой кончины. Трубят в лесу рога... Пан Глуховской... Пан похвально перед Кудеяром своим богатством, привольной жизнью, дородством, пан издевается над холопами. И Кудеяр забывает про обет... пан лежит в крови, и лежит рядом с ним дуб в три обхвата... Бог простил Кудеяра... — и взял его на небо, точно пророка Илью, — мысленно прибавляю я от себя... Хорошо бы узнать у деда про девицу-красу и зачем ее целует Кудеяр! Но что-то мешает спросить об этом....

— Дедушка, на иконах Кудеяра-разбойника пишут?

Дед перестает ходить, с удивлением на меня глядит, хмурит брови, трет грудь.

— Чего это ты, малый, мелешь?.. Разбойников на иконах не пишут.

— Нет, пишут, — возражаю я уверенно. На крестах пишут; рядом с Христом. — И лукаво гляжу на деда.

— Глупец, — отвечает сердито дед. — Тот разбойник богочеловеку облегчал страдания смертные и в него уверовал, когда его мучили. — Дед поднимает руку и, указуя пальцем на небо в окне, вразумляет: — Ни лобзание ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тя... Разумей...

Спросить или не спросить, зачем Кудеяр лобзает девицу-красу? Не поворачивается и не поворачивается язык!.. Но, между прочим, непонятно, почему разбойника на кресте писать можно, а Кудеяра нельзя: Кудеяр, по-моему, лучше разбойника; недаром он зарезал пана Глуховского. Когда подрасту, обязательно тоже зарежу какого-нибудь злого пана, и мне простятся все мои грехи и я уйду в отшельники.

— Дедушка, какие бывают отшельники?

Дед стучит скрюченными от старости и водки пальцами по табакерке.

— Не дорос еще понимать такие дела... — Запахнув плотнее подрясник, он опять шагает по горнице и, как бы забыв обо мне, вслух размышляет:

— Одному и свет цельный мал бывает. И в столицах, и по заграницам шныряет, и по морям плавает, и на горы взбирается, повсюду мыкается, а видать — ничего не видит. Мир через него, как вода через сито... От таких людей добра не жди... Обманет, продаст, надругается; такому все нипочем, потому — мир для него мертвый... А другому и клочка земли премного довольно: хорошо и в лесу под сосной. Прозрение имеет и в кусте зеленом, в звериной норе больше видит того, кто неприкаянным по миру шатается. В малом раскрывается ему такое, что сто лет пиши —

не опишешь. Все ему — в радость, в утешение и в поучение. Такому по свету слоняться незачем. И зла никому не сделает... Жизнь чувствует... Думаешь, отшельники в одних кельях коротают сроки да в монастырях? Повсюду они, и в городах, и в весях, и среди нас, грешных... не лезут только наперед; мразь еще разная над ними похвальноется... Это бывает, на этом мир держится... Мразь, она, брат, живуча, она сраму не имеет.

— Дедушка, а ты не из отшельников?

Дед жует жесткими губами, закрывает глаза, затем, странно на меня взглянув, медленно говорит:

— Какой же я отшельник... простым попом всю жизнь проторчал... Только и всего...

Деду будто хочется еще что-то сказать, но он воздерживается, подходит к шкафу, одним глотком опорожняет стопку, берет корку хлеба, нюхает, кладет ее обратно и вытирает рукавом рот. Я не верю деду: он отшельник и только со мной хитрит...

Еще поем мы песни, — поем про молодца, как загубил он жизнь свою из-за дворянской дочери, — про одинокий утес Степана Разина, — про удальца, которого покинула румяная и белая красавица, ушла к купцу в хоромы, и лихачу-кудрявичу осталась одна лишь дорога на каторгу в Сибирь; поем про девицу, — страшно ей выезжать из дому: за лесом сторожат разбойнички, а певень бьет крылом, предвещает беду; поем про Волгу: не спеши ты, красна девица, постой, дай мне радость побеседовать с тобой; Волга-матушка бурлива, говорят, — под Самарою разбойнички сидят, а в Саратове дивчины хороши... — За окном — древне-русская, ушкуйная ночь, ночь кровавых озорных дел, последних смертных счетов, поножовщины, ночь бездомовых шатунов. Может быть вон там, в роще, в камышах — замкнули они пути-дороги, ждут запоздалых путников... Сейчас стукнут в окно, звякнут щеколдой, ударят топором в двери... а село вымерло, огней не видать, избы занесены снегом, кричи, не докричишься. Деревня грезит русскими повидками-сказками... С надеждой гляжу я на деда: он не даст в обиду... Нужно скорее вступить в шайку разбойников, тогда меня самого будут бояться. Одна беда: худо расту. Завтра смеряю — себя дома у притолки: там угольком сделана отметина. Бывает, за ночь вытягиваются на целую четверть... Бывает это... А дед один уж напевает: «Но, увы, нет дорог к невозвратному, никогда не взойдет солнце с запада...» Ах, дедушка, дедушка! Охотно подошел бы к тебе и прижался, но очень уж суровый ты такой!..

Разбойники не давали покоя. Однажды я спросил деда:

— А Христос тоже был из разбойников?

Страсти христовы, рассказанные бабушкой, поразили меня;

несколько дней я о них только и думал. Я решил молиться одному распятому, возненавидел саддукеев и фарисеев, но и тут ухитрился понять все по-своему.

На вопрос мой дед опешил, долго качал головой.

— Это откуда же ты узнал об этом?

Я обстоятельно ответил:

— Христос водился с блудницами, блудницы все — разбойницы.

— Почему же блудниц ты считаешь разбойницами?

Слушая в церкви и дома евангелие про блудниц, я долгое время недоумевал, чем они занимаются, и решил, что они блуждают, убивают и грабят. Поэтому я сказал:

— Блудницы шатаются с оборванцами. У них у всех острые ножики... Христос с ними водился, за это его и повесили вместе с разбойниками. У неге тоже была своя шайка, в нее входили мытари и апостолы.

Дед подошел ко мне вплотную, я съезжился; он наклонился, постучал мне в лоб небольшою костяшкой пальца.

— Дурень ты этакий, право, дурень!.. Вавакаешь, что попало.

— А что не попало? — не утерпел я вернуть словцо.

Дед отступил на шаг и погрозил мне без особой впрочем строгости.

— Не перебивай старших дурацкими вопросами. Постигай: «...и мене древом крестным просвети и спаси мя...» Означает: страданием, мукой за других, а не себялюбием, не сытой, жизнью спасены будем... А ты что болтаешь?..

Сбитый с толку и разочарованный в своих догадках, я молчал.

— Иди и помолись на сон грядущий; попроси у бога прощения!

Дед подошел к шкафу.

...Я научился читать. В руках моих уже побывали: «Дубровский», «Капитанская дочка», «Братья-разбойники», «Юрий Милославский», «Князь Серебряный», «Ванька-Каин», «Орлиха», «Танька-наездница», «Тарас-Черномор», «Повесть о том, как солдат спас Петра Великого», приложения к «Родине». Представлялись кремлевские стены, царь-пушка, царь-колокол, пышные башни, лобное место — и рядом: повольщина, ушкунники, разбой... Я обладал чутьем находить нужное и даже жития святых ценил потому, что иногда в них рассказывалось о грабителях и душегубах. Мать, бабушка, дядя Николай хвалили меня, когда видели за Житиями святых. Поощрения я принимал охотно, но лукаво помалкивал и уж, наверное, втихомолку

посмеивался над старшими...

...Вставали крутые волжские обрывы, покрытые дубняком, соснами, по тропам и проезжим дорогам раскиданы дозоры и заставы. От ночной тьмы Волги не видно. Ударит хвостом щука, да трутся бортами боевые челны и струги, да влажно плещется и струится вода. Зловеще гукает филин. Куда взглядом ни кинь, повсюду первобытный мрак, ни огонька, ни запаха человеческого жилья. Волга!

Волга — красавица, кормилица, поилица, матушка, укрывательница, пособница! В поволжских просторах раскидывались кочевья скифов, оседали сарматы, слышался гул от чугунной поступи гуннов; хозары и болгары уводили неисправных данников; от набегов половцев и печенегов тянулся смрадный, черный дым, полыхали оранжевые буйные пожарища. Татары, чувашаи, черемисы, башкиры, вятичи, поляне, северяне, калмыки, карелы, мордва, вотяки, казаки, немцы шли ордами, утверждали себя в непрерывных, в кровавых побоищах, в резне, теснясь, прибивались к Волге, сбрасывали друг друга с круч в мутные, в непокорные воды, отгоняли побежденных в степи, в пески, в леса, в глухомань. Здесь собирались вольные дружины, шайки, ватаги, искатели мужицкой правды, сектанты, кабацкие завсегдатаи, бегуны от правежа, от владетельных и жалованных самодуров, от службы царской, от крепостной недоли. Гремели мятежами, восстаниями Некрасов, Булавин, Степан, Емельян, угрожая самой Москве. Волга обросла поверьями, сказаньями, преданьями; обвеяна песнями, былями. Непокорство, бунты, разгул, злоба, месть! «Сарынь на кичку!.. Гей, соколы!.. Запал травы!.. Тащи его, бородатого, сымай кафтан!.. За крестьянство честное, за волю, за долю!..» Бей в доску — поминай лишь Москву, гуляки и бражники!.. Эх, ты, правда государева, правда пытошная, под батогам; под длинниками, под линьками, подлинная правда, правда подноготная, когда вгоняют острые гвозди под самые ногти!.. Велики российские земельки, широка мать-Волга, не объять ковыльных степей, не пройти лесов заповедных, да коротка разбойная песня: сколь ни гуляй, ни кружись, ни вейся коршуном, а от судьбы не уйдешь, судьба же родная — она качается на перекладине либо рубит голову напрочь...

...Ночь над Волгой... В рудо-желтых отсветах костров, в потаенном мерцании огней, скрытые от продажных царевых глаз, от строчил и доносителей черными уснувшими дубравами, коротают беспокойные часы отверженные «великие и малые, и белые Руси»!.. Кто примостился на бревнах, на пнях, на корягах, кто валяется на траве, кто храпит во все носовые завертки, кто

ведет тихую беседу. Смех, прибаутки, балагурство, ядреная, круто посоленная речь. Иные усталились на костер, задумались, забылись, руками подпирают головы. Чистят оружие, поют, пьют. Какая пестрота, какая смесь одежд и обличий! Сермяги, зипуны, ферязи, жупаны, овчинные полушубки с клоками шерсти, бархатные кафтаны с чужого плеча, посконные рубахи, плисовые шаровары, парча, шелк, кожухи, поддевки, синие, красные кушаки, стрелецкая одежда, обувь, лохмотья, шапки меховые, шапки запорожские набекрень, непокрытые, кудлатые головы с волосами колтуном, самоцветные камни на пальцах, закорузлых от грязи, скатной жемчуг, сафьян на ногах и — рядом стоптанные лапти, другие и совсем босиком. Топорища, пики, кривые сабли, ятаганы, ломы, самопалы, вилы, косы, кинжалы с узорчатым серебром, пистолеты, клинки, кистени, шкворни, дубины... Сброд, лиходельники, отпетые души, песельники, мрачные отступники, смутьяны, шатуны, висельники, воры, головорезы, смирные, обиженные мужики, бродяги, дворовые людишки, кандальники, враги щепоти. Старики, молодые, пожилые, степенные... Успели отведать батогов, железных наручней, ошейников, колод, биты и перебиты... рваные ноздри, позорные клейма, обрезанные уши, головы, бритые наполовину, рубцы, раны, болячки. На бочке — поп, старик-пьянчуга с табакеркой в руках, в зеленом подряснике. Валялся он по кабакам, по базарам, а теперь правит вору церковный круг... Вино, мед, хмельная брага. Вozy со снeдьeю... Брешут лисицы, поднимается над лесом месяц-серебряные рога, бродит чудь...

«Знать не радость в тот век жизнь народа была, коль бежал человек из родного села...» Ни родных, ни близких сердцу... И помянет ли кто добрым словом после лихой смерти-расправы, или будут проклинать ежегодно с амвонов в церквах, да пугать детей, да думать с удивленьем, с отвращением и ужасом: бывают же вот от обыкновенных и справных отцов и матерей люди — не люди, а изверги и изуверы, пропащие головы!!!

Забушуй же, непогодушка.
Разгуляйся, Волга-матушка,
Ты возьми мою кручинушку.
Размечи волной по бережку!..

...Не было, понятно, в те годы у меня этих слов, но свое восприятие старой Руси, надеюсь, передаю я достоверно. Я видел разбойников во сне, думал о них — едва просыпался. Играл я тоже чаще всего в разбойников...

...Вспоминаются мне также, и именно с дедовскими песнями

вместе, зимние супрядки в кухне: что-то мирное, деревянное и домовитое, стародавнее, родное, простодушное... И были мне милы и убогость кругом, и неторопливость, и успокоительная скука... От старой, престарой русской печи с лежанкой, с печурками и загнеткой идет ровное, духовитое, хлебное тепло. Пахнет нагретой глиной, кирпичом, колбасой из свиных кишек с гречишной кашей. Дивную колбасу делала бабушка! Давным-давно, с детства, не едал я такой колбасы... Бабушка за прялкой. За прялкой и странница Наталья, а у стола замешивает тесто кухарка Татьяна. Тесто пытит, фыркает, как древний кухонный бог. Кухня скудно освещена; по стенам, по столу бродят тараканы, полати заняты николаевским «кавалером» Иваном. Он свесил ноги, кричит, что-то бормочет. Наталья, в который раз, рассказывает мне сказку про Аленушку-сестрицу про братца-Иванушку: «Горят в лесу костры горючие, кипят котлы кипучие...»; по просьбе Татьяны она повторяет материнский заговор сына от тоски в чужой стороне.

— Стала я среди леса дремучего, очертилась чертою призорочною... А будь ты, мое дитяtko, моим словом крепким укрыт от силы вражия, от нечистых духов, сбережен от смерти напрасный, от горя, от беды сохранен, на воде от потопления, на земле от сгорания. А придет час твой смертный, и ты вспомни, мое дитяtko, про нашу любовь ласковую, про нашу соль-хлебушко, обернись на родину, ударь ей челом, распростиись с родными и кровными, припади к сырой земле и засни сном сладким, непробудном...

Жужжат веретена, долог зимний, деревенский вечер... Синим цветом загораются в лесу кусты папоротника, дикого хмеля. Огни вспыхивают, исчезают, вновь зажигаются, движутся, призрачно мелькают в чащобах меж деревьями. От топких болот тянет тонкими, ядовитыми и дурманными испарениями. Серебряным звоном звенят из-под земли колокольчики. В глыбах ночи едва-едва выступают мохнатые, мшистые ветви, кто-то выглядывает дикими, озорными глазищами. Все настрожилось, тревожно. Вот-вот содеится страшное, смертельное, невозможное. И в кухне бродит сказка. Гудит однообразно колесо прялки, вьется, сучится белая нить, кудель похожа на древнюю лунь. Колдует печь, рогатки, ухваты, кочерга, чугуны, таганцы, полати, загнетка. На полу, выгнув спину, серый котенок играет клубком. Ушастая, пузатая лохань, допотопное чудище, добродушно распялила хайло... Шуршат за печью тараканы, охает Иван... Не то явь, не то сон, и живем мы будто не настоящей жизнью, а прошлой... И так хорошо незаметно для себя и для других уснуть. Сонного перенесут на кровать, и смутно будешь чувствовать, что тебя

раздевает и накрывает одеялом заботливая мамина рука, и тогда опять придет желанное забвенье...

О, русские повидки!..

...Прошел слух, что в окрестностях гуляет Василий Чуркин. Беглый арестант из-под Богородска, Чуркин сначала орудовал в Владимирской и Московской губерниях, затем перебрался в края, смежные с нашими. По ночам двери в доме Николая Ивановича стали на подмогу щеколдам подпирать кольями; с опаской и с предосторожностями ходили проверять скотину. Мама плотно завешивала окна и закладывала их подушками. Рассказывали, будто Чуркин вырезал больше сорока человек; полицию и сыщиков он дурачил, разбивал целые воинские отряды, менял обличье, ходил неузнанным на базарах, выглядывая очередные жертвы. Не раз ловили Чуркина и сажали под крепкие запоры, но он убегал, и про разбойника говорили, что он знает наговорные слова. Признаюсь, хотя и готовился я в разбойничьи атаманы, но рассказы о Чуркине меня напугали. Я боялся оставаться один в темной комнате, уходить далеко от дома за овины и скирды, и когда, забывшись, я все же забегал дальше положенного и вспоминал тут о Чуркине, то задавал такого стрекача, что ничего не видел кругом себя, и сердце колотилось под самым горлом. Я не был правдив и честен с собой и убеждал себя, будто я боюсь Чуркина «нарочно».

За вечерним чаем дядя заметил, что Чуркину помогают крестьяне-бедняки. В деревнях у него есть соглядатаи, и даже есть они и среди полиции. Поэтому-то и неуловим Василий Чуркин. На другой день утром, перебегая дорогу, встретил я Старика Питерского. Питерский, бедняк из бедняков, не имел ни лошади, ни даже коровы, жил в хате с раскрытым верхом, вместо стекол в кривых оконцах торчало грязное тряпье. Питерский не сеял, не жал, держал один огород, и непонятно, как и чем он перебивался. Был он к тому же пьяница, пил почти ежедневно, и если не валялся в канавах, у плетня, то выходил на дорогу, задирали проезжих, обличал их и спуску им не давал. Кстати сказать, помер он недавно, девяноста трех лет... Расставив широко ноги, босой, в исполосованных, дырявых портках и в рубаше без пояса, успев вывалиться в грязи, Питерский поносил на этот раз «жеребьячью породу».

— Ха, — орал он на весь порядок, мотая головой и разводя руками, точно он плавал. — Ха... служители, старатели перед богом... Сады развели... в рай нас, мужиков, охота посадить. А я, может, не хочу в рай!.. Вы у меня лучше кур с нашести не таскайте да в закрома глазищ своих не запускайте. Я сам хочу

дракону есть в красном углу и с полным уважением. Пастыри! На кой лях вы мне сдались? Я сам — пастырь, потому сорок пять лет пас коров и свиней! Начхать я хотел на вас, на долгогривых дьяволов! — Питерский смачно плюнул... — А Чуркина, например, не желаете, не ндравится?.. А я, может, с ним за ручку! Мое почтение, Васенька! Мигну глазом, а Васенька — вот он... укоротит вам космы!..

Я старательно обошел Питерского. Ругань его, вчерашнее замечание дяди вызвали новые думы. Чуркину помогают мужики; недаром Питерский хвалится знакомством с ним. Значит, мужики — сами разбойники, либо сродни им. Чуркин за мужиков, мужики за Чуркина. Чуркин грабит богатых, делится с мужиками награбленным, а мужики его хоронят. Одна шайка. Напрасно искал я разбойников в заповедных лесах. Они здесь, около меня. Но каков есть человек разбойник? Образ двоился. Порой казалось, разбойники — простые головорезы и душегубы. Им любо мучить людей и убивать их. Но вставал смутно образ народного мстителя, беспощадного, со своей правдой. И подобно тому, как раньше вглядывался я украдкой в деда и подозревал в нем то старовера, то чернокнижника, искал я теперь в мужиках разбойных людей. И я уже не верил тому, что видел, и верил, чего никогда не видал. Село тянулось кривыми порядками и проулками. Нищие избы, полусгнившие риги, мокрые скирды, ометы, овины, ветла. Село прело и гнило в болотах и в непроходимых трясиных, в камышах, в осоке, в кочках. На-смерть в них увязала скотина, и после дождей на улицах не вытянуть было ноги из липкой и жирной грязи, а на базаре даже в июльские жары никогда не просыхали гнойные и зловонные лужи. Жизнь тоже была грязная, болотная, задремавшая на старой завалине. Известно, что будет завтра, спустя месяц, год. И ждать словно бы и нечего. Недалече погост, от него не уйдешь, как не уйдешь от земли, пашня требует к себе мужика, его досуг, его все помыслы, а радость, а счастье — где оно? За горами, за долами. Старые люди верно говорят: хорошо там, где нас нет. И говорят еще те же старые люди: не в свои сани не садись... не нами заведено, не нами и кончится... А может быть, все это и не правда? Солома — не солома, хата — не хата, и мужики — не мужики... Сосед, Иван Петров Ветелкин, хитрит, утверждая, что порезал руку косой; взаправду же ему тяпнули по ней, когда он с товарищами грабил коробейников или прасолов. Многие не видится по-настоящему с первого взгляда: в болоте за домом будто одна вода, кочки да камыш, а присмотришься — и утку-кубанку увидишь, и бученя, и коршун взметнется...

...Принято думать: воображение уводит от жизненной

правды. Да здравствует трезвая наблюдательность, число, мера и вес! Что и говорить — превосходные, бесспорные вещи; но не надо забывать: опыт связан с воображением. Когда эта связь нарушается, опыт обескрыливается, воображение теряет почву. Истина постигается в опыте, но с помощью воображения. Однажды человек помыслил, что не солнце вращается вокруг земли, а земля вращается вокруг солнца. Человек пришел к такому выводу, руководствуясь новым кругом наблюдений; но мог ли он притти к открытию, не обладай он творческим воображением? Нет и нет! Воображение для опыта то же, что семена для растений: без них опыт не дает ни цвета, ни плодов. Сплошь и рядом воображение предвосхищает истину, и наш опыт был бы жалким, он был бы обречен на крохоборство, если на подмогу ему не приходило бы наше могучее, беспредельное, вдохновенное воображение. Человек поднялся с четверенек, когда он нечто вообразил...

...В далеких моих детских домых, навеянных песнями деда, рассказами, книгами, много было наивного, невероятного, и все же в них, в этих выдумках, прозревалась некая правда. Искони низовая Русь шла бунтами, мятежом, расколами, буслаевщиной. «Подлая» Русь укрывалась по сечам, по степям, по лесам и горам, по скитам и кабакам, жила в разбое, в расправах над боярами и купцами, в самозванстве, в подметных грамотах, в отложениях и восстаниях. И когда даже все казалось спокойным и холопы покорно терпели ярмо, — даже и в ту пору народная Русь жила в тихом и непрерывном бунте... И так прочно укрепились во мне детские мои вымыслы, что и потом, в возрасте более зрелом, никогда не воспринимал я народ безропотным и смиренным. Я не верил прекрасным нашим писателям, умилявшимся мужицкой покорности, кротости, незлобью. Озорник, забулдыга, пропащий бродяга, зубубенная голова были мне ближе Платона Каратаева. Смутно я чувствовал, народ живет своей сокровенной правдой и правду эту хоронит, до времени, до общего клича и вселенского набата!..

...В старой нашей церкви, у правого клироса, на низком поставце угрюмо и зловеще темнела большая икона Черного Спаса. Толстую доску источили жуки и черви, краска потрескалась, облупилась. Икону густо покрывали ввевшиеся копоть и пыль. Лик Черного Спаса, полустертый, был мрачен и грозен. Из густой, древней тьмы неясно выступала огромная голова, изборожденная гневными морщинами и обрамленная волосами с мужицким ровным пробором. Темная позолота нимба едва-едва просвечивала. Иисуса обычно изображают синеглазым, но глаза у Спаса были черны, смотрели тяжело, в них чудилась

осенняя бесприютная ночь, мрак, готовый хлынуть сплошным потоком и поглотить собою. Неподвижные глаза прикипали прямо к сердцу, от них было некуда скрыться. Они не прощали ни предательства Иуды, ни моления о чаше, ни позорного креста. Брови нависали, подобно каменным сводам подземелий, таили в себе лесные чащи, таежные дебри, и лоб напоминал грозовую тучу. Ни одного намека на христианское милосердие, на жалость, на любовь, на снисхождение; только на правой щеке пролегал след, точно от высохшей, от скупой и едкой слезы, но и он лишь усиливал беспощадную решимость закаменевшего лица, когда уже все испеплено, кроме воли к отмщению. То был настоящий Черный Спас, земляной мужицкий бог, бог курных изб, черствого хлеба, палатей, лучины, русской печи, бог тяжкого труда, страды, мужицкого гнева, вил и дреколья, топора и кистеня, темный бог деревни, воплотивший в себя безымянную, скрытую в глубине веков, орошенную потом и кровью историю народа русского...

...Перед иконой Черного Спаса в обедни и всенощные жарко горел густой венец свечей; горела лампада зловещего, темнозеленого цвета. Икону часто «поднимали» на поля и в избы. Со страхом глядел я на нее и взял себе за правило перед уходом из церкви к ней прикладываться; я просил Черного Спаса на меня не гневаться и помочь стать неуловимым и страшным разбойником...

...Дед скончался от удара. В первые дни болезни меня к деду не пускали, и, чтобы его увидеть, я все вертелся в прихожей, стараясь заглянуть в дверь, когда ее открывали. Наконец, бабушка сказала: надо проститься с дедом, и я, старательно обдернув рубашку, с опаской переступил порог его комнаты. Два зайчика дрожали и гонялись друг за другом на стене. Дед лежал под пестрым, стеганым одеялом, широко и безвольно раскинув ноги. Крупная его голова в желтых, разметававшихся по подушкам лохмах была откинута назад. Я увидел закрытый глаз, другой, большой и круглый, упирался в потолок. Меня дед будто не заметил, его окружало пустое, тяжелое молчание. Рот у деда перекосился, лицо еще больше оплыло, борода стала чужой. Круглый глаз стеклянно, по-птичьи, не мигая, все смотрел в потолок, правая бровь была удивленно приподнята. Не в силах больше вынести безмолвия, тихо, с дрожью я спросил:

— Дедушка, что с тобой?

Дед остался безучастным к вопросу, точно заключенный в некую невидимую тюрьму, которая отделяла его и от солнечного зимнего дня, и от меня с бабушкой, и от всего мира. В столовой за дверью мерно и звучно ходил маятник, и его тиканье почему-то

казалось страшнее и несноснее всего. Пересохшим голосом я прошептал:

— А я, дедушка, катался с горы на ледяшке. Ледяшку мне сделала Прасковья.

Дед слабо пошевелил пальцами, с мучительным усилием повернул голову, круглый глаз задержался на мне. С него точно спала тонкая пленка, он стал осмысленным. Медленная судорога исказила лицо деда, отвалилась нижняя челюсть, и в открытом рту я увидел язык; лиловый, толстый, он лежал там лишним обрубком. Что-то захрипело, заклокотало в горле деда, на лбу выступила испарина от усилия, дед замычал, а язык попрежнему не двигался.

— Аля... ля... Аля... ля... — выдавил дед, наконец, из себя через силу. Меня потряс этот лепет, невразумительный, нечеловечий, жалкий.

— Аля... ля... Аля... ля... Аля... ля... — силился что-то вымолвить дед и шарил руками по одеялу, будто ими искал он нужные слова. Слова не находились, и дед упорно твердил этот единственный еще, не потерянный им звук...

Я не сводил глаз с языка... Ах, дедушка, не петь нам больше разбойных песен долгими вечерами!.. Все живое жаждет ходить, бегать, кричать, говорить. У меня есть солнце, снег, игрушки, книги. А у деда ничего этого больше нету. Он умеет теперь только мычать. И это и есть смерть. И я испытал острую радость, что я живу, и превосходство над дедом. И сейчас же мне стало за это чувство стыдно. Дед находился во власти некоей темной и беспощадной силы. Я сделал движение горлом, чтобы удержаться от плача. Дед, видимо, это заметил, он еще больше повернул ко мне голову, и, повторяя свое: «Аля... ля... Аля... ля... Аля... ля...», пристально смотрел на меня одним глазом. В этом взгляде он собрал всю свою тоску, свое страдание и свою надежду. *Дед ждал от меня, ребенка, помощи и молил о пощаде.* Я весь содрогнулся от ужаса.

— Дедушка, ты еще будешь здоров! — пролепетал я, отвечая на его нестерпимый взгляд. Не зная, чем помочь, и жаждая помочь, я наклонился к деду, взял его за руку, теплую, рыхлую, словно лишенную костей, и трепетными губами ее поцеловал.

— Аля... ля... Аля... ля... — ответил дед на своем птичьем языке...

Бабушка тронула меня за плечо и вывела из комнаты.

Дома я забрался на лежанку и долго плакал. Вечером сказал матери:

— Я никогда, мама, не помру.

— Все помирают, дурачок, придет смерть — и помрешь.

Я упрямо объявил:

— А я никогда не могу помереть. Придет смерть, а я ей не поддамся.

...Дед скончался ночью.

На похоронах мне вдруг почудилось, что дед не умирал, а отпевают кого-то другого. Чувство это было настолько сильное, что я не мог больше с собой совладать, незаметно продвинулся ближе ко гробу и заглянул в него. Дед лежал на белой жесткой подушке с черными ноздрями. Я отодвинулся от гроба. Но опять я усомнился в смерти деда и во второй раз приблизился ко гробу, долго и упорно вглядывался в труп и, когда возвратился на место, все же не верил, что в гробу — мой дед, тот самый, с которым мы певали песни.

После похорон меня занимал вопрос, куда пойдет дед: в рай или в ад. Выходило — в рай. Дед был священником. Правда, он много пил, но он стоял за бедных, за разбойников. В каком виде, однако, дед попадет на тот «свет»: молодым, средних лет или стариком? Я спрашивал об этом старших, но им было не до меня, про себя же я решил: деду жить на том свете, примерно, тридцатилетним: старикам и в раю не сладко, «маленьким» тоже часто не важно живется, попадает от старших.

Я узнал о деде много новых подробностей. Деда мужики переносили лучше, чем других попов из округа, он ни к кому не подлаживался и ни к кому не подслуживался: начальства и светского, и духовного терпеть не мог, ни разу не явился в епархию к архиерею, и был там на плохом счету не столько из-за пьянства, сколько «из-за гордыни». Помещики деда тоже не любили, считали его грубияном, строчили на него доносы и даже подозревали его в крамоле. Говорили еще родные, что быть бы деду не простым захолустным попом, а ученым, да сгубила его среда, да русское зелие. Я охотно слушал эти разговоры о деде, но удивлялся, почему его хвалят после смерти и почему осуждали его и не берегли, когда он был живым.

Могила деда находилась поблизости, за оградой в церковном саду. Весной и летом я часто заглядывал туда с Лялей. В солнечные дни от цветных окон алтаря на сочную, мягкую могильную зелень ложились кружки, синие, желтые, красные, дымчатые, веселые, живые. Я закрывал глаза, и от солнца делалось горячо векам... Я вспоминал песни деда, может быть, единственное после водки, что доставляло ему отраду. Шагах в пятнадцати, под высокой грушей, темнела чугунная плита с надписью: «Здесь покоится тело купеческого сына и степенного гражданина». Я не любил ни этой мрачной плиты, ни этой надписи и был доволен, что на могиле деда лежит простой

горючий камень, едва обтесанный, и что дед не степенный. Я играл с Лялей в несложные детские игры; мы ловили божьих коровок, бабочек, жучков. Я рассказывал сестре небылицы, часто тут же их и выдумывал, пугал Лялю мертвецами. От страха у ней расширялись глаза, она бледнела, и на нее глядя, и сам я пугался. Над нами плыло облако, думой-раздумьей плыл вечерний звон, голубело небо, застывшее в необъятном размахе и в взлете, такое же непреложное и верное, как и могила нашего беспутного деда.

III. Люди

...БЛИЖЕ ДРУГИХ мне были, понятно, родные: мать, Ляля, дедушка, бабушка, двоюродные братья и сестры, но почему-то хочется рассказать не о них, а о людях более далеких, иногда даже случайных. Может быть, это от того происходит, что писать о самых близких всего труднее.

...Нянькой, другом, приятелем моим несколько лет был Алексей, дядя по отцу. В детстве Алексей угодил под телегу и на всю жизнь остался глухонемым. После смерти отца он бросил другого брата, тоже священника, и пришел к нам за триста с лишним верст, побираясь и ночуя где попало. Удивительно, как он нашел к нам дорогу. Алексей объяснил матери: он не может оставить малых сирот, меня и Лялю, без присмотра и успокоится тогда, когда Ляля выйдет замуж, а я сделаюсь важным и богатым. После этих заверений он домовито расположился у нас.

Было Алексею тогда не больше двадцати пяти лет. Темные волосы он стриг по-деревенски, под скобку, мазал их обильно коровьим маслом, штаны вправлял в высокие сапоги со множеством сборок, от сапогов несло дегтем шагов на двадцать, рубахи носил яркие, цветные, выпуская их из суконного жилета. Черты его лица, крупные и, пожалуй, красивые и приятные, носили отпечаток замкнутой настороженности, какая встречается только у глухонемых. Алексей обладал редкой силой.

Поселившись у нас, он нимало не медля взял на себя наше хозяйство: доил корову, мыл полы, топил печь, развлекал нас и присматривал за нами, замешивал тесто и даже помогал «разделявать» просфоры. Чудесные он делал сабли, самострелы, кинжалы, летучие змеи, куклы. Он всегда находил себе работу и, если у нас нечего было делать, отправлялся к Николаю Ивановичу и там пилил, косил, рубил, задавал скотине корм. Не могу объяснить, почему Алексей до страсти, до исступления и совершенно бескорыстно любил нашу семью.

Глядя на нашу нужду и нехватки, нередко он плакал, по-детски закрывая лицо обеими руками. Старших Алексей избегал и лучше всего чувствовал себя с нами. Его язык, язык жестов, мимики и нечленораздельных звуков, мы, дети, превосходно понимали. Когда я научился читать и писать, Алексей бережно охранял мои учебники и тетради, с гордостью показывал их мужикам, нищенке, кухарке дяди Николая; он стучал при этом по лбу себе пальцем, качал головой, выражая удивление моим способностям. Он объяснял, что меня скоро отвезут в большой город, там я надену очки, буду вот таким, до меня рукой не

достанешь, и он, Алексей, это уже само собой ясно, пойдет ко мне в заглавные кучера, — тут он показывал, как молодецки станет он натягивать вожжи и перебирать ими. Тройка вороных, — на меньшем он не помирится. Будущее мое Алексей определял по-разному: если недавно он видел доктора — я делался доктором; встречался Алексей с помещиком — и я превращался в помещика; иногда выходило — быть мне военным в чине генерала, с орденами и с большой звездой на груди; после проезда через наше село викарного архиерея Алексей решил, что я надену митру и буду всех благословлять. Утвердившись в предположениях, кем мне стать, Алексей никаких возражений уже не терпел. Презирал, ненавидел, жалел, любил он от всей души и от всего сердца. К выводам и заключениям Алексей приходил странными и не рассудочными путями. Он мало и редко думал о себе, целиком отдаваясь привязанностям и заботам о близких, не дорожил ни своим досугом, ни здоровьем. Лишь иногда в черных, с напряженным блеском его глазах ворочалась тяжелая, глухая тоска. Что просилось наружу из его замкнутого мира, лишенного звуков? На лице Алексея лежало обычно нечто строгое и схимническое, запечатлелась важная дума, но как бы не до конца ясная и не решенная. Прост он был и непорочен. Алексей покрывался густою краской, когда говорили в шутку, что ему пора жениться. В ответ он отрицательно качал головой: нет, глухонемые не женятся, они не нужны девушкам, кто на убогих позарится? Таким грешно жениться. Ему, Алексею, суждено скоротать свой век бобылем, к тому же у него на руках сироты. Нечленораздельные звуки приобретали при этом особую выразительность.

В гнев Алексей был ужасен. Лицо его темнело, делалось чугуном, в круглых глазах дрожало бешенство, губы тряслись, и весь он тоже сотрясался крупной дрожью; глухое, неистовое рычание исторгалось из его рта с оскаленными зубами. Один из соседей, Кузька, мужичонка плюгавый и вздорный, как-то раздражил Алексея. Алексей перекрывал сарай соломой. Сверкающие на солнце вилы пролетели над самой головой Кузьки и почти по рукоять ушли в землю. Шуток Алексей не понимал, не любил их и легко от них раздражался. В селе скоро узнали его характер, его силу и потешаться над ним не решались. Унять его в гнев могла лишь мама, мы, дети да еще Николай Иванович. От нас он сносил многое. В одном ничего не смогли с ним поделать: Алексей ежедневно тщательно смазывал сапоги дегтем, и, сколько мама ни просила его это делать пореже, сколько ни возмущались, что дом наш дегтем весь пропахнул, Алексей попрежнему, старательно изо дня в день трудился над сапогами,

при чем он доказывал, что сапоги у него преотличные и что их надо всячески беречь. Тут уж ничего не могла поделать с ним и мама. Бережливость прежде всего, а сапоги в деревне да в те времена — это была вещь, и еще какая. Да, тут Алексей был неподатлив.

Горько жалел Алексей, что остается неграмотным, и перед книгой он трепетал. Надо было только посмотреть, как бережно и осторожно перелистывал он страницы или рассматривал рисунки; руки его, утружденные в работе, заскорузлые, делались тогда робкими, Алексей хмурился и все качал головой: до чего все это удивительно и непостижимо! От кого-то он дознался, что в городах есть школы для глухонемых, и нам, мне и Ляле, под самым строгим секретом сообщил: когда мы вырастем большими и у нас всего будет много-премного, он, Алексей, тогда сможет подучиться в школе со светлыми окнами, он наденет очки, часы с цепочкой и настоящее суконное пальто, а не овчинный полушубок, — Алексей пренебрежительно теребил полы полушубка, выпячивал губы и хлопал нас слегка по плечам: мы не должны забывать своего дядю, дядя на нас надеется; на старости лет ему нужно иметь пристанище. Эти надежды я поддерживал в нем; он может быть спокойным: сделаюсь я отважным атаманом разбойников, много нагребем мы злата-серебра, много загубим христианских душ; охрана же наших несметных богатств и кладов будет поручена нашему верному дядюшке: он не выдаст, не проспит. Кажется, верный дядюшка не совсем ясно понимал, кем собираюсь я сделаться, и о моих намерениях думал по-своему: из меня выйдет знаменитый охотник, всем охотникам — охотник, истребитель медведей, волков, лисиц, куниц. Алексей соглашался и с этим и на себя брал скромную, но обязательную должность главного псаря: разведет он отличные своры собак, таких свирепых, что только я да Ляля, да он, Алексей, и сможем с ними справиться. Охота будет на славу. А лихим людям Алексей спуска не даст. Это уж верно!

Обещание взять к себе Алексея я так и не выполнил, а он до конца дней своих крепко на меня надеялся, все ожидал со мной поселиться, следил за судьбой моей и настолько был уверен, будто меня ожидает блистательная жизнь, что надолго не смутился даже и тогда, когда дошла до него весть, что племянник его изгнан из семинарии и упрятан в тюрьму. Должно быть кто-нибудь ему разъяснил, и он, после первых самых горьких сетований, стал уверять, что племянник его хотя и сидит в тюрьме, но не чета иным прочим, сидит он за мужиков, желает им добра; он против урядников и станowych; урядники и становые племянника боятся и посадили его на железную цепь в подвал; но

— придет время — племянник из тюрьмы уйдет, и тогда начальству придется худо, начальству придет карачун, не иначе...

Умер Алексей в девятнадцатом году от голода и сыпного тифа, все ожидая племянника; давно бы пора этому племяннику успокоить старые кости своего трудолюбца-дяди, да вот все мешали разные важные-преважные дела. Дядя понимал, что недосуг племяннику, он соглашался терпеть еще и еще, но тут откуда-то подошла смерть и отказалась погодить: неласковая она и приходит всегда до срока...

Алексею пришлось оставить нашу семью в голодный год: нечем было его кормить. Он перебрался на прежнее место, к брату. Склонить его к этому удалось с большим трудом и то после того, как он изголодался.

...Непонятную вражду Алексей испытывал к старику Ивану. Говорили, что Алексей на любил запивох, а Иван был запивоха.

Двадцать пять лет Иван прослужил в солдатах, батрачил у деда и доживал свой век, гордясь «полной отставкой с пенсией». Зимой проводил он время на полатах в кухне, весной устраивал себе из жердей и досок кровать под амбарным навесом. С ним рядом в конуре помещался старый дворняга Полкан, лохматый, подслеповатый, в репьях и щепках. Иван курил трубку, набивая ее зеленым тютюном, настолько едким, что от него выворачивало глаза и даже привычный к нему николаевец — и тот после первых же затяжек начинал хрипеть и, растирая грудь, оглушительно кашлял, вытирал слезы и говаривал: — «Едят те мухи с комарами, проклятущая!» — Имущество Ивана хранилось в неказистом солдатском сундуке. Сундук этот возбуждал крайнее любопытство, и я делал самые разнообразные и неправдоподобные предположения, что же такое хоронит в нем Иван. Но Иван держал сундук на преогромном замке, открывал его редко и, когда открывал, неизменно заслонял его всем телом и не давал в него заглянуть. Великая тайна окутывала сундук. После смерти Ивана в сундуке обнаружили: полуистлевший солдатский мундир, — о нем мне было известно, — серебряную медаль «за храбрость», — ее я тоже видел не раз, — две жестяные коробки с костяными и медными пуговицами, с крючками, с карандашными огрызками; нашли еще образок, воинское увольнительное свидетельство, портки, рубаху, заготовленные Иваном обрядить его в них после смерти; к внутренней стороне крышки сундука был приклеен портрет белого генерала Скобелева, а на самом дне, в медяках, хранилось три целковых «про черный день». Это все, что приобрел Иван за царскую службу, за войны, за батрачество, если не считать овчинного полушубка, истрепанного одеяла, подушки и убогого хлама под

этой подушкой. Медалью Иван дорожил, по царским праздникам неизменно украшал ею грудь и тогда делался торжественным и неприступным. К односельчанам он относился со снисходительным пренебрежением, называл их «вахлаками», себя же считал человеком казенным: никто не имеет права его обидеть, иначе обидчику придется держать строгий ответ. Гордился Иван также пенсией, хотя она и не превышала пяти-шести рублей в год. Отправляясь ее получать, Иван облачался в мундир и сожалел, что пьяным несколько лет назад потерял картуз с красным околышем. Тогда он был бы хоть куда!

Иван оборонял Севастополь, умирал сартов, служил в Финляндии, на Кавказе. Я часто просил его рассказать про войну и про «сражения», Иван либо отгонял меня от себя, либо тянул нечто скучное и вздорное.

— Известно, — говаривал он о Севастополе, глядя куда-то в сторону тусклыми глазами, — известно: на горе стоит, а вокруг него, например, море-океан. Воды этой самой видимо-невидимо, — слыхано-неслыхано; никуда от нее, от воды, не денешься, со всех концов льется. И синяя вода, будто синьки в нее напустил; и соленая вся наскрозь. Зовут море Черным, а шут его разберет, по какому случаю так прозывают, ежели оно не Черное, а синее, — море-то это самое...

— Дядя Иван, ты лучше про войну расскажи...

Иван жевал губами, неторопливо почесывался.

— Обсказывать тут долго, паря, нечего. Война, известно, например... она... она... этого самого... по голове не погладит... нет, брат, этого за ней не водится... Ты только знай, портками потряхивай да пошевеливайся. Война, брат, милости не имеет... В Крымскую кумпанию на самом Малаховой кургане француза отбивал, это уж, как есть, было. Которые и пороху не нюхали за службу, а бахвалятся: и то тебе, и это тебе нагуторят, а промежду прочим выходит одно вранье... да... а я, верно, я сиживал в этих самых редутах... Англичанка, например, турка, а либо французишка эти самые — одно слово — некрещеная сила; ты ему и то, и другое, и пятое, и десятое, а он, знай, по-свойскому лопочет, только с им ни говори, ни до чего не договоришь: понятия нету. Конечно, били мы их несудом, потому приказ царский всему православному войску зачитывали про победу и одоление...

— Дядя Иван, а я читал, Малахов-то курган пришлось нам тогда отдать.

Иван косил на меня кровавый глаз, презрительно шурился:

— Много ты больно читал! Врут все в твоих книгах! Кто книги строчит, в траншеях не сидит. Читал!.. А ты не читай, а

слухай!.. Пойми, дурень, ежели турка взяла бы курган, то и вышла бы всей Рассей крышка, а она, Рассея, вот она, сама по себе живет, никого не спрашивает... Выходит — отогнали... Не могли супротив нас устоять: кишек не хватило, силы настоящей, например, не имеют, сударь ты мой... Наполеон не такой ерой был, царства под нозы покорил, а с нами не совладал, в плен попался и даже в клетке жалезной по городам показывали... — Бонапарту не до пляски — растерял свои подвязки!.. Вот оно как певалось в наших песнях. Читал!.. Мы, братец ты мой, под Малаховым курганом положили их многие тыщи, будто мух надавили в жару...

...Обычно Иван мирно грелся на солнце у амбара, но иногда напивался и тогда делался воинственным.

— Шагом арш! — командовал он сам себе, стоя навтытяжку, но не двигаясь с места. — Шагом арш! — повторяя он еще более зычно и грозно, топчась и махая руками. — Ать, два. Ать, два!.. Стой!.. Эй, сиволдай рыжий!.. — От собственного окрика Иван вздрагивал, замирал и «ел глазами начальство». — К-ак стоишь, подлая твоя харя!.. Подбери, дубина, пузо... Хрясь!.. Иван замахивался и отвечивал полновесную, но воображаемую пощечину воображаемому служилому. — Хрясь!.. Хрясь!.. Я выучу тебя, подлеца!..

Первым на «представленье» отзывался Полкан. Гремя цепью, он лениво выползал из конуры, усаживался на припеке, скашивал глаза на Ивана и наклонял в его сторону морду, приподнимая ухо. Он наблюдал за Иваном снисходительно и даже немного насмешливо. Однако, когда Иван его замечал, Полкан притворялся, что ему до героя Крымской кампании решительно нет никакого дела и что вылез он, Полкан, из конуры поразмяться, на людей посмотреть да и себя показать. Полкан, превеликий дипломат, осложнений не любил и знал, что во хмелю Иван бывает скор на расправу.

За Полканом появлялся и я из сада с ружьем, с саблей, препоясанный и перехлестнутый ремнями.

— Стой, дядя Иван! — кричал я николаевскому ветерану. — Сейчас я тебе помогу, мы им покажем!..

Иван переводил на меня мутные с красными веками глаза. Под его команду, уснащенную чисто русскими выражениями, я делал «во фронт», «пятки вместе, носки врозь», брал ружье «на изготовку». У амбара росла густейшая крапива; ее-то и надлежало предать огню и мечу...

— Ась, два! Ась, два!.. Песельники, вперед!.. Солдатушки, браво-ребятушки, где же ваши жены? Наши жены ружья заряжены, вот где наши жены!..

Иван хрипел, продолжал топтаться на месте, между тем я неуклонно приближался к крапиве, выпучив глаза, задрав голову, с ружьем «наперевес». Геройски врезался я в кусты, работал штыком, штык покрывался зеленой кровью; вострой саблей я одним махом сносил крапивные головы, топтал безжалостно трупы. Иван руководил битвой; к его команде я присоединял воинственные кличи, от них у врага должны были дыбом подниматься зеленые волосы.

Полкан, дотоле добродушно наблюдавший сражение, не выдержав, вытягивался, сначала лениво подлаивал, затем расходился все больше и больше и вот уже заливался во всю мочь и рвался с цепи. Хитрый, он прикидывался остервенелым, и в то время, когда крапива жгла нестерпимо мне ноги, он предпочитал кидаться из стороны в сторону. От крапивных «лапок» я готов был позорно отступить, навертывались даже слезы, но Иван позади все надсаживался — «Коли их! Руби! Пли!» — И я продолжал беспощадно лить крапивную кровь.

Иногда к «делу» присоединялся помянутый Питерский, тоже пьяный: не совместно ли он и Иван напивались? Питерский потрясал портками с преогромной мощной, волосы у него дико торчали; худущий, предлинный — он присоединял к нашему гвалту невероятную ругань, и даже бывалый Иван спадал с тона и с сомнением косился на боевого и не в меру усердного товарища. Полкан в это время терял равновесие духа и уже по-серьезному старался дорваться до Питерского, хватить его за босую в струпьях ногу, на что старик на обращал никакого внимания, чем и сбивала Полкана с толку. Трудно было понять, кого имела в виду неистовая брань Питерского; я относил ее к крапиве, но теперь, кажется мне, он обрушивал ее и на всех нас, и на село, и на всю свою горемычную и нелепо проведенную жизнь.

Хрипая команда Ивана, воинственные мои кличи, лай Полкана, истошная ругань Питерского сливались в один несусветный ералаш. У соседних хат показывались мужики, из окон выглядывали хозяйки. Около нас собиралась деревенская детвора, принимая в «войне» посильное участие. Гам, суматоха, неразбериха нарастали. С другого порядка спешил дядя Ермолай с ведром, полагая, что в нашем конце занялась изба. Чей-то теленок, задрав хвост, мчался через выгон. Куры с кудахтаньем разлетались кто куда. И уже спешил к нам Алексей, качал головой, махал руками, протяжно и с осуждением мычал. Потного и остервенелого он схватывал меня подмышки и тащил домой; я упирался, орал и в раже все размахивал ружьем или саблей, оглядываясь на Ивана, на Полкана, на Питерского и на ораву ребят. Орава в этот миг наступала на пруд, где в грязной ржавой

воде плавал утиный выводок. Подальше от греха. Выводок благоразумно выбирался на противоположный бережок, утята отряхивались и кряканьем выражали неодобрение предосудительному людскому поведению. Я рвался из крепких рук Алексея с надсадным криком, то ли оттого, что хотелось еще повоевать, то ли потому, что мои ноги и руки изожгла крапива, то ли от причин обоюдных. Гвалт у пруда прекращался, когда на крыльце появлялся Николай Иванович. Первым сдавал Полкан, он начинал рабски и предательски вилять хвостом: меня, мол, не смешивайте с этими непутевыми озорниками! Вслед за Полканом прыскали куда попало ребята, показывая черные пятки. Иван бормотал что-то невразумительное и удалялся под навес. Упорнее всех был Питерский; он продолжал «чистить» и пруд, и утят, и дядю, и Полкана, покуда за ним не приходила его старуха и не сманивала его посулами дать водки, причем показывала из-под фартука или из-под юбки бутылку с водой.

Ни с кем Иван близко не сходил, не дружил; непокладистый, строптивый, он не имел привязанностей; уважал он, пожалуй, не за страх, а за совесть, только деда. Завидев его, Иван поднимался, с трудом расправлял поясницу и спину, истово деду кланялся, провожал его пристальным взглядом и не садился, покуда тот не скрывался. Перед остальными Иван никогда не вставал.

Умер Иван скоропостижно. Утром нашли его под амбарным навесом уже похолодевшим и покрытым росой. Еще задолго до смерти он совсем высох, и труп его напоминал мощи: виски провалились, щеки глубоко запали, остро выдавались скулы, выпирали ключицы; глаза зашли под лоб, согнутые колена торчали палками. В углах иссиня-черных губ копошились зеленые мухи и по лицу ползали мокрицы... Какой одинокой, горькой и нерассказанной бывает жизнь человека!

...За огородами — конопляник. Зреет рожь. На пригорке мельница все машет и машет без усталости крыльями, налететь бы, да земля держит крепко. Тянет укропом, огуречным цветом, а порой ветер приносит горячий, горький запах полыни. Небо вот-вот распахнется, обстанет миражами.

Я решил осчастливить человечество. Сырые яйца превосходно мылятся. Из-под кур я выкрал три яйца «для опытов». В жестянке — желтки, соль, синька, к ним прибавляется вишневый клей, клей застынет, жидкое превратится в твердое, вот и готово отличное мыло. Не прибавить ли для расцветки чернил?.. Итак, я сделаюсь знаменитым мыловаром, разбогатею, буду путешествовать... Может быть примешать еще также и сахару? Для чего? Там

увидим. А еще лучше известки. Однако негашеная известь, если полить ее водой, шипит и обжигает. Не получится ли от извести вместо мыла что-нибудь взрывчатое, скажем, порох? Что же, и это не плохо для молодого химика! Это даже замечательно — изобрести порох. Иные всю жизнь потеют над зловониями, но пороху не изобретают... Надо соблюдать осторожность: а вдруг жестянка взорвется! Кладу в смесь кусок извести и от страха даже зажимаюсь. Слава создателю, ничего не случилось!..

От мельницы с пригорка спускается женщина; ближе и ближе мелькает она в густой и высокой ржи. Никто не должен догадываться о моих секретных занятиях по химии. Я старательно прячу жестянку под кочку. Сегодня мыло и порох не удались, — унывать не след: удадутся непременно завтра. В женщине я узнаю странницу Наталью. Голова ее повязана серым ситцевым платком, концы платка надо лбом торчат рожками, за спиной плетеная котомка. Наталья идет споро, легко, опираясь на посошок. Ей лет за сорок, но по лицу возраст ее определить трудно: она загорела, обветрилась почти до черноты. На ней домотканная в клетку юбка, белый шерстяной зипун, ноги в запыленных лапотках, крепко и аккуратно обмотаны онучами и бечевкой. Я окликаю Наталью.

— Здравствуй, милый, здравствуй, хозяин, — приветливо отвечает Наталья, вытирая крепко губы в мелких морщинках. — Примешь ли в дом гостью? Все ли живы-здоровы?

— Спасибо. Все живы-здоровы. В гости приму.

Я говорю солидно, будто и впрямь я хозяин. Шагаю рядом с Натальей вразвалку, по-мужицки.

Наталья из соседней деревни, лет десять назад она сразу лишилась мужа и троих детей: в отлучку ее они померли от угара. С тех самых пор она продала хату, бросила хозяйство и странствует.

Говорит Наталья негромко, певуче, простодушно. Слова ее чисты, будто вымыты, такие же близкие, понятные, как небо, поле, хлеба, деревенские избы. И вся Наталья простая, теплая, спокойная и величавая. Наталья ничему не удивляется: все она видела, все пережила, о современных делах и происшествиях, даже темных и страшных, она рассказывает, точно их отделяют от нашей жизни тысячелетия. Никому Наталья не льстит; очень в ней хорошо, что она не ходит по монастырям и святым местам, не ищет чудотворных икон. Она — житейская и говорит о житейском. В ней нет лишнего, нет суетливости. Бремя странницы Наталья несет легко и горе свое от людей она хоронит. У нее удивительная память. Она помнит, когда и чем в такой-то семье хворали дети, куда великим постом Харламов или Сидоров

хаживали на заработки, хорошо ли, сытно ли там им жилось и какую обнову принесли они хозяйкам.

Завидев странницу, Алексей радостно мычит, бросается ставить самовар. Из котомки Наталья неторопливо вынимает лубочную книжку «Гуак или непреоборимая верность». Сестре она дарит деревянную куколку, а маме полотенце, расшитое петухами. За чаем, осторожно откусывая крепкими и сочными зубами сахар, поддерживая блюдце на растопыренных пальцах, Наталья повествует:

— ...Зашла я под Казанью к одному татарину, а у него коробейники тоже на ночь попросились. Татарин старый, лет за шестьдесят; шея вся в складках и рубец синий от губы до самой груди; глаза слезятся. Угощает он коробейников, а они спрашивают — «Где же у тебя твоя хозяйка?» Татарин смеется — «Хозяйка у меня молодая, гостей боится». — В углу на скамейке — гармонья. — «Кто ж у тебя, хозяин, на гармонии играет?» — «А моя жена и играет». Коробейники пристали: покажи да покажи хозяйку, пусть сыграет на гармонии, зеркальце и гребенку подарим. Один-то из коробейников в летах, а другой совсем молодой, годков двадцати, не боле. Татарин из другой половины выводит жену, она упирается, голову опустила, на нас не глядит, вся пунцовая, зарделась. На вид — прямо девчонка; с мелкими рябинками коло глаз, приятная такая и чистая. Села на подоконник, хоронится и ладошкой лицо закрывает, непривыкшая. Упросили — взяла гармонью, заиграла, и так-то у ней ладно игра выходит; за сердце хватает. Унывно, и все будто кто плачет в гармонии. Хорошо играла. Молодой-то коробейник глаз не сводит с татарки и только бровью высокой, нет-нет, да и поведет; а я слушаю и думаю: про жизнь свою со старым незавидную играет. Меня-то, странницу, и то с души воротит, как только на рубец старика гляну, на кадык да на морщины, а уж ей-то, молоденькой, и вовсе никакой приятности с ним не выходит: с таким в отраду не намилишься. Сыграла, закрыла опять лицо ладошкой и убежала. А парень только вздохнул ей вослед всей грудью да рукой по лбу провел... На другой день я и молвила татарину — «Не пара тебе твоя жена, Ахмет, не пара. Что же это ты, старый, девчонки-то не пожалел зелененькой: семьей десяток тебе пошел, а она и свету еще не видала». — «Первая-то жена, — отвечает старик, — померла у меня, кому-нибудь за ребятами приглядывать-то надо. А эта в няньках служала. Ну, так оно и вышло. Сыта, обута, одета, а раньше в побирушках ходила, сирота она круглая...» Помолчал, нахмурился: — «Ты у меня, Наталья, ее не сбивай. У нас свой закон, у вас свой закон; иди скорей, откуда пришла...» Вот они какие, наши дела-то женские!..

— А на Кавказе что видела?

— Была я, родная, была и там. Горы-то диво-дивное, чудо-чудное. Стоишь на горе, а внизу плывут рекой небесные тучки; дух от высоты захватывает. Снега на горах лежат косами белыми, чистые-пречистые. Глазам от них больно. Лесов много дубовых, реки страсть какие быстрые.

Ушла с тех мест, первое время радовалась; год прошел — по горам затосковала: тянут к себе; вспомнишь о них, и ровно бы матушка гостинец подарила какой. Во снах даже стали сниться, право слово... А живут там не по-нашему, тяжело живут. У нас тоже никакой легкости нету, а тамошним и того хуже приходится. Иной раз смотришь — человек со жбаном воды с кручи на кручу цельный час еле ногами передвигает. Сено косят на ужасенной вышине и вниз на веревках спускают; не дело это. Мается народ. Оттого должно и отчаянные есть промежду их. Ох, не все там нас привечают, иной вскинет взгляд — хуже полымя, вот-вот платок займется...

Я слушаю Наталью с недоумением. Из книг мне известно про кавказских пленников, про «Мцыри», про замок Тамары, про наши русские геройства, про коварство горцев. Ни разу я не подумал, что эти горцы пашут, косят, жнут, пасут овец, коров. Горцы всегда на конях, в мохнатых бурках, обвешаны оружием; они нападают друг на друга, аул на аул, а еще чаще подстерегают «наших». «Наши» им тоже спуску не дают. Из рассказов же Натальи представляется иное: все эти осетины, чеченцы, кабардинцы, ингуши занимаются тем же самым, чем занимаются и наши мужики, живут тоже незavidно и даже беднее наших. Зачем же мы с горцами воюем, что нам от них надо? И кому верить: Наталье или любимым книгам? Неужели в книгах выдумывают? И верно, в них ничего не говорится, как кабардинцы носят на себе воду, как косят и убирают они сено, как пасут стада, а ведь они, горцы, этим должны заниматься, не пропадать же им с голоду. Да и Наталья не лжет, не такая она. Вот она подпирает щеку рукой, глаза у ней добрые, усталые, правдивые, правдивы и ее сухие-морщинки около рта... Книги, значит, обманывают. Но их обман дорог. С тем миром, какой они создают, трудно расставаться... Если в книгах неверно про черкесов, то и про другое тоже, может быть, неверно. Может быть выдуманы страсти христовы, и Вещий Олег, и Владимир-Красное солнышко, и крестовые походы, и ничего этого не было, а если что и было, то происходило совсем по-другому. Впервые предо мной открывается нечто темное, всепоглощающая бездна, нечто безмолвное, слепое, безликое и ко всему живому равнодушное. Обвалами рушатся туда тысячелетия, мелкими обломками падают века, царства, народы, мусором

исчезают люди, — доносится неясный грохот, едва-едва приметны темные груды, лишенные образа, — и нет уже и их, навсегда выпали из памяти — из чьей памяти? — и даже надписи уж стерлись на угрюмом мраморе плит... Еще проходит время, исполняются сроки — вот и самые плиты поглощены вечностью.

Наталья живет у нас дней десять, приходит на ночлег, и то не каждый день. У знакомых мужиков, у родных она шьет, стирает, помогает в огородах. Вечерами Наталья охотно и обо многом рассказывает, но в одном она скупа на слова: когда ее спрашивают, почему она сделалась странницей.

— От горя бегу и новой горе ищу... — Она улыбается и переводит беседу на другое.

Горе ее большое, но светлое, оно не ложится на жизнь мрачной тенью, не каркает черным вороном, не хохлит пучеглазой совой, ее горе летит легкой птицей, журавлиным клином в высоких и синих небесах, бросая на осеннюю землю невнятное и грустное курлыканье.

...Я уже учился в бурсе, слыл «отпетым» и «отчаянным». Я оголтел, ходил, задирая сверстников, говорил на особом бурсацком языке, гнусном, сродном блатному; неделями не умывался, расчесывал до крови от «цыпок» кожу, мстил из-за угла надзирателям и преподавателям, обнаруживая в делах этих недюжинную изобретательность. В одну из перемен бурсаки известили, что в раздевальной меня ожидает «какая-то баба». Баба оказалась Натальей. Наталья шла издалека, из Холмогор, вспомнила обо мне и, хотя ей и пришлось дать крюку верст под восемьдесят, но как же не навестить сироту, не посмотреть на его городское житье; уж наверное вырос сынок, поумнел на радость и утешение матери. Я невнимательно слушал Наталью: стыдился ее лаптей, онуч, котомки, всего ее деревенского облика, боялся уронить себя в глазах бурсаков и все косился на шнырявших мимо сверстников. Наконец, не выдержал и грубо сказал Наталье:

— Пойдем отсюда.

Не дожидаясь согласия, я вывел ее на задворки, чтобы никто нас там не видал. Наталья развязала котомку, сунула мне деревенских лепешек.

— Больше-то ничего не припасла для тебя, дружок. А ты уж не погребуй, сама пекла, на маслице на коровьем они у меня.

Я сначала угрюмо отказывался, но Наталья навязала пышки. Скоро Наталья заметила, что я ее дичусь и нисколько не рад ей. Заметила она и рваную, в чернильных пятнах, казинетовую куртку на мне, грязную и бледную шею, рыжие сапоги и взгляд мой, затравленный, исподлобья. Глаза Натальи наполнились слезами.

— Что же это ты, сынок, слова доброго не вымолвишь? Стало быть, понапрасну я заходила к тебе.

Я с тупым видом колупал болячку на руке и что-то вяло пробормотал. Наталья наклонилась надо мной, покачала головой и, заглядывая в глаза, прошептала:

— Да ты, родный, будто не в себе! Не такой ты был дома. Ой, худо с тобой сделали! Лихо, видно, на тебя напустили! Вот оно, ученье-то, какое выходит.

— Ничего, — бесчувственно пробормотал я, отстраняясь от Натальи.

Наталья еще погоревала. По уходе ее я забежал в пустую уборную и выбросил пышки в яму с калом, а на другой перемене ни за что ни про что избил малыша.

Все это я охотно забыл бы теперь.

С Натальей я больше не повстречался...

...Николая Валунова прозывали Хорьком, вероятно, потому, что был он беспокоен и вертляв, худ и мал ростом. В остальном Валунов на хорька не походил. Отличался Хорек беспечностью, смешливостью. Любил он посмеяться над людьми и над собой также, над своей нищетой, над незадачливой своей жизнью. В драке ему выбили передние зубы, к тому же Хорек косил, шершавое, острое, почти безбородое лицо его морщинилось, но Хорек уверял, что ему нет от девок и баб отбоя; он шурился при этом, глаза его весело и с озорством поблескивали.

Жена его Авдотья то-и-дело поносила Хорька на всю улицу, что в избе хоть шаром покати, нет даже куска черного хлеба для двух малолеток. Хорек отшучивался, либо уходил на базар, где толкался среди приезжих мужиков, у лавок, у возов, у ларьков. Точно в насмешку над своим жалким житьем, он сажал перед хатой цветы; цветы пышно распускались, между тем верх избы оставался раскрытым — зимой не хватало соломы, — а два темных окошка с мутными зелеными стеклами валились в разные стороны.

Об односельчанах Хорек судил снисходительно и жизни их не одобрял: Хорька считали «чумовым», «непутевым». Хорек отвечал прибаутками в том смысле, что на господ не наработаешься даже до второго пришествия. Он утверждал: счастье, оно одноглазое, а глаз у счастья на самой макушке. Ходит счастье по свету, ищет свое пропавшее дитяtko. Увидит человека: не мое ли дитя родное? — поднимает все выше и выше к самой макушке, разглядит: нет, не мое, — бросит всердцах. Один жив остается, а другому и смерть от этого причиняется.

Хорек отнюдь не был ни лентяем, ни лодырем. Он

устраивался церковным сторожем, караулил летом бахчи, ходил в пастухах, работал у купцов по ссыпке ржи и овса. Но он не научился помалкивать где следует, не терял самостоятельности и потому прочно нигде не оседал. Его с бранью выпроваживали за острословье, обсчитывали, штрафовали, обманывали; Хорек и в этих случаях только подсмеивался. Он охотно рассказывал сказки, были-небылицы и, рассказывая их, на глазах их выдумывал. Иногда он неожиданно умолкал и вслух себя спрашивал:

— О чем, бишь, это я?

Я подсказывал:

— Приходит он ночью в лес за кладом, а зачатое слов забыл...

— Вот, вот, — подхватывает легко Хорек, — слово-то настоящее он и забыл, никак не вспомнит... ровно обухом его тарарахнули по башке... отшибло... И вот идет он, понимаешь, по лесу, пробирается, слово все вертится, а в руки не дается... забыл... Идет он... будто не в себе, и хочется ему тот клад сыскать, прямо досмерти хочется, ну, только нету к кладу никакого приступа... Идет он этта... что тут поделаешь... Ничего не поделаешь... ругается... дело же ни с места, ни туды, ни сюды... эта прямо бяда...

Я вижу, Хорьку нужно время придумать дальше сказку, и уже с недоверием на него поглядываю: творчество предпочитает тайну; творческая работа — работа сокровенная.

Хорек — выдумщик, поэт. Он проводил время на охоте, на рыбной ловле, ставил силки, заманивал перепелов. Знал он также много деревенских песен и пел их задушевно. Надо мной Хорек тоже часто подшучивал.

— Тебе что же, тебе и горя мало, — говорил он сидя на обрубке и глядя пристально вдаль на дорогу, хотя на ней никого на было видно, — у тебя вон какой домино-то сгрохали... палаты... с железной крышей... так и блесит вся на солнце...

«Домино» трудно было принять за «палаты», но крыша, действительно, у нас железная...

— А у тебя огород, а у нас огорода нету.

— Подумаешь, огород, — отвечает щурясь Хорек, — крапива в том огороде да репы да хрен дикой... У тебя корова есть.

— У тебя тоже есть корова.

— Моя корова беспрерывно к рождеству ноги протянет, а у твоей коровы бока все от корма расперло.

— У тебя Жучок есть, он тебя сторожит по ночам. А у нас Жучка нет; к нам могут воры забраться.

— Это ты, брат, ловко меня поддел. Вора до моих сундуков

нипочем не добраться. Жучок, он, брат, спуску никому не даст. Одно слово — зверь. Жучок у меня и за лошадь сходит, а ума у него больше, чем у генерала с крестами; видал: на задних лапках служит, прямо — генерал полный. И расходу на него нету никакого; сам себе еду находит. На чужой шее не сидит... Я-то свои сундуки берегу, а тебе о своих надоть крепко подумать; не ровен час — упрут еще, охотников много.

Скользкая улыбка кривит лицо Хорька, раскосые глаза бегут куда-то в сторону, поверх меня. Хорек набивает тютюном трубку, глубоко, всей грудью затягивается, следит за синим дымом.

...Алексея, Ивана, Наталью, Хорька невольно я сравнивал с родными, с кругом сельского духовенства. Жили родные неторопливо, не богато и не бедно, занимая места священников, дяконов, псаломщиков, учителей церковно-приходских школ.

Больше всего и взрослые и дети любили дядю Сеню, псаломщика из соседнего села, весельчака, балагура, изобретателя вечного двигателя.

Случилось, дядя уверил себя и родных, что он изобрел вечный двигатель. Несмотря на уговоры, он известил телеграммами губернатора, архиерея, министра внутренних дел, святейший синод, что человечество осчастливлено им, озерковским псаломщиком. В своем изобретении дядя был настолько уверен, что бросил место и со скарбом, с ребятами переехал к Николаю Ивановичу, поселился у него в бане, где занялся производством «окончательных опытов». Провожали его прихожане с колокольным трезвонном, просили не забывать их, маломощных мужиков, дядя прослезился, сгоряча пожертвовал миру единственную свою корову. Окончательные опыты не удались. Телеграммы, к счастью, отрицательных последствий не возымели. Дяде Сене пришлось возвратиться в Озерки «под сень струй», корову успели всем миром пропить. Веры в вечный двигатель и в себя дядя, однако, не потерял и продолжал скупать железный лом по всей округе... Нет ничего живучей человеческой мечты. С ней не сладит никакая сила!

...Вечерами, обычно, у Николая Ивановича, реже у нас, собирались сестры моей матери — их было четыре в одном селе. Приходили также и знакомые на посиделки. Больше других судами и пересудами занималась тетка Авдотья, вдова с перекошенными плечами, неугомонная на язык. Под жужжание прялки и быстрое мелькание вязальных спиц Авдотья, почти не переводя духа, рассказывала:

— Прихожу я, сестрицы, третьеводнишь к Макарихе, она перед зеркалом новое платье примеряет. И что же я вижу, мои

девоньки? Под сорок ей будет с крючочком, а она платье-то пошила себе белое в полоску: так и пестрит в глазах, так и пестрит. Да еще чего удумала: с фижмами, прямо дворянка; а того не понимает, лупоносая купчиха, что из моды сколько лет вышли эти самые фижмы. Воланы по бокам, позади вырез, кружевами обвешалась, попугай да и только. А шлейф аршина на два будет. И еще турнюр носит, а какой ей надо турнюр: у нее, прости господи, сами видели, половину филе срезать надо да в пору на базаре продавать... Умора...

Я стараюсь забыть за «Светланой» Жуковского, но теткин голос все продолжает донимать, и я поневоле слышу, что она уже «чистит» мужа старшей сестры, начальника станции, Василия Никитича:

— ...Приехал из Воронежа, балыков понавез, севрюжины, апельсинов, а дети во что попало одеты. У Надюшки — то башмаки совсем развалились, а Алексей только и знает с ружьем да с собаками шастать без отцовского глазу. Собак развели полный двор, волкодавов каких-то; на них глядеть-то одна страсть. Пришла вчера к ним, так эти самые волкодавы на меня, на меня! Матушки, батюшки! Чуть-чуть не слопали! Спасибо, кухарка Лизавета с помоями вышла, отбила... Лизавета тоже, скажу я вам, хороша! В помоях-то, поглядела я одним глазом, хлебные корки, капуста, картошка, — а она льет и льет прямо в яму. — «Ты что же это делаешь? — спрашиваю я ее серьезно. — Возможно ли выливать добро такое в яму? Свинок бы завели, ан к рождеству-то и сидели бы со своими окороками запеченными; да и нас, гостей, во славу божью угостили бы!..» А Лизавета в ответ зубы только щерит! Взяло меня за сердце. — «Ты мне зубы не кажи свои! Ишь, нагуляла морду!» — «Свинок, — говорит, — разводить дело не мое, дело хозяйское!..» — «Ах, хозяйское? А тебя нет самой хозяев на хорошее дело надоумить!..» Вон какая теперь прислуга пошла! До хозяйского добра им и горя мало, им бы самим нажраться да на полати завалиться... Оттого все и дорожает. В понедельник на базаре хотела я яичек купить, а к ним подступу нету, по восемь копеек десяток, прямо разбой среди бела дня да и только. Я и сцепилась со Степанидой Копылихой. — «Бога ты не боишься, — корю я ее, — людей ты не стыдишься! Где это слыхано продавать яйца по восемь копеек?» — «Всякому свое дорого, матушка, — это она на слова-то мои, — у меня тоже, — говорит, — четверо пищат, и пятого еще понесла». — Гляжу, она и вправду... тово... И куда столько детишек плодят — совсем даже непонятно. На улицу выйдешь, от ребят ноги некуда поставить; знай только гузнами голыми сверкают... Безо всякого присмотру... прямо посреди дороги. Долго ли до греха: иной едет

с базара, напьется в кабаке, зароется в сено, одни ноги торчат, ему хоть над самым ухом из пушек стреляй, нипочем не разбудишь. А с лошади какой спрос; лошадь тварь бессловесная; она знай себе шагает, головой да хвостом махает; ей от мух, от слепней отбиться... Тоже новую моду взяли: хвосты лошадям подрезать. А того не понимают, что лошадь без хвоста никак не сгодится...

Сон слипает веки, и чудится мне — я лошадь, а теткин слова выются кругом несметными роями слепней, и некуда от них податься. С усилием открываю глаза. Все непонятно: непонятно, почему Авдотья во все вмешивается, всюду суется, для чего и взрослым и мне надо слушать о купчихе Макарихе, о фижмах ее и турнюрах, о помоях, о Степаниде, о волкодавах. Скучно! Мир представляется огромной кладовой, где в беспорядке навалено всякого хламу. Никому не нужны мои великодушные разбойники, Русланы, Ермаки, калики перехожие, Марфы-посадницы. От хитросплетений тетки они тускнеют, кажутся «не настоященскими», а где оно, «настоященское», — неведомо... И до сих пор не забываются авдотьины судачества. Слушаю разговор, участвую в беседе, спрашиваю, отвечаю, и как же часто приходится поражаться чепухе, ералашу, бестолочи, словесному мусору, вздору, какими мы закидываем друг друга! Тетка не в счет: что возьмешь с нее, хотя эти досужие женщины не перевелись и по сию пору, хотя и встречаются они иногда даже и там, где их, казалось бы, и след давным-давно должен простыть, — притом же находишь их в таких кругах, что от удивленья поневоле приходится таращить глаза... Предоставим, однако, приткой тетке заслуженный покой, но если даже взять среднего, просвещенного современной культурой человека, то и тут нередко разводишь руками: до такой меры плоски, убоги, серы и пошлы его разговоры, суждения и мнения! Сколько празднословия, сплетен, пустяков! Слушаешь и спрашиваешь себя: а были или не были Гомер, Сократ, Аристотель, Платон, Данте, Шекспир, Ньютон, Кант, Дарвин, и какие именно перевороты произвели они в людских сознаниях? Хуже всего, что этих великих людей средний культурный человек необыкновенно умело и последовательно оболванивает и делает их не менее плоскими и скучными, чем он и сам.

Бесспорно, революция многое смыла, но еще сколько, но еще сколько осталось!.. И вот опять и вновь приходится спрашивать, когда же это переведется?..

...Я замечал также, что взрослые говорят одно знакомым и родным в глаза и другое, когда их нет. Приезжает в гости учитель Воздвиженский или доктор Карпов. Их радушно угощают, их

хвалят: у Воздвиженского школа на всю округу, а в докторе Карпове больные души не чают. С отъездом же гостей обнаруживается: Воздвиженский — учитель может быть по натуре и недурный, но сильно «зашибает» и тогда лупит ребят линейкой по головам, не разбирая ни правых, ни виновных, — доктор же Карпов падок на мзду, играет «напропалую» в карты, и от них его часто не оторвешь к больным; притом же супружница у него чистая ведьма, гордячка и только и делает что поджигает губы и неизвестно что о себе воображает. В то же время меня учили говорить одну истинную правду. Правды требуют люди. И опять я видел вокруг себя «ненастоящее». Я приглядывался к родным и сравнивал их с Алексеем, с Натальей, с Иваном, с мужиками-соседями. Разговоры, суждения этих людей тоже не отличались ни сложностью, ни новизной, но их мнения неразрывно связывались с трудом и бытом деревенским. Тут все было просто, ясно, необходимо. Работник Николая Ивановича, Спиридон, говорил о погоде, о том, что завтра надо боронить или пахать, лениво переругивался с кухаркой из-за обеда, поданного с запозданием. Наталья рассказывала о пожаре в Терпигоровке, о падеже скота в Мордове — мужики и бабы воем там воют; Алексей жестами объяснял, назавтра ему итти в кусты ломать к зиме веники. Справный Перепелкин жалел, что у него стащили гужи, и в двадцатый раз повторял, как он оставил их на гумне и не успел отвернуться, а гужей уже нет и в помине: леший их, что ли, уволок! — Все это соответствовало житью-бытью, из него исходило, к нему возвращалось, и даже пересуды здесь накрепко связывались с трудовой жизнью. И я смутно чувствовал правду этой жизни и неправду жизни нашей.

Родные боялись. Боялись остаться без места, без куска хлеба, боялись епархиального начальства, благочинных, исправников, окружных помещиков, боялись просто чужих людей, боялись неизвестно кого, «как бы чего не вышло». Страх, опасения проникали во все мелочи, во все поступки, и мне, ребенку, было странно, грустно и смешно замечать трусость взрослых, на которых я смотрел снизу вверх. От этого иногда нападала на меня страсть им перечить. Помню, за ужином у Николая Ивановича, желая похвастать своими знаниями, я сказал, что прочитал «Бориса Годунова».

— Всего прочитал? — любопытствовал Николай Иванович.

— Всего прочитал.

Николай Иванович, играя скулами, спросил:

— Ну, а скажи, что завещал сыну царь Борис, умирая?

Завещание Бориса я прочитал невнимательно: хотелось скорее узнать, «чем все кончится». Наобум я бойко ответил:

— Царь приказал сыну никому не поддаваться, лупцевать врагов и басурманов.

Николай Иванович покачал головой, вразумительно поправил меня:

Советника, во-первых, избери
Надежного, холодных, зрелых лет,
Любимого народом, а в боярах
Почтенного породой или славой...

— Плохо читал: в одно ухо влетало, а в другое вылетало.

Дядя посмотрел на меня насмешливо. Тетка Татьяна, хромоножка, опрокинула чашку на блюде и, сметая ладонью со скатерти хлебные крошки, сокрушенно вздохнула:

— Читал книгу, а видел фигу. Учатся, учатся, а выходят болванами; один перевод кровным денежкам!

Ожесточаясь, я пробормотал:

— А у меня написано в книге, как я сказал.

Николай Иванович засмеялся:

— Ишь ты: в твоей книге написано одно, а в моей книге другое. Чудеса!

Тетка Татьяна постучала мне пальцем в лоб:

— Не лги, парень, не обманывай старших.

Уткнувшись глазами в скатерть, я твердил:

— А у меня так написано.

Мама строго приказала:

— Выйди из-за стола.

...Нужда заставила маму подумать о работе более доходной, чем печение просфор. Зимой она уехала в Воронеж учиться кройке и шитью. Ляля, я и просфоры остались на бабушке и на черничке Прасковье, рыхлой женщине преклонных лет. К нам часто стали собираться подруги Прасковьи, тоже бобылки и чернички. Приходила на вечера и бабушка. Беседы велись о мытарствах, об угодниках, о том, как много кругом греха; силен бес и трудно заслужить блаженную жизнь на том свете. Человек — сосуд скудельный.

...Как на свете долго жил,
Крепко бога раздражил,
Ох, горе, горе мне великое!..

Грустны и покорны женские голоса. За окнами подземельный

мрак, заносы. Рядом с домом ограда, церковь. Их не видно, но живо представляется пугающая пустота церковного помещения, безлюдного, с магическими предметами: антиминс с частицей мощей, святые дары, плащаница. Окна забраны решетками. Кругом церкви могилы. Всего страшнее могила деда; родные мертвецы почему-то пугают больше, чем чужие. Есть еще часовня, если заглянуть в узкое единственное оконце, увидишь неясно согбенного в черных одеяниях Христа, с головой, упавшей на грудь. Острый нос, мертвенные щеки, незрячие глаза... Ночь... Ночь... Свет лампы тускл. Тени черничек похожи на души усопших. Лицо Ляли точно вылеплено из воска, взгляд потемнел. Она прижимает к себе куклу; кажется — ищет у куклы защиты... Разбойники, королевичи, серые волки меня покинули... О них и думать-то грешно... Грехов много. Вчера обманул бога и бабушку: сказал — иду ко всенощной, а проболтался на колокольне и в церковной сторожке, третьего дня подрался с деревенскими ребятами и по-дурному ругался; тайком выменял перочинный нож на книжку... Грехов много, не упомнишь.

Бабушка склонилась над библией; очки у нее едва держатся на конце пористого потного носа. Рядом с бабушкой — Ольга, самая молодая из черничек, ей нет и тридцати лет. Ольга сидит на скамье прямо, медленно перебирает костяные четки. У нее высокая грудь, бледное лицо. Ресницы опущены, от них тени, губы крепко сжаты. Что понудило ее сделаться черничкой, какое горе, какие неудачи?..

Бабушка дрожащим старческим голосом читает:

— ...Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне и не будет...

— ...И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет и луна не даст своего света, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение сына человеческого... И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес и до края их...

Одинокий, ничтожный, я окружен неведомой, необъятной вселенной. Обстоит грозное, неумолимое... Вот-вот крошечный мрак загасит жалкий свет, и тогда произойдет нечто, невообразимо ужасное: раскроются земные недра, поднимутся крышки гробов, восстанут мертвецы; в громах, в пламени появится некто судить людей последним судом. Когда это может сбыться — неизвестно: через год, сегодня ночью, сейчас. В кухне у Николая Ивановича висит лубок: пузатый, кольчатый змий, извиваясь, пышет синим огнем. Около него сатана. В правой руке он держит вилы, в левой руке зажал грешника. Ниже преисподняя: одни из грешников погружены в котлы с кипящей

смолой, других дьяволы подвешивают за ребра на крюки, с иных сдирают кожу. Меня пронзает холодный ужас. Я цепенею. Что-то темное, хаотическое втягивает меня в себя. Стынут внутренности. В последующей жизни мне приходилось переживать немало очень тяжелых моментов, но едва ли я ошибусь, если напишу: самое мрачное пережил я в детстве, слушая черничек. Тлетворная, губительная отравка!..

...Перед иконами зажигается лампада. Бабушка нараспев читает кафизмы:

— Человек яко трава, дни его яко цвет сельный, тако отцветет. Яко дух пройдет в нем, и не будет, и не познает к тому места своего...

Лица черничек покорны, чернички припадают к полу, точно подбитые птицы с беспомощно распластанными крыльями. Ольга не сводит глаз с распятого Христа, глаза у нее окаменели. Прасковья тяжело вздыхает, черничка Аграфена молится в забытие. Образ Христа двоится: он страдал за людей, принял позорную смерть, прощал блудниц, разбойников, мытарей, грешников. На нем терновый венец, венец страданий. Но Иисуса страдальца, бедняка, заслоняет другой Иисус, бог кары, бог ненависти ко всему земному... Припоминается Вий Гоголя: «Поднимите мне веки: не вижу, — сказал подземным голосом Вий, — и все сонмище кинулось подымать его веки... — Не гляди, — шепнул какой-то внутренний голос философу...» — Мне тоже чудится, будто за спиной кто-то стоит. Оглянусь — «оно» схватит меня, и я погибну... — «Вот он! — закричал Вий и уставил на него железный палец...» — Я весь дрожу мелкой дрожью, с трудом крещусь и лежу на полу почти в беспамятстве и, когда прихожу в себя, страстно, горячо шепчу — «Боже спасения моего, боже спасения моего!..» Больше я ничего не в силах произнести; и все кладу земные поклоны вместе с черничками.

Чернички и бабушка уходят; я и Ляля укладываемся спать в просторную мамину кровать. За перегородкой Прасковья месит тесто: завтра печь просфоры. Ляля лежит на спине. Открытые глаза ее мерцают в темноте. Вдруг она крепко прижимается ко мне, шепчет:

— Боюсь... Скоро помру и попаду в ад.

— Почему же ты скоро помрешь?

— Слышала... Бабушка вчера не заметила меня, я играла в куклы за сундуком, а она сказала Прасковье, что ты много шалишь и с тобой нет сладу, и про меня сказала — «Такие долго не живут». Я все хвораю. Когда приедет мама?..

— Мама скоро приедет. — Я стараюсь успокоить Лялю: никто не знает, когда придет смерть. Дети все хворают, а умирают

немногие. Да и не страшно детям помирать: до семи лет на том свете с них грехов не спрашивают и они все живут в раю (Ляле идет шестой год). В раю детям хорошо.

— Пусть в раю хорошо, а я не хочу умирать, — упрямо шепчет Ляля. — Не хочу, чтобы меня съели черви и чтобы я лежала в темной могиле.

Ляля жметя ко мне худыми плечиками, локон ее волос лежит у меня на щеке. И от локона, и от чистого дыхания ее, и от нежного ее тепла, и от испуганного ее лепета — и грустно и уютно. Я тихо говорю Ляле:

— Я не верю в смерть.

— Все помирают...

— А я никогда не помру...

Ляля засыпает, вздрагивая всем тельцем...

Бывало и так, что после усердных молитв на меня нападала страсть проказить. Я бегал, кричал, кружился на одном месте до тошноты, бросался на кровать и задира на стены ноги, кидал на пол подушки и с пола опять на кровать, свистал, орал, кувыркался. Прасковья, пытаясь меня уговорить, грозилась пожаловаться бабушке, а когда угрозы не помогали, хватала меня в охапку. Я будто только того и ожидал: я отбивался, царапался, визжал. Захватывало что-то буйное, бешеное. Я переживал свирепую радость, слепнул от ожесточения и ярости, задышался и уже ничего не понимал, ничего не различал кругом себя. Странно, это случалось со мной именно после молитв.

...От овина падает темно-синяя тень. Овин похож на мертвую голову из «Руслана». Ток зарос свежей травой. За током расточительно зеленеют лопухи, крапива, бузина, репейник. Журчит прохладный ручей в канаве, журчание сливается с легким шелестом листьев на ветлах. Пахнет подсолнухами в цвету. Прошлогодня солома покалывает кожу. Это недурно — в соломе сделать яму, в ней укрыться с запретной книгой. Книгу я нашел еще весной в шкафу деда; ее у меня отняли, но сегодня опять удалось ее стянуть. Коленкорковый переплет ободрался, выцвел, в рыжих пятнах. Страницы усыпаны черными крапинками. «Повесть о приключении английского милорда Георга и о Бранденбургской маркграфине Фридерике-Луизе с присовокуплением к оной истории бывшего турецкого визиря Марцимириса и Сардинской королевы Терезии».

...— Маркграфиня ...стала раздеваться и, раздевшись, легла на постелю, а милорду приказала ложиться на другой, нарочно для него изготовленной богатой кровати; причем еще напомнила, чтобы он был воздержан, а не малодушен. А как он прошедшую

ночь очень был обеспокоен, то тотчас заснул, а поутру прежде маркграфини проснулся; и, будучи о красоте ее в различных размышлениях, вставши подошел к ее кровати и открыл занавес; смотря на телесную ее красоту, в такую пришел нетерпеливость, что, забыв свое обещание и клятвы, отважился с великою тягостью ее поцеловать...

Занятно узнать, что милорд заблудился в лесу, набрел на замок, встретил Луизу, съел в Лондоне волшебное яблоко. Но еще более заняты страницы, где повествуется о любовных делах неотразимого Георга. Они непонятно волнуют. В них есть запретное и стыдное. Скоро минет мне восемь лет. Никто из взрослых не расскажет мне внятно, отчего рождаются дети. Когда спрашиваю об этом, одни странно и двусмысленно улыбаются, другие притворяются, что им не до меня, третьи плетут небылицы. Недавно родные собрались у Николая Ивановича и я за чаем опять допытывался, отчего же рождаются дети. Родные умолкли, мама покраснела; опустив голову и теребя скатерть, она промолвила:

— Я объясняла тебе: детей посылает бог тем, кто его слушается.

— А отчего дети рождаются только тогда, когда выходят замуж? Тетя Анюта вышла замуж, и у ней родился Володя, а до замужа Володи не было.

Тетя Анюта, самая молодая, спряталась за самовар, смущенно и неестественно засмеялась.

— Это не всегда бывает, — заметила мама. — Добродеевы живут столько лет, а у них детей нету.

— Но без замужа никто не родится.

Николай Иванович стал отбивать медленную дробь волосатыми пальцами.

— Бывает, — сказал он, — и без замужа дети рождаются. Ты сам читал про деву Марию. Как она родила?

Я бойко ответил:

— У нее было непорочное зачатие.

— Верно, — поощрил с облегчением Николай Иванович, видимо, довольный, что отвлек мое внимание от первоначального разговора.

Я, однако, не уgomонился:

— А что такое порочное зачатие?

Тетя Анюта опять спряталась за самовар, обмахиваясь платком, пробормотала:

— Какая жара!

Никакой жары не было и в помине; скорей даже продувало легким сквозняком. Тетя Маша с излишним усердием колола

сахар. Дядя Иван, тоже священник, гость, густо крякнул, глаза у него смеялись. Мама, ни на кого не глядя, толкнула меня в плечо:

— Узнаешь об этом после. Допивай чай. Нехорошо перebивать старших.

Я сделал несколько поспешных глотков чая и опять не утерпел:

— Отчего, когда родятся дети, растет живот? Сперва выходят замуж, затем растет живот, а потом бывает мальчик или девочка?

Тетя Аня, пунцовая, гмыкнув, торопливо скрылась в спальню.

— Да-а, — неопределенно протянул Николай Иванович.

Мама слегка шлепнула меня в затылок, глухо приказала:

— Иди домой!..

Дома перед сном она заявила:

— Никогда не спрашивай о детях при других или в гостях, слышишь! Вырастешь, все узнаешь.

Она говорила это шопотом и больше будто просила меня с виновным видом.

Все это и подобное припоминаю теперь в овине. Третьего дня знакомая купчиха Сергеева заметила о помещице Кугушевой — «Шуры-муры никогда до добра не доводят; миловалась, целовалась с кем попало да и сделалась на-сносях; скоро на крестины, надо быть, звать придется, а муженек-то в отъездах, по заграницам разгуливает...» Итак, дети рождаются, когда выходят замуж и когда люди целуются-милуются. От этого растут животы. Однако, если дядя Николай поцелует дядю Ивана, или если тетя Аня поцелует тетю Саню, ни у кого из них животы не вырастут и детей тоже не будет. Если же дядя станет целовать тетю, то получается из этого толк. Есть, значит, поцелуи обыкновенные и поцелуи необыкновенные. Милорд целовал сонную маркизину. Это, я чувствую, поцелуй необыкновенный, но в чем его необычайность, понять не могу, однако что-то смутно подозреваю.

...Неутомимый милорд все путешествует. Между прочим, он делается свидетелем, как некая Любилля безуспешно смущает прелестника Маремира.

...— Любезный читатель, благопристойность не позволяет перу моему изъяснить все непристойности, какие Любилля употребила на прельщение маремирова, довольно, что она, во исполнение своей злости, приказала его обнажить и заставила своих девок по голому телу сечь прутьями до тех пор, пока увидела текущую ручьями из спины его кровь; а потом, надевши на голое тело один только камзол и тот по пояс обрезав для того, чтобы текущая кровь на поругание ему всем была видима, и,

посады его в карету, приказала отвезть к ближнему какому ни есть селению и, высады, пустить на волю, а самим возвратиться в деревню. С таким триумфом бедного Маремира она отправила, а сама, севши в другую карету, поехала домой.

...Перед глазами — голое тело, девки с прутьями, Любилля... И вот представляется: я тоже пленен и заключен в башню. Ночью у меня не хватает терпенья и я украдкой целую сонную принцессу невообразимой красоты. Проснувшись, она гневается, заключает меня в подземелье и присуждает к смертной казни. Но предварительно меня пытаются. В глубокую полночь звякают ключи. Это за мной. Входит принцесса, у ней распушены волосы, в руках плеть, она одна. Принцесса срывает с меня одежды, стегает плетью. Кровь... Хочется кричать. Но в смятении я еще чувствую: мне и стыдно и обольстительно, что я голый перед красавицей, с глазу на глаз, и что она стегает меня обнаженного плетью до крови. И я хочу, чтобы это мучительное и сладостное истязание продолжалось. Это ужасно, и вместе с тем я готов забыться, замереть в странном блаженном и остром напряжении. Я весь объят жаркой и как бы посторонней силой; не могу ее понять, не могу назвать ее, но она повсюду: во мне, в солнце, в воздухе, в зелени, в земле; неистовая, бешеная, она все растворяет в себе; она — мой хозяин, и я ее исполнитель. Смутно ощущаю: пускай есть бог, ангелы, отшельники, подвижники, страшный суд, ад, но сила, меня подчинившая себе, сильнее их всех, она земная, в ней все, в ней самая большая тайна жизни...

Измученный лежу я в овине с закрытыми глазами, стиснув зубы, и все тело мое дрожит...

Ночью снится мне сон. Стою в саду у палисадника. В чистом золотистом воздухе, невысоко, медленно плывет женщина-диво: темные волосы пышно рассыпались по плечам, лицо розово светится; женщина в зеленом; ног ее не видно, вместо ног веером сверкают, переливаются длинные перья. Что же это такое зеленое на женщине: одежды, или это кожа ее? Неотрывно слежу я за плавным полетом. Глаза испытывают такое восхищение, такую совершенную радость, каких никогда я больше не переживал ни наяву, ни во сне. Видение кивает мне головой. Я ищу в палисаднике калитку, но калитки нет, и женщина медленно исчезает в лазури. Остается непобедимое очарование и грусть...

...Тайну рождения спустя несколько месяцев раскрыл мне один из двоюродных братьев-однолетков. Он приехал к нам гостить и под самым строгим секретом сообщил: нянька их, Марья, деревенская девушка лет семнадцати, когда старших не было в доме, положила его на себя; голая, она обнимала и долго его не отпускала. От этого и рождаются дети. После рассказа я

уединился в камышах и там долго и горько плакал. Несколько дней я дичился матери. То, что узнал я, показалось мне отвратительным и старшие многое потеряли в моих глазах. Я меньше их теперь уважал. С братом я подробно обсуждал вопрос, не родится ли у няньки Марьи ребенок. Мы этого очень опасались и решили, что брат будет «в случае чего» отпираться: свидетелей не было.

Мы рассуждали как люди многоопытные и дальновидные... Из молодых, да ранние!..

До самозабвения любил я игры, любил их выдумывать, назначать себя атаманом разбойных шаек. Если не удавалось верховодить, я отказывался от игрищ. Случалось это, впрочем, редко: под мою команду охотно шли двоюродные братцы, сестренки и сверстники. Взрослые считали меня коноводом. Возражений я не терпел и требовал повиновения беспрекословного. Из игр я предпочитал такие, где надо было прятаться, подстергать, нападать, охотиться, пугаться, пугать других, подвергаться опасностям и неизвестности. С какой живостью работало тогда воображение! Березовый куст мигом превращался в чудодейственный жезл, а сам я — в страшного колдуна. Колдун уже не колдун, а разбойник; нет и разбойника, вместо него неукротимый лев. Лев яростно хлещет себя хвостом по худощавым стальным ребрам. Могучим прыжком бросается он на антилопу — Сонечку или Олечку. Лев своим чередом превращается в Александра Македонского, в Илью Муромца, в Змия Горыныча. И все это за какие-нибудь четверть часа! И до того забываешься, что не замечаешь, как посадил себе синяк, зашиб колено, разорвал рубашку, порезал босую ногу; иногда чувствуешь тяжесть, помеху, и только позже догадываешься, что давным-давно пора облегчиться, и тогда срываешься с места и бежишь с отчаянным и натуженным лицом, не имея даже времени объяснить боевому другу, прославленному соатаману Родьке, почему приходится покидать его перед самым началом решительной и кровопролитной битвы с несметными полчищами супостатов. К вечеру вдосталь наиграешься, накуралесишь — сон мгновенно поражает забвением, а утром едва протрешь глаза — и уже надо спешить: столько новых дел, самых неотложных, надо переделать, что некогда всласть даже чаю попить с горячими аржаными пышками в сметане. Обжигаясь, глотаешь непрожеванные куски, и мама с удивлением спрашивает — «Куда это ты спешишь, будто пожар где случился?» — Пожар — не пожар, в еще вчера уговорено с братом Костей залечь в малиннике и подкараулить Федю и Пашу. Малину берегут для

варенья и рвать ее нам, детям, запрещают. Костя пронюхал, — его младшие братишки тайком очищают малинник. Сказано — сделано. Мы занимаем наблюдательный пост у плетня в густых лопухах и от скуки вьем из конского волоса лесы для удочек. Ждать придется изрядно. Наконец, Костя подает знак: меж лопухов, почти рядом с нами, с опаской и с оглядкой ползут Федя и Паша. Они спешно обирают кусты малины. Вот вы где, голубчики! Костя не сводит глаз с братцев, облизывает губы, оба мы еле переводим дыхание. Голубчиков мы, однако, не трогаем. У нас свой расчет. Мы даем им полакомиться сколько их душевкам угодно, даем им и выбраться из малинника. Но за обедом Костя, будто невзначай, спрашивает Пашу:

— Где это вы, Паша и Федя, пропадали?

Паша, не моргнув глазом, разъясняет: в риге гоняли голубей, а еще смотрели на гумне, как работник запрягал Серого.

— А еще нигде не были?

— Еще мы нигде не были.

Костя водит носом направо и налево, сильно принюхиваясь:

— Что это на меня словно малинкой откуда-то потянуло? Право слово! Так и шибает в нос, так и шибает! И все больше с вашей стороны, Федя и Паша.

Федя и Паша теряют спокойствие, ерзают на стульях и упорно отводят глаза. Костя беспощадно продолжает допрос:

— А вы, Федя и Паша, в малинник не заглядывали?

Федя и Паша с излишней поспешностью в один голос отвечают: нет, они в малинник не заглядывали; нет, не заглядывали.

— Но отчего же от вас пахнет малинкой? Говорите, не пахнет? В таком случае дыхните на меня!..

— Уйди!.. Я вот тебя ногой тресну изо всех сил — будешь знать, как на нас наговаривать!

Федя угрожает с жалким и растерянным видом, между тем Паша, зажав рот обеими руками, все больше и больше сползает со стула и вот-вот скроется под столом. Костя наклоняется к Феде, долго, упорно и ехидно что-то у него разглядывает на рубашке. Федя ежится, отталкивает от себя Костю.

— Какое это у тебя, Федя, пятнышко на рукаве? Похоже, малинку нечаянно раздавил. Зачем же ты малинкой портишь чистую рубашку?

Весь кумачевый, Федя бурчит:

— Это от вишни.

— От вишни будто потемней... А вот и зернышки, видишь? Мелких зернышек от вишен не бывает. Мелкие зернышки, Федя, от малинки бывают.

— Нет, и от вишни бывают, — тупо упорствует Федя.

Костя неумолим; он призывает во свидетели старших, старшие подтверждают: пятно от малины.

Костя в подробностях повествует, что делали братцы в малиннике. Федю и Пашу оставляют без киселя.

После обеда Паша за домом сидит на пеньке и трет кулаками глаза: жалко, кисель был на славу. Я участливо спрашиваю, почему Паша плачет. Паша толкает меня, ничего не отвечает. Спрашиваю вторично. Паша опять ничего не отвечает; вдруг лицо его искажается ненавистью; всхлипывая и не обращая на меня внимания, он грозит кулаком:

— Погоди, погоди у меня, Костюшка! Пойдешь ты у меня с кровавой соплей!

Между нами разгорается ожесточенная ссора. Федя и Паша дразнят нас ябедниками. Мы им напоминаем: первыми наябедничали они на нас, будто мы в огороде свертывали головы незрелым подсолнухам и бросались ими друг в друга. Спустя час раздоры улаживаются, и на другой день мы совместно производим в малиннике настоящее опустошение. Засим устраивается состязание: Костя, Федя, Паша, я, сестры Маня и Саня должны съесть, кто сколько может, вишен вместе с косточками. В недолгом времени мы ходим с тугими, выпученными животами. Проверка происходит спустя ночь, утречком. Кто облегчится больше одними косточками, тот и первый среди равных. Вместе с сестренками мы чинно сидим в рядок, ведем неторопливую беседу, добросовестно кряхтим и не менее добросовестно по очереди исследуем свои излишки. Удивительно, как это ни разу ни с кем из нас не случилось заворота кишек!..

Хороша была еще одна мною придуманная игра. В скирдах, в старновке наверху делается узкая дыра, глубиною аршина в два; в нору надо забраться головою вниз и без посторонней помощи из нее выбраться. Однажды я замешкался в дыре, Косте пришлось кликать спешно работника на помощь, и тот вытянул меня за ноги еле живого, с синим лицом удавленника, с глазами навыкат; рот и уши были забиты мякиной.

Не худым казалось также и еще одно развлечение: на длительное время занимался нужник у Николая Ивановича. Подойдет один, попробует дверь, подойдет другой, пятый, а ты сидишь себе и сидишь, затаив дыхание. Далее следует, улучив момент, стремглав броситься вон, добежать до канавы, скрыться ползком на задах и как ни в чем не бывало появиться на глаза со смиренным и невинным видом. Кстати, всех нас, детей, почему-то притягивал к себе нужник, и мы любили в нем проводить время.

От старших у нас было немало тайн и сокровенностей. У мальчиков одни тайны, у девочек другие. Тайны различные: например, воровали яблоки или груши и хранили их в омете, меры две; устраивали среди болота, камышей и кочек на ветлах «гнездо», чтобы взрослые о нем не догадывались. В «гнездо» приносили разного хламу: стеклышек, ржавых гвоздей, гаек, лоскутов и воображали себя владельцами бесценного клада. Еще лучше: пробирались сквозь кусты к полотну железной дороги, ждали, когда покажется поезд, тогда выбегали на полотно, пусть машинист подает непрерывные гудки и свистки, не надо трусить и только в самый последний момент следует кубарем скатиться с насыпи; дома было боязно, не успел ли проказников заметить будочник и не донесет ли он на них. Тут рука невольно тянулась к заду...

...Летом я мало чем отличался от деревенских ребят, «резался» с ними в козанки, выкрикивал: плоца, жога, дура! — менял налитые свинцом «битки», купался до одури в прудах, рано научился плавать, бродил с отменным удовлетворением в грязных лужах после гроз и дождей, ловил мелкую рыбешку, ходил по орехи, по грибы и даже ездил верхом без седла в ночное, что заметно укрепляло мое положение среди братишек и сестренек. Делаешься непомерно серьезным и важным, когда подходишь к пегому мерину и «не балуй» выговариваешь, будто ты заправский мужик или работник. Мерин скалит зубы и хватается за плечо, но это одна притвора: он смирный-пресмирный и уж ребят-то он никогда не тронет. А спустя несколько минут скачешь на нем по селу в рубашонке, вздутой пузырем на спине, лихо размахивая локтями. У мерина ёкает селезенка. За селом закат покрывается пеплом. Выше нежное лиловое небо. Нет ничего отрадней теплых июльских ночей в поле у костра. Лежишь на овчине, вверху плывут неомраченные созвездия. Чудесная Большая Медведица самоцветным ковшом черпает упоительную темную синь. Издалека, откуда-то из овсов перекликаются перепела. Пасутся стреноженные кони; прелестный, здоровый запах конского пота и навоза смешивается с запахом трав и полевых цветов. Все сильнее пахнет полынью. Над опушкой встает месяц. Как все дико, чудесно бредит Русью! А тут еще ребята затеяли разговор о колдунах, об оборотнях, о ведьмах и лешаках. Таки ждешь: из мрака вдруг у костра предстанет лопухая морда с кривыми рогами: козел — не козел, человек — не человек, медведь — не медведь; страшилище загрохочет, забьет копытами, вытаращит озорные пьяные лупетки — и сгинет, точно его и не было. Из нежити я больше всего доверял домовым и лешим. Говорили, что лешие великие проказники, но большого зла они

никому не чинили: леший заведет в овраг, в лес, прикинется подгулявшим купчиком, умчит на тройке, опамятуется простофиля — глядит: нет ни купца, ни тройки, кругом незнаемое место, кочки да болота, да в голове словно хмель еще бродит — была или не была авчерась гулянка?.. Наоборот, домовые, не в пример лешим, отличались солидностью: берегли хозяйское добро, давали даже советы, со стариками жить можно, лишь бы их не тревожить понапрасну... А месяц все плывет кованной серебряной ладьей в бездонном, бесконечном океане, и такой же бездонной, бесконечной чудится и вся человеческая жизнь!..

...В детях много недетского, а поступки взрослых сплошь и рядом бывают ребячьими.

Подобно другим, я развивался неравномерно. Иногда я обнаруживал редкую наивность, понимание ниже моего возраста. В играх мне было довольно пяти- и шестилетних ребят. Но кое в чем я был старше своих восьми лет. Я рано узнал скуку, грусть и тоску. Порой я делался вялым, лень было сдвинуться с места, книги выпадали из рук. Я не находил себе занятия, не знал, что делать с собой. Внешних поводов к таким состояниям будто бы не имелось, припомнить их не могу. Томило нечто безымянное, глухое, неизъяснимое. Моими любимыми стихотворениями в ту пору стали: «Выхожу один я на дорогу», «По небу полуночи ангел летел», «Вечерний звон», «Соловьем залетным», — их я знал наизусть и часто певал в одиночку на ряду с разбойничьими дедовскими песнями. Уйду, бывало, на гумно и там их пою. Иногда, впрочем, поводы к тоске и к грусти были более ясными. Я спрашивал себя, что станет со мной дальше. Скоро меня повезут в бурсу учиться. Ну, а потом? После бursы надевают рясу, отпускают волосы, ходят по избам, собирают пшено, сметану, яйца, медные копейки, притворно-смирненными голосами тянут молитвы. Представлялись косички Николая Ивановича, жидкие, мокрые, словно крысиные хвосты. Неужели и у меня будут такие косички? Или я сделаюсь доктором, и мне придется лечить болячки, струпья, гнойники, чирьи. Не хотел я сделаться и сельским учителем, выпрашивать дрова, солому, керосин, унижаться перед купцами и духовенством. Лучше всего было стать путешественником или писателем. Но писателя я считал существом с другой планеты; старшие говорили, писателю нужно иметь какой-то талант, нечто необычайное; ничего необычайного я в себе не находил; для путешествий же требуется много денег, а у нас никогда и полтинника в доме не найдешь. Грустно, грустно...

...А уже прогнали стадо и улеглася розовая пыль. За церковной оградой японской резьбой четко и тонко стынут ветки берез. Внизу покрываются мраком могильные кресты и угрюмые памятники. К ограде вплотную подступило болото, пахнет тиной, прелью. Уныло, с ровными промежутками букает бучень, вплетаясь в лягушиное кваканье. Завел домашнюю и однообразную песнь сверчок. Доносятся приглушенные звуки: проскрипят ворота, телега, звякнет щеколда, лениво залает собака, замычит корова. На дальнем конце села женский голос звонко и протяжно тянет — «Анюта-а, Анютка-а!..» Девичьи песни... Вечер угасает... Притомился я и жду на крыльце ужина, а в коровнике мерно звенят в подойник струи парного молока. Странное состояние: все, что я вижу и слышу, — убогие избы, старые овины и риги, кресты, песня сверчка, уханье бученя, вечер летний, все это будто давным-давно уже было, не изменялось, никогда не изменится. И я будто жил всегда, тысячелетия, и тысячелетиями смотрел и на село, и на церковь, и на березы; и глаза у меня давние, древние-предревные, и сам я очень давний и древний-предревный. От этого чувства древности делается очень тоскливо. Словно мне некуда деться, а деться куда-то надо...

Гаснет вечер. Меркнут дали. Почему так томят дали, почему зовут к себе? Почему они не свои, и так хочется их сделать своими, быть в них и с ними? И тогда я тихо начинаю петь. Я пою без слов, слова и не нужны; песнь без начала и без конца. Забываю тут же напев и сочиняю новый. О чем пою? Пою о пепельном вечере, о себе и о вселенной, о том, что она необъятна и безмерна, а в нашем селе тесно, убого; о том пою, что силы мои невелики, я одинок, я слаб, ребенок, а вселенная огромна, огромна жизнь, равнодушна она ко мне, — пою о том, что желания мои необъятны, подобно вселенной...

Мама звенит подойниками. Покой, печаль! Из открытого окна доносится бабушкино чтение на сон грядущий:

— Господняя земля, и исполнение ея вси живущие на ней...

Бездонная ночь объемлет затихнувшее селение... Вверху огненное трепетание звезд...

...Перечитал написанное и вижу — о главном-то в детстве я и не сказал. А главное — поле, парная вспаханная земля, сыроватый жирный чернозем. Пахнет совсем свежей травой. Невидимый жаворонок льет трели. С кошелкой мерно шагает крестьянин, разбрасывая зерна; или пашет он или машет косой, и она жарко блестит на солнце, а остролистые травы покорно ложатся подрезанные. Как много мира, спокойствия, правды!..

...Это на всю жизнь, это главное... Счастье тому, кого

окружало это в детстве!

...Все возрасты: юность, зрелые годы, годы заката, считаю я своими. Они принадлежат мне, я не могу их отделить от себя. Лишь детство мое мне больше не принадлежит. Оно не мое. Можно даже усомниться, было оно или не было: такое оно далекое, чужое. Детство — другие, чудесные края. Кто-то, кто — не припомню, об этом писал, кажется.

Это очень верно.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

...На башнях собора Парижской богородицы, где каждый угол насыщен молитвенными вздохами, покаяньем, слезами, скорбью, застыли чудовищно-уродливые химеры: змеиные пасти; собачьи, обезьяньи, медвежьи, лошадиные головы; драконы, грифы, пеликаны, саламандры с птичьими крыльями, помесь монаха и дьявола, человека и ползучего гада; диковинные убожества, отвратительные хари, распяленные, растянутые до ушей свирепые хайлы; смертоносные оскалы, застывшие гримасы, выпученные глазища, хищные клювы, вывалившиеся языки, рога, тощие женские груди, рыба чешуя, козья шерсть, человечьи горбы, тигровые хвосты, копыта, когти, лапки, покатые, узкие лбы, омерзительные ухмылки, плотоядный смех...

I. Вертеп Магдалины

СПИТ БУРСА безотрадным сном...

Лампы, подвешенные к потолку, сильно коптят.

Желтые огни немощно мерцают в грязной и липкой полутьме. Копоть, ножной пот, пыль, запах мочалки, нужника — душат. Койки будто придавлены к полу гнилым и тяжким мраком.

Спит бурса безотрадным сном...

Один неразборчиво бормочет, другой разметался на койке, лицо натужено, храп застревает в горле; третий замычал, перевернулся с боку на бок, ёрзает ногами. У четвертого откинута рука, пальцы скрючены, из открытого рта течет слюна. Вот и совсем необыкновенный вид: подросток стоит на коленях, лицом уткнулся в подушку, точно положил земной поклон, так и заснул. Кто-то громко стонет. Доносится жуткое скрипение зубами, звонкое и нечеловеческое лясканье. Чешутся, дерут кожу. Клопов столько, что скопища их в трещинах от скуки давят медными пряжками поясов, пряжки мигом покрываются кровью. Вшей тоже не оберешься. Если склониться над спящими, увидишь открытые, стеклянные глаза, перекошенные брови, рты, трупную прозелень, отеки, желтизну, струнья, синяки, золотушные болячки...

В шесть с половиною часов сторож Осип, старик почти саженого роста, худой, с клочьями седых бровей, долго и пронзительно звонит. Еще не светает, вставать не охота.

— Эй, жеребьячя порода, не задерживай!

Бурсаки, кое-кто, приподнимают головы, опять тычутся ими в подушки. Осип по очереди звонит каждому над самым ухом. Вяло одеваются. Входит надзиратель Кривой, молча и угрюмо сдирает одеяла с тех, кто еще не встал. Бурсаки лениво тащатся в «умывальную». Долговязый Вознесенский, малый лет тринадцати, с яйцевидной головой и жесткими, рыжими волосами, ломаясь и картавя, кричит:

— Столбовые дворяне, вас приглашает к себе в палаты граф!

Рядом каморка с тремя койками для больных недержанием мочи. Клеенок на тюфяках нет, и в них — черви. Испарения такие, что даже бурсаки, ко всему привычные, затыкают носы и давятся. Ватага, человек семь, с Вознесенским впереди, вваливается в «палату». В «палате» замешкался Савельев. Увидев бурсаков, он опускает голову. Недавно, несколько месяцев назад, его привела в бурсу черноглазая, статная вдовушка. У нее было славное, дородное лицо, и бурсацкие воспитатели, проходя мимо нее, крикали и оглядывались. Сына она оставила опрятным и упитанным, но его пришлось отдельно положить спать из-за

болезни. Савельева задразнили, засмеяли. Его толкали, щипали, били, мазали чернилами, отнимали завтраки, ему отказали в играх, в дружбе. Сперва мальчик старался задобрить бурсаков, отдавал гостинцы, делился перьями, карандашами. Бурсу задобрить трудно. Надзиратели тоже издевались над ним. Отверженный, гонимый, Савельев похудел, опустил плечи. Голова, шея, руки, покрылись паршой. От него дурно пахло. Покорно принимал он теперь насмешки и побои. Его лишили даже права отводить душу слезами. Бурса не выносит плакс. Савельев тупел, делался малоуспешным. Ему дали две клички: «заморский зассатый» и «граф».

— Хорошо, граф, почивали? — Вознесенский почтительно держит руки по швам. Не дождавшись ответа, срывает с койки одеяло. Бурсаки разглядывают мокрую простыню.

— Граф, вы уже успели принять утреннюю ванну? Как вы набалованы, граф!

Савельев ниже опускает голову.

— Диванс промендо, — произносит бессмысленные слова Вознесенский; он расшаркивается и делает вокруг Савельева странные пируэты.

— Венеция.... Море... Гондольер молодой, взор твой полон огня... Я в Реальто спешу до заката...

Бурсаки грегочут, приплясывают, заглядывают Савельеву в глаза, теребят его. Входит Кривой, осматривает койку Савельева, бросает: — «Без обеда!» — и остальным: — «Вон на молитву!..»

Первая утренняя молитва в столовой. Столовая помещается в подвале. От пыли и сырости там висит сизый туман. Низкий, со сводами потолок поддерживается четырьмя толстыми колоннами. Круглые столы когда-то были выкрашены в желтую краску, от нее остались едва заметные следы. Столы изрезаны вензелями, крестами, матерными словами, непристойными рисунками. Все это замазано жирной грязью. По стенам столовой шкафы, в них хранятся верхнее платье бурсаков, вещи, учебники. Под шкафами, меж ними — хлебные корки, бумага, мослаки, тряпки, пузырьки, огурцы, капуста; все это мокнет, киснет, протухает, испускает зловоние. Подметается пол только около столов, под шкафами служители убирать считают делом бесполезным: все равно к вечеру бурсаки набросают всякой дряни. Большую чистку производят три-четыре раза в год. Пожива для крыс и мышей — богатейшая: недаром они возятся, грызут, пищат, не смущаясь присутствием бурсаков. Окна столовой небольшие, наполовину в земле, забраны толстенными решетками; стекла от древности зеленовато-мутные. Солнце в столовую никогда не пробивается. В углах на потолке густая паутина, покрытая пылью. Из столовой

дверь направо ведет в «сундучную». По стенам сундучной, похожей на коридор без окон, — длинные деревянные полки, до самого потолка, в четыре яруса. На полках сундуки, где бурсаки тоже хранят свое незамысловатое добро. И здесь мусор и огрызки по-настоящему выметаются, когда ждут ревизора, архиерея, накануне престольного праздника. За сундучной — кухня, загаженная, с запахами кислой капусты, помоев, кваса, прелой картошки, протухшей рыбы, солонины. Помещения эти бурсаки величают Вертепом Магдалины. Неряшливость, заброшенность, одичание, грязь. До того постыло, — даже тошнит.

Поются утренние молитвы. Бурсацкие голоса — все же голоса подростков; в этом мрачном убежище они неуместны, подобно зелени в склепах. Голоса смешиваются со смрадом, бьются в закопченные своды, в мокнущие серые стены, в ржавые решетки и, обессиленные, никнут и гложут...

Дверь тихо скрипит; бурсаки, крестясь, косятся. В полумраке возникает покрытая паутиной маска; огромные, оттянутые уши, очень тонкие, даже просвечивают, с тонкими жилками, похожими на длинноногих пауков, круглые оловянные глаза, лишенные жизни. Переносицы почти нету; вместо носа — некая шишка с широкими, вывороченными наружу дырками. Низкий лоб безбров. Волосы неопределенного, скорей мышинового цвета, коротко подстрижены, торчат. Толстые, отвислые губы. Помесь летучей мыши и бульдога. Маска неподвижно стынет, и в темноте кажется — она висит, ни к кому не прикрепленная. По рядам бурсаков еле заметное движение; боятся оглянуться, но чувствуют на себе тупые и враждебные глаза. — «Халдей пришел», — передают друг другу бурсаки шопотом и с притворным усердием кладут поклоны. Почему зрителя Корыстылева прозвали Халдеем и что это прозвище означает, никому не известно, да и не до этих изысканий сейчас бурсакам: Халдей редко посещает утренние молитвы и пришел он в столовую неспроста.

Молитвы пропеты. Пора бы в кухню за хлебом, но Халдей неподвижен, неподвижны и бурсацкие ряды. Но вот Халдей тихо приближается к бурсакам, медленно их обходит. Бурсаки стараются не встретиться взглядом с Халдеем, либо бессмысленно на него глазеют. Халдей тоже как будто не смотрит на бурсаков. Он опустил голову, бугрится лоб, из-под опущенных век тускло и угрюмо светятся узкие полосы. В столовой тишина. Бурсаки сдерживают кашель. Двоится лицо Халдея: не то бульдог, не то летучая мышь.

— Трúnцев Дмитрий!

Голос Халдея тяжел и глух. Халдей расправляет сутулую спину, вытягивает шею и тогда неожиданно вырастает. Ждет с

полузакрытыми глазами.

— Трүнцев Дмитрий, — повторяет Халдей более громко.

Из бурсацких рядов никто не отзывается. Кривой суетливо семенит к Халдею, скороговоркой сообщает: Трунцев сегодня в бурсе не ночевал, неизвестно, где он находится. Халдей жуёт губами, круто направляется к выходу; тонкие, растопыренные уши просвечивают, когда он проходит мимо лампы.

С гамом и ревом бурсаки спешат в кухню за пайками белого хлеба. Хлеб выдают полфунта на брата, выпеченный. Пьют чай немногие: чай и сахар надо покупать самим. Завтракают всухомятку, некоторые запивают хлеб пустым кипятком. Остатки кипятка из чайников выливаются прямо на пол, пол расписывается цифрами, узорами, фигурами. Проигравшие свои пайки накануне в орлянку уныло бродят между столами: не перепадет ли что-нибудь от их приятелей.

Звонок к повторению уроков. Бурсаки через двор, накинув пальто, бредут в классный корпус, в длинное, одноэтажное здание. В темном коридоре корпуса удобно сводить счеты с обидчиками и ябедниками, удирать от надзирателей, давать «подножку» сверстникам. В классах — они немного чище столовой — топят печи, но все еще холодно, и бурсаки занимаются с синими губами. Классы наполняются бормотанием, гудением, выкриками, надсадным шопотом. Стараются друг друга перекричать, зубрят с закрытыми глазами, заткнув уши. Но сегодня бурсаки ленивее обычного. Их занимает вопрос о Дмитрия Трунцева.

Трунцев именит в бурсе. У него чистое бледное лицо. Светло-каштановые мягкие выющиеся волосы. Он строен, сухощав, крепок. Невольно запоминаются его глаза: голубые, спокойные, они глядят слишком открыто и прямо. Трунцев молчалив, улыбается непонятной, лунной улыбкой. Никто не видал, чтобы к нему, круглому сироте, кто-нибудь приезжал или приходил навестить. Ни с кем он не дружит. Он хорошо владеет собой. Неизвестно, чем Трунцев, занят, но часто тайком он отлучается в город; к кому, зачем, об этом Трунцев ни с кем не делится. Самые отчаянные, скандальные и злые проделки, по общему бурсацкому мнению, дело рук Трунцева. Недавно в раздевальной исполосовали пять или шесть преподавательских пальто; смотрители, инспектор, надзиратели сбились с ног в напрасных поисках виновного; в той же раздевальной во время всенощной несколько пар галош оказались пригвожденными к полу и преподаватель греческого языка Хабиб Хананеа, не заметив проделки, поспешил с уходом и разбил себе об стенку голову. Осенью у инспектора в курятнике свернули курам головы и

уложили их рядом, а спустя недели две главные ворота бursы размалевали непристойными фигурами и надписями, в залихватских карикатурах нетрудно было узнать некоторых воспитателей. Прохожие задерживались у ворот, качали головами, прыскали от смеха в рукава, а какой-то пьяный мастеровой долго изобличал «долгогривых дьяволов», лез целовать карикатуры, бушевал, вступил в драку со сторожами, не давая им стирать изображения, разбил нос будочнику и угодил в часть. Начальство и бурсаки подозревали Трунцева, но с поличным поймать его все не удавалось.

Трунцев, будучи в третьем классе, почти никогда не готовил уроков, но учился исправно, а по языкам шел впереди многих. Говорят, он очень хорошо писал сочинения. Имел он еще одну черту, отличительную от бурсаков: внимательно следил за своей наружностью и одеждой. Одевали бурсу в неуклюжие казинетовые пары, в пальто до пят; выдавались галоши, кожаные, глубокие, по асфальту и мощеным улицам бурсаки производили ими такой грохот, что пешеходы изумленно пялили на кутейников глаза. Неведомо какими путями и средствами, но Трунцеву удавалось выглядеть довольно опрятным даже и в казине: куртка приходилась ему впору по росту, брюки не спускались «гармошкой» на сапоги, когда кажется: вот-вот они совсем спадут, — не занавивались до лоска, до «бахромы» внизу, не покрывались подозрительными пятнами. Трунцев имел даже свои щетки для платья и обуви, а также зеркальце и гребенку — вещи в бурсацком обиходе редкие; обычно бурсаки созерцали свои личности в окнах, либо в жестяных чайниках. У Трунцева водились и деньги, он охотно давал взаймы и не настаивал на возвращении в сроки долгов. У него не было прозвища, что тоже случается в бурсе не часто. Трунцева уважали, но и побаивались; избегали его задирать и даже силачи и четвертоклассники держались с ним почтительно.

Что же теперь ожидает Трунцева? Во второй раз «накрывают» его с ночной отлучкой, — одного этого преступления довольно для увольнения. Догадок и предположений хоть отбавляй. Пущен слух, будто Трунцев сбежал в село к дальним родственникам. Другие утверждают, Трунцев решил поступить в гимназию; третьи заверяют, будто он отправился путешествовать в Америку. Слухи множатся, но тут же и опровергаются.

Утренний «занятный» час окончен, бурсаки проветриваются на дворе. Большой двор имеет вид неправильно усеченного квадрата. Посредине — штабеля дров, единственное здесь разнообразие. Двор обнесен высоченным забором, утыканным гвоздями. К классному корпусу, к Вертепу Магдалины примыкают

два дома, где живут смотритель и инспектор. За кухней — амбары, кладовые. Шагах в ста от бursы крутой берег реки. За рекой — поемные луга, архиерейские хутора; на горизонте в туманно-сизой дымке грядami уходят вдаль и разбегаются леса. Между рекой и лесом по большаку тянутся в город, из города деревенские обозы; они напоминают о родных весях, о березах в зеленых сережках, о блистающей весенней листве, о матерях, о сестренках, о садах в вишневом и яблочном цвету, о запахах дыма и печеного исподу хлеба, — бурсаки невольно жадно засматриваются в полуоткрытые ворота и на лес, и на большак, и на луга, и тогда на миг с них, будто пелена, спадает оголтелость и неприкаянность и они опять делаются детьми!..

...Собираются «приходящие», у кого отцы живы и на местах. «Приходящие» снимают углы у вдов, у чиновниц, у мещан в городе; они сыты, чище одеты, среди них меньше отпетых, отчаянных и камчадалов. И учатся они лучше и меньше сидят в карцерах. К приходящим истый бурсак относится с высокомерием, но и с долей зависти, тщательно скрываеmой.

На второй утренней молитве появляется инспектор Тимоха Саврасов, кряжистый, ширококостный, с потным, красным лицом. Грязный крахмальный воротник лезет к ушам; брюки на коленях вытерты и вспухли. Просторный фрак топорщится, фалды кургузы. Тимоха любит запускать пальцы в огромный нос, почесывать голову, плечи, живот, рыться в глубоченных карманах брюк, катать мякиши, рассматривать козули. Пахнет от него заношенным бельем и человеческим семенем. Тимоха Саврасов одержим страстью к поучениям. В поучениях своих он нимало не смущается черное превращать в белое вопреки наглядной очевидности. Бурса — это некая счастливая Аркадия, Эльдорадо. У врат ее толпится много званных, но входят в нее немногие избранные. В бурсе процветают науки, искусства, порядок, чистота, достаток, благообразие. Бурса — недостижимый пример для разных гимназий, реальных училищ, где преподают одно светское вольнодумство и вольтерьянство на погибель всему живому. Бурсацких громил и башибузуков, эту дикую и распущенную орду, Тимоха не стесняется называть благонравными чадами церкви, уповательными отроками, опорой церкви и отечества. Понятно, нисколько это не мешает Тимохе в других случаях тех же самых чад и питомцев «пушить» сбродом, разбойниками, сиволдаями, отрепьем, мошенниками. Не стесняется Тимоха расхваливать также преподавателей и воспитателей. Они работают не покладая рук, не зная ни отдыха, ни срока. Они — бессребренники, недоедают, недопивают, опытные в знаниях и в жизни. Чем больше эти и подобные

утверждения тимохины расходились с действительностью, тем красноречивей он делался. Именно тогда краснобайству его не было предела, и тогда-то Тимоха и впадал в настоящий восторг и исступление. Он умилялся, торжествовал, предрекал, пророчествовал. Кто мог сравниться в эти незабвенные мгновения с Тимохой Саврасовым? Никто не мог сравниться тогда с Тимохой Саврасовым!..

...И на сей раз, положив последний истовый крест, Тимоха придвигается к бурсакам.

— Какой-то негодяй, — начинает витийствовать ретивый инспектор, — какой-то негодяй разбил в столовой окно. Вас привезли сюда учиться, а не бить стекла. Узнаю виновного, немедленно выгону вон.

Бурсаки скромно и сдержанно шмыгают носами.

— Замечаю также, — властно и зычно продолжал поучать Саврасов, — некоторые не пользуются отхожими местами, загадили все углы на дворе, и даже кто-то ухитрился напакостить на крыше амбара. Спрашивается, для чего у нас нужники? Нужники — для наших нечистот. Но и в нужники надо ходить с толком, а не как бог на душу положит. Вчера оглядел один из них и что же в нем я увидел?.. Я увидел в нем непотребное. В яме почти нет бумажек... Натура... Значит, уподобляетесь скотам неосмысленным. А вас готовят принимать сан священника, свершать божественный чин литургии, исповедывать, причащать, служить примером для паствы. Хороши помазанники!.. Помазаны, да не тем елеем... Стоите пред святыми иконами, а от вас несет нечистотами! Неужели в подобном виде молитва ваша будет услышана и принята? Не про вас ли это сказано: да возвратится пес на блевотину свою? *Mens sana in corpore sano* — в здоровом теле здоровый дух. Если же вы загажены, то и в науках не преуспеете. Чем же все это может закончиться? Очень это плохо может закончиться. Вам выведут голые единицы, придется второгодничать, вас выгонят из училища, и тогда одна вам дорога — в босяки и в острог. Превратитесь в отщепенцев, в отбросы, в отребья человеческого рода и даже, может быть, в душегубов. Справедливо воздаст вам суд земной, но есть еще горшее возмездие... — Тимоха Саврасов подымлет правую длань и указывает перстом на потолок: — Не забывайте, есть другой, высший суд, суд божий. Оку всевышнего все зримо. Какими предстанете, когда раздастся глас трубный, когда создатель придет судить живых и мертвых? Какой ответ дадите вы, доведшие себя до полного скотства и, кто знает, может быть, до самого смертного греха, до хулы на духа святого? Спросит вас судия судей громогласно: — «Я создал вас по образу своему и по

подобию своему... где же этот образ мой и где это подобие мое? Разве не влачили вы лик мой в грязи и разве не смердите хуже шелудивых псов? Идите от меня к диаволу и аггелам его в геенну огненную на муки адские и предвечные!...

Неожиданно Тимоха обрывает бурную элоквенцию, запускает в нос палец, молча некоторое время созерцает извлеченное, снизив голос, но с силой заключает свое слово:

— Кого замечу — буду заносить в кондуитную книгу и сажать в карцер!..

...К девяти часам бурсаки — по партам. В коридоре шляются преподаватели с журналами подмышками: в классы итти не охота; расходятся, когда показывается Халдей.

...Часы бурсацкой страды, медлительные, со «столбами», карцерами, с единицами и иными напастями... В бурсе, с приготовительным, пять классов. Классы штатные и параллельные. Училище большое, свыше двухсот пятидесяти питомцев...

...В приготовительном классе учитель церковно-славянского языка Воздухов, восседая на кафедре и спрашивая урок, то-и-дело «цикает» на пол слюной, пропуская ее тонкой струей между верхними передними зубами. Делает он это с мастерством: струя летит из его рта, точно из спринцовки, на добрую сажень и, когда попадает, куда Воздухов нацелился, лицо его выражает удовлетворение. Слюны не хватает, Воздухов горлом и ртом высасывает ее и набирает со чмокающими, непередаваемыми звуками. Пол кругом кафедры в сплошных плевках. Приготовишки во все глаза следят за упражнениями воспитателя. Кое-кто ему подражает, но с опаской: за «циканье» Воздухов оставляет без обеда...

...Первоклассникам давно бы пора привыкнуть к учителю арифметики Ярошенкову, но они все еще с удивлением созерцают его чудовищный нос. Как ухитрился иметь такой нос достославный учитель арифметики — неведомо. Сизо-багровый, в кровянистых, синих жилках, этот нос пышно и невозбранно разросся больше хорошей свекловицы. Впрочем, на свекловицу нос походил цветом и объемом, но не видом; видом же своим был он бугорчат и с нашлепками. Толстые нашлепки свисали справа и слева, величиной с грушу. В некотором роде нос был един, но троичен в лицах. Нос вел самостоятельное существование на лице Ярошенкова, и, глядя на него, на этот помрачительный нос, невольно верилось Гоголю, что носы могут бегать и вновь обретаться.

Дразнили Ярошенкова Баргамотом. Нос мокнул. Баргамоту постоянно приходилось прочищать его платком и вытирать.

Баргамот пил горькую, с каждым годом нос распространял вокруг себя пространство и расцветал, аки кринов цвет, все пуще и пуще, и, обзирая его, всякий себя спрашивал: до каких же это размеров сможет этот нос разрастись, какие причудливые, непостижимые формы суждено принять ему, какими еще сочетаниями, какой игрой цветов поразит он? И чем все это окончится?

За всем тем Баргамот — едва ли не самый благодушный и ленивый из бурсацких преподавателей. Есть еще у него тяжелая и грустная насмешливость; она таится в узких, заплывших прозрачным жиром глазах. Бурсаки эти свойства Баргамота ценят и, понятно, своих выгод не упускают. Вечера Баргамот проводит в лавке у бакалейщика Бурданова. Обычно перед Баргамотом на стойке бутылка с перцовкой. Баргамот с приятелем неспешно ее опорожняют, закусывая воблой, солеными грибами и огурцами. Баргамот молча слушает торговца, человека словоохотливого, в перстнях с огромными поддельными камнями. Бакалейщик у Баргамота единственный в мире друг. Больше Баргамот ни у кого не бывает. Опорожнив положенное и выслушав сетования на плохие дела и на нестоящего покупателя, Баргамот тяжело вздыхает, икает и нетвердой походкой, ощупывая диковинный нос, бредет к себе на набережную, в комнату холостяка у вдовы дьяконицы. Бурсацкое предание: вознамерился будто бы Баргамот жениться однажды, но невеста, дочь поповская, увидев нос Баргамота, впала в истерику на глазах Баргамота. С тех самых пор и зарекся Баргамот жениться.

...Распространяя до передних парт запах чеснока, луку и винного перегара, Баргамот лениво объясняет у доски «следующий урок». Иногда он забывается, заслоняет мощной фигурой и толстым задом написанное. Щуплый бурсак Денисов, вертопрах и непоседа, передразнивает Баргамота, подражая его движениям: чертит пальцем воздух, шевелит губами, хватается за нос. Бурсаки втихомолку смеются. Поощренный Денисов вылезает из-за парты, приседает, вытянув руки и правую ногу; но в это самое время Баргамот с несвойственной ему быстротой оглядывается. В увлечении Денисов не замечает, что Баргамот «накрыл» его, мальчишка сидит «пистолетом», приставив пятерню к носу и высунув язык. Баргамот с любопытством следит за шалуном, класс наблюдает за обоими. Баргамот, наконец, лениво спрашивает:

— Объясни, Денисов, пожалуйста, что это ты делаешь?

Денисов мигом оправляется, пятится к парте, принимает смиренный вид.

— Василий Васильевич, позвольте выйти...

Баргамот озадачен, молча таращит глаза на Денисова.

— Позвольте выйти, — твердо повторяет Денисов, — живот разболелся.

Баргамот, засунув глубоко руки в карманы брюк, подтягивает их, с напускным соболезованием спрашивает:

— Давно у тебя живот разболелся?

— У меня давно разболелся живот, — с готовностью отвечает Денисов.

— А Петрушку валял ты сейчас тоже с больным животом?

Денисов невинно и изумленно взирает на Баргамота.

— Никакой Петрушки я не валял. Позвольте выйти!..

— Ты и из парты не выходил?

— Не выходил, — решительно заверяет бурсак.

Баргамот задумчиво смотрит на него и как бы даже с уважением; крикает, гладит рыхлый живот, садится за кафедру, скучно мямлит:

— Иди скажи инспектору, что я выгнал тебя из класса за паясничество!

— У меня живот болит, ей-богу, — бормочет Денисов уже в дверях.

Бурсаки знают, к Тимохе Денисов не пойдет: Баргамот справляться о Денисове у инспектора не будет.

...Во втором штатном греческий язык преподает Хабиб Хананеа. Бурсаки считают его беглым греком. Хабиб до смешного мал ростом, прямо карлушка. Составлен Хабиб из шаров и полушарий: тугой живот, женские груди, круглая голова, круглые воловьи глаза навывкат с черными зрачками и влажными огромными белками; на макушке шишка величиной со среднее яблоко; на руках-коротышках — пальцы-сосиски. Про глупость Хабиба бурса сложила немало рассказов. Заходит, например, Хабиб в Толмачевскую булочную:

— Дайте мне и Анюте шесть пирожков.

Приказчик, не видя около Хабиба никакой Анюты, спрашивает:

— Разрешите-с! Какой Анюте прикажете отпустить?

— Моей жене, Анюте, — отвечает положительно и солидно Хабиб Хананеа.

По-русски Хабиб изъясняется с пятого на десятое. Вдобавок он зол, вздорен, к тому же и требователен.

В класс опаздывает бурсак Мелиоранский; бочком-бочком пробирается он к своей парте; заняв место, Мелиоранский не поднимает глаз с учебника. Хабиб бегаёт вокруг Мелиоранского, пытит, сопит, издаёт гортанные звуки. Фамилию бурсака он забыл. Мелиоранский притворяется, будто не замечает Хабиба. Хабиб трется животом об угол парты, верещит, наконец, дергает

бурсака за рукав. Мелиоранский, громахая сапожищами, неуклюже и неохотно поднимается.

— Фамиль!

Бурсак невнятно что-то бормочет.

— Почему так долго в классе не существовал?

— В больницу ходил.

— Фамиль! Повторяй на весь голос!..

Обозленный Мелиоранский оглушительно рычит. Хабиб сверкает белками, воздвигает ему жирный кол, захлопывает журнал, могильным голосом изрекает:

— Ви погребены навеки!

С задних парт смех. Хабиб вновь свирепеет.

— Ви, которые веселые! Даже лампы вас стыдятся, вас стыдятся люди; они проходят, они говорят: Ай! ай! какой воспитанник в этом училища, какой разбойник!.. Даже животные разбежались на восток и на запад, на север и на юг. Они слушаются своих отец и бабушка и своих наставник!..

Глаза бурсаков готовы лопнуть от смеха.

Хабиб Хананеа берет учебник. Объясняя родительный самостоятельный, он приводит пример: — Козлов приехал из Тамбова (Козлов — город по соседству с Тамбовом). Дальше следует перевод с греческого. Переводя, Хабиб называет корову быковой женой, селезня — утиным мужем. В перемену при выходе из класса Хабиба берут в кольцо, кто-то дает ему здоровенного щелчка по шишке на макушке. Хабиб визжит и первого, кто ему подвертывается, тащит к Тимохе, уверяя, что это он его ударил по шишке...

...В раздевальной суматоха. Бурсаки наперегонки спешат в больницу. В больнице за аптечной конторкой фельдшер Голохвостов, сосредоточенный, хмурый, записывает к доктору. Голохвостов решает, кого к доктору допустить, от кого отделаться порошком или микстурой. Порошки и микстуру получают всего чаще бурсаки младших классов. Голохвостов из ротных фельдшеров. Лет десять под ряд готовится он безуспешно к экзамену на настоящего фельдшера. Он чтит образование, науки, искусства. Склонив квадратное лицо с усами кота над больничным журналом, он веско говорит четвертокласнику:

— Забористые книги пишут-с господа сочинители. Прочитал-с надосуге комедию столбового дворянина, его высокоблагородия Гоголя. Очень даже завлекательно! Ужасные насмешники!.. Про женитьбу... проывается сочинение «Действующие лица».

Подзаголовок над перечнем действующих лиц Голохвостов принял за название комедии.

Голохвостов говорит: мóмент, рóман, периóд. За конторкой

он священнодействует; он медлителен, осанист. Однако бурсаки нередко над ним издеваются.

— На что жалуешься? — вопрошает Голохвостов, жречески поглядывая на повесу поверх очков в железной оправе.

Повеса хрипло отвечает:

— Должно воспаление мозговых почек. Ничего не соображаю; ни синь-пороху.

— Гм... посмотрим...

Голохвостов открывает пособие, долго и нудно его перелистывает, бурсак следит за эскулапом с откровенным ехидством.

— Гм... о такой болезни ничего не прописано...

— Неужто? — изумляется бурсак, подмигивая приятелю.

В приемной все больше набивается бурсаков. Прыщавый дылда делает таинственные пассы руками. Ослабля сначала связки кистей, он с силой бросает их вверх. Он набивает пульс. В другом углу бывалый обучает новичка:

— Поставят градусник, — лупи его по головке щелчками, только не сильно, а то ртуть разорвется... Голохвостов заметит...

Двери широко распахиваются и вместе с клубами морозного пара появляется военный врач Слепцов. Принимая больных, он лукаво шутит, прищелкивает языком, дымит папирсой, от него пахнет хорошими духами. Он приносит с собой особый мир, далекий, не схожий с бурсой. Обращение Слепцова с бурсаками тоже необычайное.

— На что жалуешься, цыпочка? — спрашивает он вихрастого бурсака с дряблой серой кожей.

«Цыпочка» у Слепцова любимое слово, в бурсе оно звучит дико. Бурсаки любят Слепцова и за «цыпочку», и за то, что он часто идет навстречу их хитростям, уловкам и с готовностью освобождает от уроков. Слепцов самостоятелен и с бурсацким начальством не ладит. Недавно Тимоха Саврасов зашел на прием и заявил, что бурсаки — лентяи и мошенники, их следует не лечить, а держать в карцере. Слепцов поднялся, расправил грудь по-военному, шевеля плечами и постукивая о стол костяшками пальцев, при бурсаках объявил:

— Я сам знаю, что надо делать. В советах не нуждаюсь. Две трети ваших ребят надо положить в больницу.

Со Слепцовым я встретился лет восемь спустя. Семинаристом я должен был пойти на подпольное собрание молодежи. По указанному адресу я очутился на одной загородной даче. Хозяином ее оказался Слепцов. Он заметно поседел, но попрежнему ступал твердо на каблуки, крепко потирал руки, щеголевато одевался, душился и весело шутил с нами, молодыми

революционерами. Сын-студент и дочь-курсистка очень походили на отца.

...Опять урочные часы... в третьем классе по катехизису о. Федору отвечает тонконогий бурсак Ветелкин с журавлиной шеей. Держась руками за парту и раскачиваясь взад и вперед, он невразумительно бубнит:

— Вопрос: Важно ли сие? Ответ: Сие есть очень важно.

— Сие есть очень важно, сие есть очень важно, — тянет Ветелкин и дает ногой «сигнал бедствия» сидящему впереди приятелю, да такой, что тот хватается за ушибленное место и, подставляя другу учебник, думает, что Ветелкин непременно посадил ему синяк, за это на перемене следует его отбутузить. О. Федор перебирая серебряную цепь нагрудного креста, рассеянно слушает. Ветелкин с завидным искусством обманывает преподавателя: он следит за каждым его шагом и движением и, когда тот к нему обращается спиной, бурсак успевает «запустить буркалы» в учебник приятеля, выудить оттуда несколько нужных фраз. Он искусно жует их, пока не схватит еще несколько строк...

...Тимоха Саврасов преподает священную историю. Излагая странствования евреев по пустыне в землю обетованную, Тимоха, увлекаясь своим краснобайством, не замечает, что бурсаки азартно «дуются» в перышки. Но поведение игроков делается, наконец, слишком заметным, и око тимохино уже узрело преступное.

— Повтори, Снеголюбов, что я сейчас рассказывал.

Золотушный бурсак вскакивает, точно ошпаренный, откашливается, уверенно отвечает:

— Вы рассказывали про евреев... Господь бог кормил их каждый день даром кашей.

— Это какой же кашей: гречневой или пшенной? С маслом или без масла?

— Когда гречневой, когда пшенной; когда с маслом, когда без масла, — изворачивается бурсак не задумываясь.

— А про Моисея что знаешь? — с издёвкой допрашивает Тимоха.

Бурсак созерцает потолок, точно ждет оттуда откровения, не дождавшись, бурчит:

— Моисей залез на гору Синай, там его молонья чуть не расшибла, насилиу ноги унес.

— А что в это время делал Арон?

— Арона евреи изувечили почти что досмерти. Не подоспей Моисей, совсем бы ему крышка.

— Очень хорошо, — замечает Тимоха, — очень хорошо. Евреи каждый день ели то гречневую, то пшенную кашу; ты же

попостись лучше во время обеда, да и во время ужина.

Тимоха самодовольно оглядывает ряды бурсаков, приглашая оценить его остроумие. Кое-кто робко хихикает. Снеголюбову водружается неумолимый кол.

...Греческий язык в четвертом параллельном классе преподает Артамошка-Самовар, полусонный, рассеянный неряха. Борода у него свалялась, мундир в пуху, в перьях, в перхоти. Иногда он неожиданно «вскипает» и в гневе, медный, потный, и вправду походит на фыркающий самовар. Подняв носы, бурсаки усиленно принохиваются: от Артамошки разит сивухой. Уткнувшись в журнал и теребя бороду, он равнодушно хрипит:

— Дмитревский Александр.

Дмитревский, малый лет пятнадцати, взвизгивает над партой.

— Дмитревского нету; очень болен, умирает от тифа.

— Ага, умирает от тифа... — бормочет Артамошка, делая отметку в журнале. — Вениамин Крутовский... Ага... Крутовский тоже умирает от тифа?.. Хорошо!.. Милованов Николай... отпущен к отцу?.. Нифонтов... Што за чорт!.. никого нету, а класс битком набит.

Артамошка-Самовар из красного вдруг делается фиолетовым; надувшись фыркает:

— Ффа!..

Узкие «свиные» глазки его летят по партам, седые, клокастые брови свирепо топорщатся.

— Ффа!.. Ффа!.. — Он брызжет во все стороны слюной. — Твоя фамилия!.. — Артамошка уже не смотрит в журнал, а тычет пальцем в первого, кто подвернулся под руку. — Громче!.. Беневоленский... Отвечай урок, Беневоленский!.. Што за чорт, Беневоленский у меня не записан в журнале... Читай Анабазис... Переводи...

Бурсак читает с ошибками. Артамошка хватается ручку, вписывает в журнал фамилию «Беневоленский», с рычанием вонзает единицу.

— Шадись, швинья паршивая!

Бурсак, нагло улыбаясь, садится. В классе втихомолку смеются. Никакого Беневоленского нет и в помине. Артамошка до-нельзя рассеянный; учатся у него по третьему году, а он почти никого не может назвать по фамилии. При плохих ответах бурсаки называют себя кому как взбредет в голову.

Артамошка вписывает всю эту дичь в журнал и украшает его единицами. В конце месяца набирается много «мертвых душ», между тем, души живые сидят без отметок. Тогда Артамошку-Самовара начинают водить за нос по-иному.

Артамошка поклонник греческой мифологии и греческого

искусства. Однажды он является в класс с пачкой тетрадей. Тетради, письменные работы бурсаков, со стороны Самовара своеобразные сигналы: он, мол, устал от преподавания и сивухи. Тетради кладутся на видное место. Артамошка долго кряхтит, сморкается, скрипит стулом и отнюдь не спешит вызывать к ответу бурсаков. С видом змия-искусителя поднимается дежурный.

— Что скажешь? — спрашивает его Самовар снисходительно.

— Утомились, Артамон Тимофеевич... почитайте Гомера...

— Гомер в программу не входит...

— Вы сверх программы, — галдят на все голоса бурсаки. — В виде пособия... Устали!.. не успеваем!.. Скоро роспуск!.. просим!..

Артамошка фыркает, но не гневно, — а даже благожелательно. Змий уже успел подсунуть ему Одиссею. Артамошка мычит, нерешительно берет книгу, перелистывает ее, тяжело сходит с кафедры и, медленно прохаживаясь, приступает к чтению:

Рубище сбросив поспешно с себя, Одиссей хитроумный
Прянул, держа свой колчан со стрелами и лук, на
высокий

Двери порог; из колчана он острые высыпал стрелы
На пол у ног и потом, к женихам обратясь, воскликнул:
«Новую цель я, в какую никто не стрелял до сего дня,
Выбрал теперь; и в нее угодить Аполлон мне поможет...»

От Артамошки несет винным перегаром. Фалды потертого засаленного мундира расползлись, открывая рыхлый, бабий зад; высунулся брючный хлястик, не хватает пуговиц. Одной рукой Самовар шарит в кармане, другой рукой он далеко отставил от себя книгу: старческая дальнзоркость. Все больше, все сильнее он воодушевляется. Обычно сонные глаза его уже сверкают высоким вдохновением, и на лице, изрытом буграми и оспинами, теперь невольно отмечается большой выпуклый лоб. Уже Артамошка закинул вверх голову и не смотрит в книгу: он знает наизусть из Одесsey и по-русски и по-гречески целые песни; он притаптывает ритмически ногой, вынул из кармана руку и плавно ею помавает. Трясется задранная вверх сваявшаяся борода, трясется реденький хохолок на лбу; больше не шепелявит Артамошка, голос его звучит торжественно, проникновенно:

...Четверокожным щитом облачивши плеча, на могучей
Он голове укрепил меднокованный шлем, осененный
Конским хвостом, подымавшимся страшно на гребне, и в

руку
Взял два копия боевых, заостренных смертельною
медью...

Все забыл Артамошка-Самовар, забыл, что живет он с грязной и грубой бабищей-кухаркой, — она помыкает им, отбирает у него жалованье и даже, по слухам, бьет его временами; забыл он, что решительно никому не нужны в этом захолустье ни греческий язык, ни священная Троя, ни дивные герои, что его, Артамошку, считают чудачком, пьянчугой, — что его жена и единственная дочь почти одновременно померли пятнадцать лет назад и с тех самых пор он очерствел, опустился, обрюзг, сделался неряхой, задыхается и уже смешон, нелеп и жалок в своих увлечениях губительным Одиссеем, его могучим луком и смертоносными стрелами. Не замечает и того Артамошка-неудачник, что и в классе никто его не слушает. У бурсаков своих забот полон рот: кафедру успели придвинуть к передним партам; на одной из них поместился ловкач из ловкачей Ключарев. Со всех сторон Ключареву шепчут — «Мне три с крестом!.., мне четверку... тройку Блинову... Синебрюхова не забудь!..» — Вымарываются единицы и «мертвые души», выводятся новые баллы... А Артамошка, рыгая перегаром, отравленный алкоголем, на шестидесятом году, одна нога в гробу, грезит древней Элладой, лазурными небесами и водами, упивается отвагой и силой несравненного лаэртова сына, вспоминает богоравного Телемака, светлооую дочь громовержца Афины, славного песнями Фемия... О мечта! О, неистребимая человеческая мечта!.. Поистине ты выше, ты живучее самой жизни!..

...Хуже всех приходится второклассникам. Среди них свирепствует учитель русского языка Коринский. Коринскому лет за тридцать. Он строен, в новом фраке, волосы подстрижены коротким бобриком. У него мягкие, вкрадчивые движения. Корпус его обычно немного наклонен вперед. В классе Коринский сначала молча прохаживается, ни на кого не глядя и словно не замечая бурсаков. Он крутит мочку правого уха так сильно, что ухо краснеет. В классе слышно сдержанное дыхание, легкие шорохи да еще четкое постукивание каблуками Коринского. Бурсаки знают: если Коринский крутит ухо — быть беде. Коринский не торопится. Он задает урок: выучить наизусть балладу «Суд божий над епископом Гаттоном». Епископа приказывает переименовать в рыцаря: хотя Гаттон и католик, однако, высокое священное лицо; может случиться, балладу придется читать в присутствии «преосвященнейшего владыки»;

засорно, что крысы слопали епископа. Исправление нарушает ритм, Коринского это не смущает.

Он вызывает Магнитского. Магнитский, с белыми дрожащими губами, с тиком на лице, передает «своими словами» описание плюшкинского сада; разбирая предложение, делает ошибку.

— К доске! — зловеще приказывает Коринский. — Пиши: «Весь товар весь на весах».

Слово «весь» можно считать и местоимением и повелительным наклонением от глагола весить. Пример на букву «ять» и на запятую. Магнитский пишет:

— Весь товар, весь на вѣсах.

Кусок мела у него дрожит, ломается; буквы лезут друг на друга, бегут вкривь и вкось. Коринский следит за бурсаком прищуренными желтыми глазами, в них — острые искры. Попрежнему крутит он мочку уха.

— Объясни, почему так написал! Можно ли написать иначе?

— Вѣсь товар, вѣсь на вѣсах...

— Еще как можно?

— Весь товар, вѣсь на вѣсах.

— Еще...

— Вѣсь товар, весь на вѣсах.

— Вѣсь, товар весь на вѣсах.

Объясняя последнее начертание, Магнитский запутывается, он не знает с уверенностью, нужна или нет запятая. Коринский быстро подходит к бурсаку, хватает его за рукав, тащит в кафедре, садится, прикрывает глаза ладонью. Ладонь дрожит, Коринский молчит. Магнитский не шелохнется. Класс замер. Коринский находит в журнале нужную фамилию, долго держит перо над журналом, рука у него продолжает дрожать. Магнитский бросает на руку мимолетный взгляд и тут же его отводит. Единица!.. Влепив ее, Коринский сереет, глаза зловеще загораются с новой силой. Они — уже бешеные. Рыжие усы топорщатся, по лицу — мелкие судороги. Считая терзания оконченными, Магнитский пятится к парте. Коринский шипит:

— Не спеши! Еще успеешь насидеться... Скажи о значении суффиксов.

Магнитскому уже все равно. Коринский наклоняется к нему через кафедру:

— Повторяй за мной: суффиксы придают особое значение словам из тех имен существительных, кои связаны одним общим корнем...

Магнитский бессмысленно пялит глаза на Коринского, едва ли он даже как следует слышит, что ему тот говорит, и с первых же слов запутывается. Коринский, будто терпеливо, опять

объясняет Магнитскому.

— Повтори!

Бурсак бессвязно бормочет:

— Суффиксы... которые... связаны... корнем... — Умолкает.

Коринский скрипит зубами, ставит новую единицу, отбрасывает от себя журнал и, задышав, с перекошенными губами, через силу из себя выдавливает:

— Единица за день!.. единица за месяц!.. Повторяй: жил-был дурак; звали его Балдой... Ну?..

Магнитский делает движение нижней челюстью, точно удерживает всхлипывание, но потом лицо его твердеет. Лоб от напряжения покрывается мелкой испариной. Тонкими пальцами он судорожно мнет пояс, и видно, как частая дрожь бьет его колени. Коринский крутит ухо; из красного оно делается темно-багровым.

— Повтори! — хрипит он, все больше наклоняясь к Магнитскому.

Магнитский поднимает глаза на Коринского, и тогда между ними происходит странный поединок. Он длится довольно долго. Магнитский окаменел, взор у него неподвижный и словно бы слепой. Вдруг Коринский нелепым рывком вновь хватает журнал и как-то чересчур уж поспешно водружает Магнитскому еще единицу, очевидно, за четверть. Не испрашивая разрешения, Магнитский лунатиком возвращается за парту. Коринский все крутит ухо.

Самое страшное для бурсаков, однако, не в этих единицах и издевательствах. Бурсаков занимает вопрос: «заколдует» кого-нибудь сегодня Коринский, или дело обойдется. — Заколдовал! — это всего ужаснее. С начала учебного года Коринский делил бурсаков на два разряда. Во второй разряд попадали, кого он считал безнадежными. Наметив таких, часто способных, но не снискавших его расположения бурсаков, Коринский с первых же дней изводил их: спрашивал чуть ли не на каждом уроке, держал у доски, заставлял, доводил до отупения. Но однажды все это прекращалось. Коринский о бурсаке забывал. Проходили недели, месяцы, четверти, Коринский не беспокоил больше бурсака, но неукоснительно выводил ему единицы. Он его «заколдовал». Заколдованный мог готовить уроки, мог их не готовить, мог в класс ходить, мог и не ходить. Он больше для Коринского не существовал. Коринский не замечал его на уроках. В конце года заколдованному выводилась плохая отметка. Коринский «резал» его на экзаменах, «резал» его на передержках, оставлял на второй год. На втором году бурсак пребывал в том же заколдованном состоянии, потом увольнялся

по малоуспешности. Иногда отец до этого дела не доводил, а, узнав, что сын его «заколдован» Коринским, сам брал его из училища и пристраивал в другое заведение. В бурсе утверждали, что «колдовать» Коринский стал после смерти единственного семилетнего сына, утонувшего в помойке. В «колдовстве» Коринский обнаруживал неуклонность и мужественность. Родители не раз жаловались на него бурсацкому начальству; начальство делало Коринскому внушения, Коринский не сдавался даже тогда, когда ему угрожали отставкой.

...Уроки продолжают... На латыни пустует место Трунцева. Новый слух: Трунцев помер... Об этом повсюду шепчутся.

...В уборной «спасаются». Под потолком на толстых бревнах — бак с водой, отделенный перегородкой от остального помещения. Между баком, стеной и перегородкой — укромные места. Сюда-то с большим искусством и скрываются бурсаки от уроков. Сидят они на балках, согнувшись колесом. Дабы их выманить, дежурный надзиратель Кривой прибегает к хитросплетениям. Он заходит в уборную как бы по своему делу.

— Никого нет, — бормочет он громко, — пойду-ко я домой!

Кривой хлопает первой дверью, хлопает второй дверью.

Из-за перегородки поднимается бурсачья голова; бурсак по-змеиному поводит ей, но мгновенно ее хоронит... Поздно!

— Слезай, дружок, слезай! — гостеприимно и победно приглашает его Кривой, чмокает от удовольствия губами и облизывается.

Кривой и не думал покидать уборной; разговор с самим собой, хлопанье дверями — обман. За перегородкой легкие шорохи.

— Слезай, слезай! Иначе позову сторожа, хуже будет.

Бурсак, сконфуженный и раздосадованный, нехотя, громыхая сапожищами, спускается на пол.

— А-а-а-а! Это ты, Вертоградов! — точно не веря глазам, издевается Кривой и оглядывает бурсака с головы до пят: Вертоградов в пыли, на лице грязные пятна, плечо измазано мелом. — Хорош! Прямо из преисподней! Кто еще там с тобой?

Положение Вертоградова двусмысленное: наверху «спасаются» еще двое отпетых; выдавать товарищей не полагается; сказать, что за баком никого нет, тоже неудобно: может быть бурсаки возьмут да и сдадутся.

Вертоградов с отвращением мямлит:

— Я не заметил...

— Не заметил? — Кривой ехидно удивляется. — Ты что же, зажмурившись там сидел?..

— Уроки учил...

— Скажите, какой прилежный! Где же у тебя учебники?

— Учебники наверху остались. С ними трудно слезать...

Неожиданно за перегородкой раздается грохот: показывается рука, за ней голова...

— Преображенский? И ты, миленок, здесь? Не ожидал, не ожидал!..

Преображенский ёрзает ногами по перегородке в поисках опоры, не найдя опоры, прыгает на пол с риском разбиться об асфальт.

— Есть там еще кто-нибудь?

— Не видать!..

— Тоже сидел зажмурившись?

— Не видать, темно.

— Один учил урок, а другому ничего не видать... По классам!.. Обоих запишу в кондуитную книгу!..

В ватер заглядывает сторож Яков, из николаевских солдат. Кривой приказывает принести лестницу. Яков, почесываясь, с крайней медлительностью приносит ее, кряхтя, поднимается к баку.

— Быдто никого нет, ваше благородие... чисто... ни звания не видать...

— Гляди лучше!

Яков старается: может быть расщедрится Кривой рождеством на бутылку.

— Быдто, ваше благородие, кой-то висит, не приведи бог!

— Висит? — испуганно спрашивает надзиратель. Кривой глаз у него начинает вращаться.

— Висит, ваше благородие!..

За перегородкой раздается новый грохот... падение тяжелого тела... тишина...

Яков гусаком вытянул шею, лестница под ним скрипит.

— Что там такое? — нетерпеливо допытывается дежурный.

Яков медлит ответом.

— Ну, отвечай! Тебя спрашиваю, — Кривой топчется, около лестницы.

Яков не торопится, вертит головой, наконец, отвечает сипло:

— Спервоначалу «он» быдто висел, а опосля, между прочим, сорвался на пол. — Живой! — Яков явно сожалеет, что «он» живой. — Вот стервец-то, прости господи!.. Эй, выходи!.. Нечего шебаршить! Попался, так уж попался: ничего, брат, не поделаешь!.. Выходи, брат! — Яков обращается к Кривому: — Не выходит, ваше благородие! Сидит в угле, лицом в стенку уткнулся, прокурат скаженный, чтоб ему ни дна, ни покрывки! Не разглядеть, темно.

— Придется тебе спуститься туда...

Яков качает отрицательно головой, заглядывает за перегородку:

— От этого увольте, ваше благородие! Стар я шастать туда. Не какой-нибудь обезьян... с крестом... залезешь, а выбраться — не выбраться.

— Позови Ивана, он помоложе...

— Иван за папиросами господину Халдею... фу ты... господину смотрителю пошел. В раздевальной-то я один остался. Не приведи бог, еще одежду какую учительскую упрут. Нешто это ученики? Ворье, грабители, жеребьячья порода! Однова дыхнуть!..

— Ну, ты... тово!.. — осаживает его Кривой. Выражения Якова кажутся ему неуместными. Сторожу нельзя ругать будущих пастырей. — А багра у нас нету? — деловито осведомляется дальше Кривой.

— Багра у нас нету, — сокрушенно вздыхая, отвечает Яков, все еще стоя на лестнице. — Кабы мы были пожарные, или, к примеру, утоплых мертвецов искали в речке... С багром-то, ваше благородие, самые нестоящие пустяки «его» оттедова вытащить... Например, зацепил его крючком и тащи наманер, скажем, бревна какого ни на есть... Багра-то и нету!..

— Ладно! Иди в раздевальную... Правда, там того и гляди пальто упрут!..

— Еще как упрут-то!.. Беспременно упрут, — бормочет Яков и в последний раз заглядывает за перегородку. — Эй, выходи, оглашенный! Выходи, худомор!.. — Яков машет рукой. — Киш! Киш! Тебе говорю али нет?! Не выходит и не выходит!..

Бурсак не поддается. Яков спускается с лестницы. Незадача! Поймал бы, — пожалуй, ихнее благородие дали бы пятак теперь, не дожидаясь рождества. Незадача!

Оставшись один, Кривой бегаёт по клозету, крутит и кусает ус, ввинчивается глазом в перегородку, прислушивается. Какая охота поймать! Для Кривого это спорт, развлечение! Но за перегородкой нерушимая тишина. Побужденный упорством бурсака, Кривой уходит из уборной. В перемену из-за перегородки — глухой голос:

— Пояс подайте!

Бурсаки помогают выбраться отпетому Ахинейскому, Ахинейский похваляется, как удалось ему победить Кривого: когда Яков поднялся по лестнице, он, Ахинейский, хоронясь от него, повис на руках, держась за балку, прыгнул потом вниз и, дабы не быть узнанным, стал «в угол носом»...

...А постылые уроки идут своим чередом и черед их, ух, какой длинный! По коридору прогуливается Халдей, заглядывает

сквозь стеклянные верхние половины дверей то в один класс, то в другой, и бурсакам тогда чудится, что их подстерегает некий сказочный и безжалостный урод.

Дик, угрюм и бездушен мир Халдея, воистину глухой мир, без цветов, без движения. Нелегко проследить, как складываются такие мертвые характеры. Работала над Халдеем и Павловская эпоха, сумасшедшая, изуверская, наполненная страхами; приложил тут руку свою и Палкин Николай, и Аракчеев; немало над ним потрудились и наше раболепное православие, и византийство, и бурса, и семинария, и духовная консистория с крючкотворством и ябедничеством. Отовсюду понемножку, а в итоге всех итогов — Халдей. В сущности Халдей — ничтожество. Он сер, уныл. В захолустьи он вырос, в захолустьи и помрет он. Лишенный честолюбия, он даже и не выслуживается, а исполняет начальственные предначертания, исполняет исправно, но бесталанно. Во всей деятельности Халдея холодная тупость, равнодушие, бессмысленная боязнь, посредственность, уездная ограниченность. Он злобен, мстителен, но и в этом Халдей мелок, скучен и убог. Мир простирается пред ним песчаной пустыней, где не на чем задержаться глазу, нечему порадоваться. Халдей не чувствует, что у людей живое сердце, темная, густая кровь, радости, скорби, ожидания, надежды. Если по какому-нибудь чародейству за ночь люди превратятся в манекены или в автоматы, Халдей не заметит подмены и попрежнему будет следить за выполнением бурсацких распорядков и приказов. Откуда они, эти распорядки и приказы, насколько разумны они, об этом Халдей никогда не задумывался. Человеку Халдей не доверял, больше, он презирал человека. Знал Халдей одно твердо: многое можно сделать с человеком. Наказать! в этом выражалось все мирозерцание Халдея. Халдея нельзя было удивить ни самоотверженным поступком, ни чудесами человеческого ума, сердца и рук. Какой тут ум, сердце, какие тут руки!. Человек-животное по преимуществу жрущее, — в этом закон и пророки; остальное домислы, пустяки. Халдей был одинок, ни с кем близко не сходил, не дружил. Дети его, сын и две дочери, росли заморышами, а его жена, больная и старообразная не по летам женщина, редко показывалась не только в городе, но даже и на бурсацком дворе. Халдей был человек совершенно невежественный. В его квартире, мрачной, холодной, на письменном столе лежали кондуитная книга, журналы с отметками, штрафные списки, ученические тетради, «Епархиальные ведомости», несколько казенных учебников. «Вольных», светских книг Халдей у себя не держал. Огромный мир науки, искусства, гениальных открытий, прозрений для него,

повторяем, не существовал. Он терпел этот мир по предписанию, для курсов, для хрестоматий, для экзаменов и дипломов. В старшем, четвертом классе он преподавал катехизис. Сидеть у него в классе было мучительно. Халдей рассказывал уроки из слова в слово по учебнику; тексты спрашивал с точными указаниями глав и стихов, откуда они, эти тексты, взяты. Его объяснения бурсаки записывали в тетради: самостоятельная передача их каралась. Основной довод Халдея: это основано на церковном предании, на откровении. Все прочее — от лукавого, от суетного любомудрия.

Всегда готов он запустить лапищу в самое дорогое, сокровенное, выворотить наизнанку, выставить напоказ, охаять, омерзить. И бурса в этом от Халдея не отстает. Но бурса молода, а Халдей пожил. Бурса вносит даже в это паскудство некую свежесть. Халдей творит злое тупоумно и равнодушно.

Халдей и Тимоха дополняют друг друга. Чинодралы, школьные повытчики, оба они нечистоплотны в простом и подлинном смысле. Эту физическую нечистоплотность они охотно насаждают и распространяют вокруг себя, и бурса не только живет в грязи, в смраде, она эту грязь и этот смрад возвела в достоинство, в чтимое и любимое.

Это Халдеи и Тимохи, это бурса создала особого, нашего родного «демона»: морда тыквой, живот шаром, волосатого, рогожного, мохнатого, поганого, навозного, пропахнувшего псиной, блевотиной. Наш отечественный, грязенький демон!

...Идет последний, четвертый урок... Бурсаки посоловели, охота отдохнуть от двоек, от бурсацкого суемудрия, охота пообедать, а час ползет слизняком. В третьем классе Баргамот еле дотягивает время. С дежурным камчадалы заводят таинственные переговоры, пуская в ход пальцы и иные выразительные телодвижения. Дежурный сначала сопротивляется, потом сдается.

— Василий Васильевич, — говорит он Баргамоту, — у нас составилось новое трио.

Баргамот, большой любитель церковного пения, по виду нехотя спрашивает:

— Ну, и что же?

— Разрешите спеть.

— Это как же на уроке арифметики мы будем заниматься пением? А если услышит смотритель?

— Не услышит. Поставим кого-нибудь у дверей.

— Новое что-нибудь разучили? — осведомляется Баргамот попрежнему словно бы нехотя и даже недовольно.

— Есть новое.

Баргамот словесного разрешения не дает, но закрывает

журнал, а уже лучший солист бursы, первый дискант Песков, задает тон альту Гусярову и второму дисканту Дьяконову. В руках у них ноты. Поют «Свете тихий» Чайковского, квинтет «Ныне отпускаеши». И опять бурсаки похожи на обыкновенных детей и подростков. Спала с лиц паутина и нет уж ни заплыванного, пыльного класса, ни запаха уборной, ни облезлых, исковерканных парт, ни этого ошесья и отребья, именуемого бурсой... Закрывать глаза и слушать, чтобы жили одни только уши, и думать неизвестно о чем, и жалеть себя и других... Да... иногда это очень нужно человеку!..

Баргамот склонил голову на кафедру и, точно стыдясь за нос свой перед чистыми, звонкими голосами, прикрыл его ладонью, лег грудью на кафедру, ссутулился, плечи беспомощные. Уродливое лицо Баргамота скорбно. Думает Баргамот о том, что ему пятьдесят три года, что единственный у него друг — бакалейщик, что жизненный путь пройден, безрадостен, бесталанен и ничего нет впереди, кроме гробовой доски. Трио поет — «Не уклони сердце мое в словеса лукавствия...» — Ах, сколько сказано за жизнь глупых, ненужных слов, и сколько не сказано слов настоящих о самом главном и важном!.. — «Господи, услыши молитву мою и вопль мой к тебе да приидет!..» — Ни бурсаки, ни даже Баргамот не замечают, что песнопение звучит в стенах бursы трагически. Ведь большинству этих подростков в лучшем случае уготован путь Баргамота!.. Не легче ли брести по бурсацким тропкам-дорожкам, закрыв лицо руками?..

...Последний звонок к окончанию уроков... Баргамот рассеянно выслушивает молитву, задерживается в дверях:

— Вы... того... не дело это петь на уроке арифметики... Буду налагать взыскания.

Бурсаки слушают его, выпучив глаза, другие хохочут вослед.

«Приходящие» спешат по домам; «казеннокоштные» несутся в Вертеп. Летят сломя голову; в дверях давка, драка, гам, свист, рыканья, ругань. Рассаживаются по столам с грохотом. Добрая дюжина бурсаков несет наказание «столбом без обеда» у колонн. Некоторые без обеда остаются изо дня в день. Тимоха Саврасов, дежурные надзиратели лишают пищи не только за шалости, но и за дурные отметки. Наказуемые вытягиваются, худеют, покрываются чирьями, двойки и единицы приумножаются; зато казне прибыль, впрочем, прибыль сомнительный. Среди бурсаков молва: экономия на обедах и ужинах значительно улучшает пищевое довольствие всего бурсацкого начальства. И правосудие можно соблюсти, и водки напиться!.. Нет нужды, что голодные бурсаки ожесточаются, составляют шайки, грабят кладовые, крадут съестное в городе по лавкам и магазинам...

На обед подают щи с солониной и затхлую пшеничную кашу с прогорклым маслом. Во щах тараканы, черви. Бурсаки глухо урчат. В дальнем конце столовой — звон ножа о тарелку, и тотчас же его дружно и лихо подхватывают. Гром, топот, неистовое звяканье, стук, крики:

— Черви! черви! черви!..

Кривой, скосив плечи, измученный, с отчаянным и злым лицом бегаёт между столами, стараясь накрыть дебоширов. Куда ему, одноглазому! Дребезжат, стонут в окнах стекла. Бурса рассыпается мелким, дробным бунтом:

— Тараканы! Черви! Тухлые щи! Вонючая говядина!.. Долой!..

Работают вилками, ножами, ложками, ногами, локтями, даже задами, — с упоением, самозабвенно, уже не опасаясь Кривого. Дрожит воздух; звон, лязганье, крики бьются о стены, отскакивают от них, кружатся, рвутся в двери, в потолок.

— Черви! Черви! Черви!..

В разгар дебоша, запыхавшись, врывается Тимоха Саврасов. Грохот затихает: при Тимохе своевольничать бояться. Тимоха нарочито медленно и зловеще двигается между столами, подходит к бурсаку, случайно отмеченному взглядом. Бурсак уткнулся в тарелку. Тимоха дергает его за рукав. Бурсак тяжело поднимается, в руке у него ложка, с нее капают щи.

— Недоволен, стучал?

— Я доволен, я не стучал, — бурчит вопрошаемый, не глядя на Тимоху.

Тимоха притворяется, что не слышал ответа:

— Ты недоволен? Мать Христа-ради просила за тебя, в ногах валялась.

«Врешь», — злобно думает бурсак.

— Дома корки сухой нету, а здесь ему щи червивые! Ка-кое благородство!.. Ты у себя-то хлебал когда-нибудь щи с мясом?

— Я хлебал...

Тимоха Саврасов отступает от бурсака на шаг, складывает на животе руки, оглядывает питомца с ног до головы, переводит взор на других бурсаков — полюбуйтесь, мол, на своего приятеля, каков?!

— Не знал я, какие жирные щи ты дома хлебал! Может быть тебе устриц подавали?

Справа угодливый смешок.

— Может быть, рябчиками вас кормить, птичьими язычками, налишьей печонкой?.. Простите, не запаслись. Обождите!.. Вон там... у стеночки... пожалуйста!..

Тимоха толкает бурсака к ближайшей колонне. Бурсак вожаделенно взирает на ложку, неохотно кладет ее на стол,

вдыхает на всю столовую и, направляясь стать «столбом», больше для порядка бормочет убито и безнадежно:

— Я доволен, я не стучал...

Тимоха рад случаю поучить бурсаков:

— Встать!.. Готовят на ораву, за червяками не углядишь... Да и вообще... Не то оскверняет человека, что входит в уста, а то оскверняет, что из них исходит... Иоанн Креститель питался в пустыне акридами и диким медом...

«Медку бы ничего!» — мечтает у колонны изгнанный бурсак.

А чем питались святители и отцы церкви? Они питались ключевой водой и куском просфоры!.. Не хотят ли воспитанники духовного училища превратиться в сластолюбцев, в тучных обжор? Нечего сказать, хороши духовные чада!.. А впрочем, на все это есть карцеры и кондуитные книги!..

Щи остыли, остыла гречневая каша, а бурсаки довольствуются пока тимохиным глаголом... Конец обеда проходит в подавленной тишине. За каждым столом — по семи бурсаков. Старший — четвертокласник. Он разливает щи, раскладывает кашу. Главное — масло. Масло подают в особых жестяных стопках, старший распределяет масло по бурсакам. Приготовишек и первоклассников обычно обделяют, нисколько не стесняясь.

С окончанием обеда Тимоха и Кривой удаляются. Наказанные бурсаки алчно кидаются к столам подбирать объедки, куски хлеба, сухие корки каши, огрызки; рвут друг у друга с рычаньем, с заушательством. Вот где бурса учится обирать приходы! Настоящее побоище происходит со служителями. Служителям вменяется в обязанность не допускать лишенных обеда до объедков. Ревнителю гонят из столовой ненавистную жеребьячью породу. Голодные кутейники не сдаются; в ход пускаются табуреты, кирпичи, швабры, поленья. Бывает, служители отступают не только из столовой, но и из кухни, и тогда она подвергается разграблению. Впрочем, до этого дело доходит редко.

От двух часов и до четырех с половиною бурса отдыхает. На дворе морозно, бурсаки толкуются в сундучной, в раздевальной, в классах, в коридорах. От пыли першит в горле, слезятся глаза, стелется сизый туман. Пиликают на скрипках. Во втором классе хором поют: — «Достойно есть...» — Шатаясь по коридору, бурсак Веселовский дерет горло, подражая петуху, овце, собаке, лошади, корове. Можно подивиться его мастерству. Носятся друг за другом с ремнями, дают «подножки». Гвалт, топот, ржанье, визг. Ухарство, бахвальство... Оплеухи, тумачи, зуботычины. Играют в волосянку, показывают Москву. Иные шлятся, не знают, что

делать с собой, куда, к кому приткнуться. На полу ошметки грязного снега, лужицы, мусор, скомканная бумага, всякое дрянцо. Озорной, ярыжный бурсацкий демон развлекается!.. Скотство, вши, рвань, обломы, обормоты, кулашники..

В классах потише. Около печки играют в перья; игра строго-на-строго запрещена. Второклассники с ожесточением спорят об орденах. Бурса всегда чем-нибудь увлекается. Сегодня один из фольги склеит георгиевский крестик; завтра его примеру последуют многие приятели. Спустя неделю бурса клеит ордена, меняет их, продает. Еще через несколько дней по рукам ходят вырезные львы, тигры, слоны, носороги. Картинки скупаются, идет мена. Затем увлекаются стальными перьями. Появляются перья кривые, словно турецкие ятаганы, плоские, с изображением Наполеона, перья с коготок-ноготок и едва ли не в четверть аршина длиной.

Скука, сирость, бедность впечатлений создают эти увлечения. Из них некоторых свежему человеку — не понять. В класс входит бурсак; придерживаясь рукой за притолку, он оттягивает назад ногу и начинает ею трясти. Движение бессмысленное, но трясут ногами во всех классах. Несколько дней назад Тимоха Саврасов на дворе в оттепель узрел бурсака у лужи: бурсак от нечего делать бродил по ней и, когда увидел Тимоху, стал поспешно отряхивать грязь с кожаных галош, для чего и потряс ногой. Саврасов придрался к бурсаку: — «Что это ты трясешь ногой, словно кобель?» Замечания оказалось довольно, чтобы бурсаки принялись трясти ногами где и как попало. Трясением занимались на дворе, в коридорах, на уроках, в часы занятий, на улицах... Начальство усмотрело в странных бурсацких телодвижениях злостное непокорство, преднамеренное озорство, опасное вольнодумство и объявило «трясению» неуклонную борьбу. Тимоха произнес суровую проповедь. Бурсаков, увлеченных пагубным пороком, оставляли без обедов, без ужинов, сажали в карцеры, угрожали увольнением. На преследование бурса отвечала почти поголовным трясением. Бурса ожесточилась, бурса решила не сдаваться. Тимоха усмотрел в этом «потрясывание» священных бурсацких основ, попытки к их насильственному ниспровержению. Надзирателям и преподавателям было приказано пресекать «потрясывание» в самом корне и беспощадно. «Потрясывание» сделалось тайным, ушло в подполье. Оно уже насчитывало своих мучеников, героев, фанатиков, прозелитов. Но где есть мученики, есть и предатели и палачи. Начальство лишилось покоя. «Потрясыванием» занимался училищный совет, потрясывателей ловили из-за углов, им устраивали засады и западни. А бурса все «потрясывала и

потрясывала», покуда сами собой не исполнились сроки.

...Бурса отдыхает и развлекается... В коридор вваливается ватага четвертоклассников. Четвертоклассники — дворяне бурсы, ее брамины, через несколько месяцев их ожидает семинария. Они дежурят в классах, в столовых, в спальнях, на кухне, имеют прихлебателей, любимчиков, слуг, ябедников. Начальство на них не принимает жалоб. Они непререкаемые судьи, хранители бурсацких заветов, устоев, канонов. Многие из них великовозрастные верзилы с усами, говорят басом; кое-кто втихомолку потягивает из чайников сивуху и за полтину бывает в домах терпимости. Гнет четвертоклассников часто горше начальственного гнета.

— Ребята, — орет один из старших, — хватай необъезженных пригодишек!..

Прыщеватый дылда, почему-то высунув язык, ловит малышей-заморышей, передает их ватаге. Пойманных ставят в ряд; держат пари. Дылды лезут на спины пригодишкам. Те сразу оседают, колени у них подгибаются, дрожат, выпученные глаза наливаются кровью.

— Раз, два, три!

Малыши несутся наперегонки. Наездники подгоняют их криками, щипками, колотушками. Один взнуздал своего коня, распялив пальцами рот; другой вцепился «в гриву», третий поддает коленкой, четвертый «наяривает» за уши. У седоков ноги едва-едва не волочатся по полу, приходится их сильно подбирать.

— Взбутитень его, взбутитень!.. Начихвощивай!.. Взбодри, взбодри!..

Зрители поощряют, советуют, с нетерпением ожидая исхода ристалищ. Надо пробежать туда и обратно шагов триста с лишком. Малыши кряхтят, тужатся. «Победителей» мирно отпускают, побежденным достаются синяки, шишки, их обкладывают поборами. От ристалищ малыши срывают животы, страдают поносами, грыжей, сердечными припадками.

...Молодая женщина в дубленом тулупчике, в меховой шапке боярыни шестнадцатого века, ждет сына; приехала проведать из дальнего уезда. «Сынок», пригодишка, выходит к матери, измазанный чернилами, ворот куртки непомерно широк, пуговицы местами вырваны «с мясом». Мать страстно и нежно целует сына, гладит по голове, остриженной так, будто цырульник, зажмурившись, хватал ножницами наугад. «Сынок» дико озирается: он боится, что его задразнят: бурса «нежностей» не любит, тут своеобразная Спарта.

— Что это ты, Ваня, сторонишься меня? — спрашивает мать, тревожно и скорбно вглядываясь в испитое лицо бурсака; его уже

успели «отделать». На глазах у нее слезы.

— Я ничего, — бормочет Ваня, не глядя на мать. — Ты только не плачь, товарищи увидят.

Мать торопливо вытирает глаза платком.

Белобрысый, словно перекрученный жгутом Крестовоздвиженский уже собрал в углу раздевальной банду; после непродолжительного совещания, притворяясь беззаботным, он приближается к Ване и к матери и, поровнявшись с ним и, насколько хватает сил, оглушительно чихает. Ваня еще ниже опускает голову. Банда исчезает, но спустя несколько минут из разных закоулков все громче и громче несется:

— Культяпый, культяпый, культяпый!..

Бурсаки квакают, шипят, мяукают, брешут, верещат. Никого не видно; попрятались в пальто на вешалках, за колонны, за дверями. Ваня делается совсем угрюмым и еще больше чуждается матери.

— Это они тебя, Ваня, дразнят? — спрашивает она подавленно. Глаза у нее темнеют, губы дрожат.

Ваня, насупившись, молчит.

— Какие безобразники! Пожаловался бы на них кому следует. Что же это такое: повидаться не дадут.

— Культяпый, культяпый!..

— Пожалуйся на них, они в кровь изувечат, доносчиком обславят.

У матери капают крупные, редкие слезы. Сын бесчувственно глазееет на нее. Поскорей бы закончилось свидание! А еще недавно сколько им обоим мечталось! Она, вдова священника, сельская портниха, копила гривенники на дорогу и на гостинцы, не гнушалась и черной работы, слепила глаза над вышивками и кружевами и все думала простую и неотвязную думу про Ваню, про житье его бытие. Ваня тоже давно ждал этого часа. Только одна подушка знает да жесткое одеяло, о чем ночами вздыхают малыши бурсаки, прежде чем уснуть. Ну и вот она, милая боярская шапка, вот они, теплые родные губы со скорбными морщинками, глаза с тихим светом, теперь затуманенные, вот она, прохладная легкая рука. Отчего же торчишь чурбан-чурбаном, и ничего не шевелится в сердце?! Ведь знает же он, Ваня, что обольется потом слезами где-нибудь на задах и опять будет считать, когда вновь можно будет свидеться с матерью!

Простившись с ней и спрятав в сундук деревенские гостинцы, Ваня находит белобрысого.

— Зачем ты дразнил меня?

— Я дразнил тебя? — изумляется белобрысый. — Окстись, дорогой! Во сне, брат, приснилось!.

Около кульяного и белобрысого собираются досужие зрители.

— Я видел, ты дразнил меня...

— А хотя бы и дразнил — велика важность!

Белобрысый закладывает руки за спину, с вызовом смотрит на малыша, подмигивая в то же время зевакам: подождите, сейчас будет занятно. Белобрысый сильнее Вани. Неожиданно для всех, а может быть и для себя, Ваня по-бычьему наклоняет голову, наносит головой белобрысому удар в живот и, не давая противнику опомниться, бьет его по лицу, бьет в грудь, под ложечку. Оправившись, белобрысый в свою очередь насаждает на Ваню, яростно молотит его кулаками, дает «подножку». Ваня пашет «носом», но с проворством, ему обычно не свойственным, поднимается и вновь нападает на белобрысого настолько стремительно, что тот даже отступает. Обида, унижение, злоба удешевляют его силы. Молча и сосредоточенно тузят друг друга бурсаки. У белобрысого из губы сочится кровь, вспухло ухо, порвалась подмышками куртка. Ваня выбивается из сил, на скуле ссадина, на лбу шишка, но он не сдается, даже опять насаждает на белобрысого. Бурсаки обступили бойцов и жадно следят за дракой.

— Под сердце, под сердце его!.. В морду!.. Нахлестывай, отчубучивай!..

Иные безотчетно сжимают и разжимают кулаки, топчутся, подражают движениям бойцов, отрывисто дышат. Блестят глаза, ходят плечи. Драка прекращается одновременно обеими сторонами. Противники еле переводят дух. Вблизи слышны удары их сердец.

— Получил? — еле слышно выговаривает белобрысый.

Ваня беззвучно шевелит губами, но не сдается. Стоят друг против друга, ни один не отходит, но не решается первым броситься в новую драку. Бурсаков разводят. Общее мнение на стороне кульяного Вани: он, более слабый, не уступил белобрысому. Мать, ушедшая со свидания в тоске и в горе, не знает, что сын ее отныне упрочил свое положение в бурсе, он выдержал искуc.

...Больше всего бурса ценит отчаянных и силачей. Отчаянный «бьет на увольнение». Он — камчадал, второгодник; почти ежедневно он либо в карцере, либо без обеда; он донимает начальство мелкими и крупными проделками: сегодня отчаянный забрался к отцу-эконому, перебил у него посуду и даже оставил на полу свой пахучий след; завтра он запустил булыжником в Тимоху, послезавтра «накрыл» ябедника. Он мститель, ушкуйник. Отчаянный вносит разнообразие в скудную бурсацкую жизнь. Ему

завидуют, подражают. Среди отчаянных первый из первых — Дмитрий Трунцев. О нем уже складываются легенды. Трунцев — гордость бурсы..

Силачи делятся по разрядам. Есть первые силачи в классе, первые силачи на всю бурсу; есть вторые, есть третьи силачи. Силачей задабривают вольными и невольными приношениями. Дружба с силачом лестна, к тому же она избавляет от колотушек и насмешек. Силач олицетворяет мощь и величие бурсы. Во всем блеске и славе силач обнаруживает себя в кулачных побоищах. Кулачные бои, стенка на стенку, врассыпную происходят зимой на задах, но это только проба сил, хотя эта проба зачастую и сопровождается увечьями. Заправские бои идут на масленице либо великим постом. Тогда бурса дерется на реке с ремесленниками. Здесь-то силачи и поддерживают честь бурсы. Они должны увенчать альму матер блистательными и незабвенными победами, посрамив грозного врага. Кулачные бои начальством запрещены, но почему-то оно их всегда проглядывает, а предания бурсы повествуют даже о зрителе Спиридоне, великом любителе кулачных состязаний. Он сам стравлял через сторожей бурсаков с фабричными, наблюдал за ходом боя из квартиры и, если бурсакам приходилось лихо, Спиридон высылал на подмогу двух великовозрастных своих сыновей, семинаров. Они сходили за питомцев духовного училища и в кулачном рвении напоминали собой Пересвета и Ослябя.

...За кухней группа бурсаков, отчаянных и силачей, нагромоздила у забора пустых бочек, кирпичей, досок. Цепляясь за верхушку забора, бурсаки глазят на набережную. Город бурсакам враждебен. Обыватель бурсаков ненавидит и презирает. Бурсаки — кутейники, жеребьячья порода, вахлаки, деревенщина, вшивая команда, долгогривые дьяволы, обормоты, хапуны. Бурса платит городу ценою оцененного. Выходы бурсаков в город сопровождаются дебошами. Бурсаки обрывают звонки, опрокидывают лотки у торговок, задирают прохожих; гимназисты, реалисты подвергаются нещадным избиениям и членовредительству; бурсаки мажут чернилами и дегтем ворота, украшают заборы и стены домов всяким непотребством, вышибают стекла, выворачивают фонари и тумбы, портят деревья, воруют. Когда бурсаки ранним зимним утром идут в городские бани с узелками белья, это похоже на движение дикой орды. В страхе обыватель обходит бурсачью ораву; дворняги, поджав хвосты, тоже бегут прочь, а седой будочник только отплеивается. Баньку бурсацкую долго помнят в городе.

Обыватели травят бурсаков кобелями, угощают дреколем,

обрывают уши, науськивают на них дворников и каких-то малых с пудовыми кулачищами, таскают в часть, ругают, увечат.

...Развлекаясь на заднем дворе у забора, силачи и отчаянные запаслись мерзлым лошадиным пометом, «котятками», наделали плотных снежков, смочив их водой из кадушки, а кое-кто заготовил и булыжники. Редкие прохожие, зная обычаи и повадки кутейников, сторонкой обходят бурсу.

— Эй, кочерга с насечкой! — орут из-за забора мещанину в пальто до пят, закутанному в башлык. У него длинный нос с багровым рубцом. Бурсаки кидают снежки, снежки не долетают, но пущенный ловко из рогатки камень попадает мещанину в лоб. Мещанин отбегает и, когда считает себя в безопасности, изрыгает проклятия:

— Ах вы, свиньи супоросые, ах вы, аспиды чумовые! А еще духовными прозываетесь! И чему вас учат, окаянных, чтоб не было вам ни дна, ни крыши, пропади вы пропадом к самому Вельзевулу в преисподнюю! И чего за вами, подлецами вислоухими, начальство не надзирает? Вашим начальникам только бы дрыхнуть да жрать!..

— Крой Халдея и Тимоху!.. Ого-го-го!.. — ржут бурсаки. Краснорожие от мороза силачи Рыкальский и Мордовцев, парни с виду лет по двадцати, скалят крепкие зубы, рты раздвинуты до ушей.

— Эй, борода, я с твоей дочкой пилкой-колкой дров авчелася. Спроси у нее, ей-ей!

Мещанин спешит уйти, грозит кулаками.

Из-за угла показываются возчики с соседнего пивоваренного завода, человек семь. Между бурсаками и ими происходит перепалка:

— Эй, гужеды! Битюжники!

— Эй, кутья! Щедрин-ведрин, грудочку кашки, шматок колбаски!

— Коротки свитки — померзли лытки!

— Пономари долгополые! На тебе на шильце, на мыльце!

— Рвань бессапожая! Деревенщина-засельщина!

— Калашники! Блинохваты!..

Далее у стен духовного вертограда раздражается такая изощренная словесность, какую не вытерпит никакой печатный лист. Не сдаются бурсаки, не уступают возчики. Прохожие ажно приседают, либо раскрывают рты от удивления, а некая пожилая барыня даже помахала ручкой около носа: дюже пахучие словечки загибают.

Когда ругательства истощаются у той и у другой стороны, возникшую неизвестно по какому поводу распрю предлагают

решить кулачным боем.

— Засела, кутья, за досками, да и выхваляется. Выходи, растаковская, на улицу!..

Что же! Растаковская бурса и в этом деле не сдаст, не подкачает. Недаром у Рыкальского отец — протоиерей со львиной гривой, во времена оны от его октавы тухли свечи и дребезжали стекла в церквах. Под стать Рыкальскому и Мордовцев, тяжеловес, с бычачьей шеей, с руками раскорякой, до того его расперли мускулы.

— Идет двое на двое! — предлагает бурса.

Возчики добродушно смеются: наложат они кутейникам, но когда они видят Рыкальского и Мордовцева, почтительно примолкают. Пожалуй, кутейники не пустые нахвальщики! От себя возчики выставляют одного долговязого с обезьяньими ручищами и другого, степенного дядю с окладистой бородой. Бойцы занимают места друг против друга. С долговязым приходится драться низкорослому Рыкальскому, а со степенным дядей раскоряке Мордовцеву. Противники изучают друг друга, ни одна сторона не решается начать бой первой. По правде, биться никому не охота. Почему надо обхаживать кулачищами друг друга возчикам и бурсакам, впервые повстречавшимся? Смутное ощущение бессмысленности, глупости и жестокости предстоящего боя есть и у зрителей и у бойцов. Больше других это, повидимому, чувствует степенный мужик. Он с сомнением поглядывает на кожаные рукавицы, расправляет усы, мнетя; наконец, снимает шапку, истово крестится, после чего делается более уверенным в себе. Следом за ним крестятся и другие бойцы.

— Начинай! — кричат бурсаки из-за забора.

— Начинай! — подзадоривают возчики Рыкальского и Мордовцева.

— Начинай! — отвечают им бурсацкие бойцы.

Стороны медлят. Зрители выражают нетерпение, подбадривают противников криками, ругательствами. Первым вступает в бой долговязый. Он бьет протоиерейского сына в грудь. Рыкальский, не покачнувшись, отвечает размашистым ударом по левому надплечью. Но ему трудно доставать долговязого; в этом у долговязого заметное преимущество. Степенный бородач начинает бой вяло и так же вяло машет кулаками и Мордовцев. Они скорее балуются, шлепают друг друга будто по заказу, добродушно, между тем долговязый и Рыкальский бьются уже по-настоящему. Рыкальский не может достать как следует долговязого и от этого нападает на него все яростней. Долговязый теснит Рыкальского. Бурсаки от волнения и любопытства сидят уже верхами на заборе, вытаскивая гвозди на

нем и всячески подбадривая своих силачей. Ломовики следят за дракой деловито и сосредоточенно, хлопают рукавицами по полушубкам, поправляют шапки. Вдруг из-за забора раздается крик: — «Тимоха! Тимоха!» — Бой прекращается, Рыкальский и Мордовцев стремглав несутся к забору. Возчики поддаются испугу бурсаков и, не понимая в чем дело, гурьбой бегут к воротам пивоваренного завода. Улепетнув от Тимохи, Рыкальский искренно сетует: не удалось отделать долговязого.

В три с половиной часа бурсаки берут кипяток. Куб давно не лужен, вода мутная, с песком, отдает глиной. За столами слышен бурсацкий жаргон: отшил, очебурел, взьефантулил, взбутитенил, спасаюсь, получи с Лунца, казнетащ, оптяга, китяга, кирдюк. Много блатных слов: карась, бока рыжие, малина. Некоторые в бурсацком диалекте доходят до изощренности, и постороннему человеку их не понять.

В углу чаевничает ростовщик Костицын. Он — тих, опрятен. У него привычка облизывать нижнюю губу. Ссужает он бурсаков деньгами с осмотрительностью и лихву берет злодейскую. — «Я дам тебе двухгривенный, а через неделю отдашь мне четвертак, согласен?» — «Согласен», — угрюмо бурчит должник; ему срочно надо уплатить карточный долг; бурса к этим долгам ревнива. Костицын дает в рост также перья, карандаши, писчую бумагу, тетради. Его ненавидят, не раз бивали, но обойтись без него нельзя. Костицын все это знает, держит себя спокойно и скромно, он вынослив, терпелив, прилежен, но науки ему даются с трудом.

...В сумерках надсадно дребезжит звонок к вечерним занятиям. Бурса усаживается зубрить уроки. Зубрят самозабвенно, с ожесточением. Вот второклассник Метелкин. Он зажал уши, закрыл глаза, повторяет: — «и продолжать до тех пор, пока деление получится без остатка... пока деление получится... пока деление... пока получится остаток... пока остаток получится с делением...» — Бурсак открывает глаза, бессмысленно пялит их на парту, приходит в себя, встряхивается, заглядывает в учебник, с новым прилежанием и упорством твердит о делении и об остатке. Сосед его будто произносит заклинания или отгоняет от себя нечистую силу, а рядом с ним Бессонов дергает себя за вихры и старается перекричать сверстников. Бормочут под нос скороговоркой, нельзя разобрать ни одного слова, шевелят беззвучно губами, стеклянными глазами глядя на потолок; поют нараспев, вычитывают, точно молятся, кричат, кого-то убеждают, прижав ко груди руки, — спорят, ругаются. Это все зубрят. Один всхлипывает и задыхается; другой раскачивается, подобно еврею в синагоге; третий мычит. На задней парте протяженно сложенный камчадал после каждого вычитанного предложения,

дойдя до точки, грохает так кулачищем по доске, что его приятель вздрагивает всем телом. Через парту бурсак водит пером по тетради, но кажется, что перо водит бурсаком; язык у него вывалился, двигается направо, налево. Сидят в столбняках. Иным трудно привыкнуть к гаму и ору, они мучаются, растирают виски, ломают руки, сучат ногами. Занятия похожи на радения. И бурсаки — не бурсаки, а лунатики, сомнамбулисты. И класс — не класс, а странный, заколдованный мир. Учебники — черные книги с магическими знаками и заклятиями. И неподалеку бродит колдун Халдей, помесь нетопыря с бульдогом. Еще недавно бурсак был подростком; в глазах у него мелькала осмысленность. Но он склонился над странными знаками и человеческое, житейское в нем исчезло: глаза потеряли выразительность и блеск, помутнели; что-то каменное, тупое легло на лицо. Мертвая ли маска, или еще живой то человек?.. И сколько таких оболваненных, заколдованных ежегодно распускается по стране родной! И сколько страшных дел можно с ними и через них понаделать!..

Много, читатель...

...Скуластый бурсак зубрит:

...— Златокovanную трубу, догматов пучину неисчерпаемую, церкви утверждение, ум небесный, премудрости глубину, чашу всезлатую, напояющую реки учения медоточивых, песенно воспоем...

Замысловатый тропарь кажется бурсаку тарабарщиной.

Напрасны труды и его приятеля понять тираду из Сирина:

— Многая простота есть удобо превратна; страха убо потребна есть человеческому естеству, да пределы послушания еже к богу сохранил.

Бурсак Медиокритский потеет по церковному уставу над служебником:

— «Чин священный литургии:

...Священник же, вложив святое копие от косвенный десных страны просфоры, взимает святой хлеб, глаголя сице:

— Яко вземлетсЯ от земли живот его.

И положив „и“ взнак на святем дискосе, рекшу диакону:

— Пожри, владыко!

Жрет его крестовидно, сице глаголя:

— ЖретсЯ агнец божий...»

Одно положительное свойство приобретают бурсаки: юмор и выносливость.

...Дежурного Кривого сменяет надзиратель Красавчик. Он и в самом деле красив, но и противен тоже: высок, строен, курчав, сочные губы, отвислые выпуклые глаза с поволокой. Красавчик —

ставленник Халдея. Заложив руки за спину, Красавчик обходит классы. Во втором классе внимание его задерживается на Никольском.

Красавчик тихо ему говорит:

— Выйди из класса.

Никольский, нервный и подвижной бурсак, тонкий, хрупкий, с огромными ресницами, поспешно встает, обдергивает обеими руками куртку, ни на кого не глядя, выходит. Вослед шепчут:

— На исповедь!.. Исповедываться!..

...Зубрежный бурсацкий пыл поостыл. Дежурные четвертокласники следят, чтобы бурсаки «не лешничали», но где же усмотреть за всеми, да и время клонится к ужину. Понемногу бурсаки от скуки развлекаются. Один дает пинка соседу, и под партой идет скрытая, но злая возня; другой вырезает на боковой стороне парты вензель; играют «в поддавки», делают из бумаги кораблики, галок; читают запрещенные книги: романы Жюль Верна, Майн-Рида, Купера; книги держат под партами и все время косятся на двери: не подкараулит ли надзиратель или сам Тимоха. Иные развлечения дики. Бурсак Плетневский крепко-накрепко зажимает себе нос и рот. Глаза пучатся, наливаются кровью, бурсак синеет, но сдается тогда, когда его готовы охватить огневые вихри, а голова разбухает и чуть не лопається вместе с сердцем. Сосед его ожесточенно ковыряет и давит прыщи, размазывая кровь по лицу. Некий Аквилонov вычесывает вшей и пробует их зубами. Александр Рождественский поражен открытием: зубрил греческие слова и узнал: алексо — означает побеждать, анир — андрос — муж. Александр — победитель мужей. Рождеством он докажет родным свою ученость. Пименов склонился над учебником и что-то бормочет: со стороны можно подумать — зубрит урок; на самом же деле в тридцатый, в сороковой раз он повторяет: нос играмус на ледамус, миги капут камень проломил (помесь латыни и русского: мы играли на льду, камень проломил мне голову). Сидят вразвалку: что дальше делать с собой? Все надоело! Бурсак Семирамидов вытянул ноги под партой, скрестил на груди руки, старается увидеть кончик носа и выпяченную нижнюю губу. Троицкий внимательно созерцает козулю, нюхает, пробует на язык. Неподалеку от него бурсак старательно и с серьезным видом гримасничает: покажет язык, скосоротится, прищурит глаз, свернет на сторону нос. Корыстылев, мелкотравчатый и тихоня, бросает кругом подлые и нагловатые взгляды: он наушничает Красавчику, готовит очередной донос.

В перемену бурсаки табунами с гиком и топотом заполняют коридоры и раздевальную. Скрипят половицы, клубится пыль, пол

в грязных отметилах. От рева, от возни мигают лампы. Отдых бурсаков похож на погром.

В разгар игрищ, ржанья, посвиста около учительской вдруг делается тихо; тишина распространяется быстро по коридору и классам. В чем дело?

— Трунцева привела полиция... Трунцева притащили селодошники!..

У дверей учительской давка. Окруженные бурсаками, с ноги на ногу переминаются два будочника. Один почти старик, дубленый, корявый, ко всему, видно, привычный, сердито шевелит усищами; придерживая шашку, он исподлобья оглядывает бурсаков. Другой будочник — молодой, в веселых морщинках около глаз, тербит негустую бороденку. Между будочниками — Трунцев. Он засунул глубоко руки в карманы пальто с поднятым воротником, постукивает каблуками сапог. Вместо казенной шапки с круглым и ровным верхом на нем почему-то чужой серый картуз, низко надвинутый на лоб. Выбиваются пряди кудрей, светлых и тонких. Трунцев по привычке улыбается слабой, неопределенной улыбкой. Он молчит. Молчат и обступившие его бурсаки. Между ними и Трунцевым уже преграда. Охота узнать, почему Трунцева привели городовые. В бурсе такого происшествия не запомнят; что он набедакурил, где пропадал больше суток? Но поговорить с Трунцевым мешают будочники, да и сам он не склонен к разговору. Изредка он проводит рукой по подбородку, трет переносицу и не очень-то обращает внимание на толпу бурсаков.

Яков уже успел сбегать за Тимохой, и тот, накинув на плечи пальто, грузно вваливается в коридор.

— Разойдись! — распоряжается он зычно, вклиниваясь в толпу и грубо ее раздвигая.

Бурсаки пропускают вперед Тимоху; кольцо смыкается. Тимоха в упор разглядывает Трунцева, точно гадину. Трунцев спокойно выносит его взгляд. Рывком Тимоха открывает дверь в учительскую:

— Ведите сюда!

Будочники с Трунцевым следом за Тимохой скрываются в учительской. Бурсаки гудят. Красавчик гонит их в классы. За учебники долго никто не берется. На все лады обсуждается происшествие. Видели, Трунцева провели в карцер, в угловую мрачную комнату, где стоит одна койка с тощим матрацем. У карцера дежурит Яков. Тимоха и Красавчик ведут себя загадочно и зловеще. Бурсаки ожидают развязки.

Ужин проходит тихо. Красавчик щупает взглядом бурсаков: не готовит ли бурса какого-нибудь очередного подвоха? Но

бурсаки ведут себя смиренно.

Промежуток между ужином и сном, час с четвертью, самый желанный. Ночь охотно покрывает бурсацкие грешки и проделки. В этот час можно забраться в кладовую, в подвал, набить карманы морковью, можно заманить наушника, подшивалу в темное место и там отлупцевать его до бесчувствия. Еще лучше — затеять на дворе между штабелями дров целое сражение, партия на партию, после чего бурсаки ходят со шрамами и синяками. Нетрудно также выбраться за ворота, сбить с ног салопницу, барыньку из благородных, надавать оплеух первому встречному гимназисту. А разве плохо, приметив дежурного в конце коридора, орать с другого конца что есть мочи: — «Кривая сопля!.. Марфуткин муж!..» — и прятаться за выступ стены? Когда же надзиратель погонится, следует со всех ног улепетывать, так что сердце готово вырваться из грудной клетки. Мало ли еще что можно сделать!

Ночь темна, бурса неугомонна и изобретательна! Этого у нее отнять нельзя.

Самым занятым и новым, пожалуй, является «стояние» в церкви. Неведомо откуда второклассники добыли от нее ключ. Церковь помещается над столовой. После ужина группа бурсаков тянет жеребок, того, кто его вытянул, запирают в церковь, и он должен минут десять простоять там пред алтарем. В церкви — нежилая тишина, шорохи, чудится чье-то присутствие. Ночная тьма одела грозные лики святых. Еще хуже, еще страшней в лунные ночи: сквозь окна неживой свет падает туманными столбами; мерещатся мертвецы. У бурсака прыгает челюсть. С божьбой, с клятвами рассказали ему: в церкви бродит привидение в саване и все чего-то шарит руками. Если зажечь одному свечку, потушить ее, трижды прошептать: — «Отрекаюсь от всех святых и от божьей матери! Преисподняя, откройся!» — если дальше на левой пятке сделать вокруг себя семь полных кругов и сразу поглядеть направо, — то непременно явится привидение, и тут уж не зевай! Закрывай поскорей лицо руками и не помедли сказать: — «Аминь, аминь, рассыпся!» — Иначе будет тебе очень худо. Тайну знают немногие, пять-шесть бурсаков; они-то и отваживаются ходить «на стояние». По возвращении из церкви полагается двенадцать раз прочитать «богородицу», и грех отречения как рукой снимается. Проверить, отрекается ли бурсак в церкви, нельзя; полагаются на бурсацкие клятвы. Сегодня жеребок выпал Коле Благодатскому. Коля Благодатский после стояния выходит из церкви молчаливый и зеленый, на вопросы отвечает не сразу. Отрекался ли он? Да, он отрекался. Видел ли он привидение? Он видел привидение; привидение с бородищей до земли; привидение громко вздохнуло и скрылось в алтарь

сквозь закрытые левые врата. Ребята хотят посмотреть и побывать сообща сейчас же в церкви. Что же, это следует сделать, это будет даже всем любопытно: привидение оставило след, мокрое пятно около амвона, ей-богу! Пятно всех очень занимает. Тихохонько пробираются в церковь, зажигают спичку: правда истинная: около амвона — мокрое пятно, и даже не пятно, а целая лужица. Лужица пахнет совсем по-человечьи, но ведь не даром же сказано в катехизисе: вера есть уповаемых извещение, вещей обличение невидимых. Романтика одолевает. Лужицу оставило привидение; ее все видели своими глазами. Коля Благодатский прав. На завтра уверяют: в церкви неблагополучно, кто-то в ней бродит, стучит, стонет, ляскает зубами, остался даже мокрый след. Не дай бог в это время там очутиться: сойдешь с ума подобно человеку, прочитавшему всю библию от строки до строки. Мокрое пятно испытывает ряд чудеснейших превращений, и спустя несколько дней бурса повествует о некоей Трифелии Нарцизовне Станкевич. В позапрошлом году Трифелия Нарцизовна Станкевич, неопишуемая красавица полька, бросилась в реку от несчастной и горькой любви. Неприкаянная душа утопленницы поселилась в бурсацкой церкви. Это и неудивительно: церковь от реки рукою подать, церковь никаким привидением не облюбована, и лучшего местопребывания Трифелии Нарцизовне Станкевич, пожалуй, и не сыскать. Сказание об утопленнице обрастает новыми подробностями. Достоверно, что у Трифелии Нарцизовны Станкевич был муж, купец, старик-скряга. Он держал неопишуемую красавицу в черном теле. Неопишуемая красавица влюбилась в молодца-гусара серебряные шпоры; гусар, малый не дурак до чужого добра, потешился Трифелией Нарцизовной Станкевич и был таков, ищи ветра в поле. Любовь не шутка. Волшебная красавица бросилась в реку и утопленницей бродит теперь в бурсе. На руке у Трифелии Нарцизовны — рубиновый браслет. Кровавому запястью нет цены, но достанется запястье смельчаку, если тот решится взять грех самоубийства на свою душу. Бурсаки не прочь сделаться обладателями драгоценного браслета, им ли не отомолиться! Но вот беда-бедовская, утопленницу приходится сторожить да сторожить: бродит она в глухую-преглухую ночь-полночь и все в разные сроки и часы. Ну, и страшновато, ей-ей! От страха многое может приключиться с человеком! Да, многое бывает с человеком от страха!

...Звонок спать... Порядком он, этот звонок, надоел, порядком! Нахально лез он ежечасно в уши, отрывал от приятельских бесед, от занимательных книг, от игр; гнал в классы, угрожал двойками, единицами, карцерами. Ни отдыха от него, ни срока! Только ночь спасает бурсу от назойливых, от

ненавистных звонков. Да здоровствует бурсацкая ночь, да здоровствует бурсацкий сон! Пусть спальные комнаты похожи на худшие ночлежки! Бурсаки не требовательны, бурсаки привычны. Подумаешь, какая невидаль! А ото вшей делается ровно теплей: давно замечено, вши согревают.

В последний раз Красавчик проходит между рядами коек. Шум затихает. Сон, славный сон материнской рукой отгоняет от бурсаков дневные огорчения. А их много, не перечесть...

Засыпают не все. Из дальнего угла спальной доносится шопот: режутся в банчок. Койки сдвинуты, бурсаки полулежат голова к голове. Сдержанно звенят медяки. Лишь только скрипнет дверь, игроки поспешно хоронят карты, натягивают на себя одеяла.

И они уgomонились... Двенадцать часов... — Летают snyмучители над грешными людьми и ангелы-хранители беседуют с детьми... — Запропалились куда-то ангелы-хранители. Нет, бурса ангелов не привлекает, хотя Тимоха и старается снискать их расположение!..

...Недалеко от мерзлого окна с мокрым подоконником робко приподнимает голову Миша Алексеев, мальчик лет тринадцати. Он пристально вглядывается в бурсака Лесковского; Лесковский спит через койку; недавно он перевернулся с правого бока на левый и на щеке его от жесткой соломенной подушки — алая сетка. У Миши — худая шея, острые ключицы, хрупкие, девичьи черты лица измазаны грязью, около ушей болячки. Миша сбрасывает одеяло и босой, крадучись, ползет между койками к Лесковскому, склоняется над ним и долгим взглядом ласкает его. От страха, что его, Мишу, могут заметить, от боязни разбудить Лесковского Миша еле переводит дыхание. Асфальт леденит колени; рубашонка сползла с плеч. Лесковский посапывает. Он крепкий здоровяк, и даже бурсацкие хлеба ему на пользу. Миша оглядывается во все стороны и трепетными губами целует откинутую в сторону руку Лесковского. Миша не замечает ни грубого и животного выражения лица его, ни черных каёмок ногтей на пальцах, ни сорного, загаженного пола. Поцеловав руку, Миша осторожно возвращается на свою койку; но долго еще он не спит, вздыхает, ворочается под одеялом. Миша ждал ночного времени весь день, думал о нем с замиранием сердца; больше двух часов он боролся со сном.

Что же все это означает?

Бурсаки то-и-дело между собой ссорятся, мирятся, «отшивают», «пришиваются». Бурса — полузакрытое учебное заведение. «Отшивают» из-за мелочей, из-за вздора. Сегодня друзья-приятели, водой не разольешь, а завтра, глядишь, не могут

мимо друг друга пройти, не подравшись. Разоблачают, раскрывают доверенные тайны, плетут небылицы, возводят напраслины, не скупятся на самые лихие прозвище. Идут дни, идут недели. Давно уже забыты причины и поводы к раздорам и распрям, а взаимная ненависть не убывает. «Отшивание» захватывает других бурсаков. «Отшивают» тех, кто продолжает «водиться» с недругом, отшивают за нестойкую поддержку, отшивают так себе, здорово живешь, ни за что, ни про что. Делятся на группы, на кружки. Идет беспощадная, мелкая, изнурительная война; подсиживают, обличают в изменах и преступлениях. Еще проходят дни, еще проходят недели. Враги охладели, группы и кружки рассыпались, возникли новые, и вот — вчерашние недруги уже ходят в обнимку, делятся перьями, карандашами, пышками и уже не чают друг в друге души...

Болезненно пышным цветом распускаются также всякие преклонения и обожания. Бурса презирует «нежности», бурса жестока, неумолима ко всякой мягкости, к «сентиментам». Сурово она стирает напоминания о доме, о родных. О девушках и женщинах бурса говорит с изощренным похабством. Но природа, но детство, но отрочество берут свое. С давних, с незапамятных пор укоренилось в бурсацких стенах институтское обожание. Миша Алексеев обожает Лесковского. Лесковский года на два старше Миши. Он — солист, знаменитость, баловень. Ему прощаются шалости. Он может плохо ответить урок, и это сойдет ему с рук. В престольный праздник архиерей дарит исполатчику Лесковскому рубль и благосклонно допускает его приложиться к белой пшеничной руке. Лесковский метит быть первым тенором в архиерейском хоре, где он затмит легендарного Шербенко; а пойдет во священники — ему обеспечен доходный городской приход. И Лесковский привык к почету, привык считать себя выше бурсацкой посредственности. Мишу Алексеева он только терпит. Миша угождает Лесковскому, отдает ему гостинцы, готов для него на все. Долгое время Миша следил за Лесковским, искал повсюду с ним сближения и в день, когда они прошли впервые вместе по коридору, Алексеев не знал, куда деваться от наплыва чувств. Скоро рождественские каникулы; Миша думает о них с тоской: бурса ему опостылела, но целых две недели он не увидит, не услышит Лесковского. Обожание свое Миша тщательно скрывает, охраняет от дурного и озорного бурсацкого глаза. Он ревнует Лесковского. Случилось, Мише показалось, что Лесковский подружился с одноклассником Синайским больше, чем с ним. Миша не выдержал, задичился, всердцах отозвался пренебрежительно о голосе Лесковского. Лесковский «отшил» Мишу. У Миши сухо и мрачно заблестели глаза, он похудел, стал

получать двойки. Лесковский сделал снисходительную попытку помириться с Мишей. Миша, мягкий и скромный по натуре, обнаружил неожиданное упрямство, на примирение не пошел и даже послал Лесковскому записку; в ней он сообщал, что между ними все «покончено навеки вечные». Отправив записку, Миша в вечернюю перемену одиноко бродил по бурсацкому двору, не замечая, что у него обмораживаются уши и посинело лицо. Из-за угла, из-за колонн, в полутемных коридорах он следил за Лесковским, сторожил его в столовой, в классах и на груди своей носил листовку с нотами, подарок Лесковского. Он иступленно мечтал о дне примирения с Лесковским; а иногда готов был на него обрушить любые бурсацкие напасти. Он уже отведал муки ревности, власть ее над собой, унижительную и ядовитую тоску, сладость самоистязания и приступы горького одиночества...

...Порою в бурсе происходят диковинные истории!..

...Ночь Дмитрий Трунцев проводит в карцере под стражей. Николаевский ветеран никого не подпускает к Трунцеву и на вопросы либо отмалчивается, либо гонит бурсаков прочь.

На утренней молитве пред классными занятиями появляются Халдей и Тимоха. Они совещаются у свечного ящика. К концу молитвы Яков и его сослуживец по раздевальной Иван вводят Трунцева. Быть недоброму. Трунцев спокоен и только немного бледнее обычного. Он недавно умылся, волнистые волосы со старательным пробором еще влажны. Он переминается с ноги на ногу и скучает. После молитвы Тимоха, пошарив руками в глубоченных карманах брюк, приказывает Трунцеву:

— Подойди ближе! Сюда!

Трунцев неторопливо подходит к Тимохе в сопровождении сторожей. Они держатся конвойными. Позади Тимохи растопырил уши Халдей. За ним ищейками выглядывают надзиратели. В дверях Хабиб, Баргамот, Артамошка-Самовар. Бурсаки застыли ровными рядами. Тимоха похож на индюка; он пыхтит, надувается, жует губами, поднимает правую руку и, показывая на Трунцева, торжественно, даже слишком торжественно изрекает:

— Вор и последний негодяй... Запятнал училище позором! Тебя приютили, тебя кормили, одевали, обували, а ты, что ты понаделал?..

Тимоха делает паузу, набирает в рот слюны, крепкий и острый кадык, несмотря на передышку, продолжает ёрзать, лицо покрылось пятнами, волосы стоят торчком. Трунцев искоса наблюдает за Тимохой, и со стороны даже трудно догадаться, о Трунцеве или о ком-нибудь другом ведется речь. Он — матовый, белокурый, синеглазый; по лицу бродит тонкая и двусмысленная

улыбка, как будто снисходительная.

— Что ты сделал, поганец? — продолжает вдохновенно обличать его Тимоха. — Ты презрел лучшие духовные наставления, ты обесчестил свою мать. Подобно Иуде из Кариота, ты предал за презренные серебрянники. Ты действовал, как тать в нощи, и... попал, сукин сын, в руки полиции, и полиция была вынуждена представить тебя сюда, в училище. Чему учил нас Христос? Христос учил нас: тому, кто отнимет у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку... да... а ты спускаешь с чужих плеч шкуру... Можешь ли ты, негодный стервец, удостоиться рукоположения во иереи? Могут ли тебя облечь властью разрешать и отпускать грехи, если ты сам смердишь всеми смертными грехами?..

— Ирод ты, ирод бесчувственный! Статуй ты окаянный! — вдруг всеуслышание гудит сторож Яков, потрясенный тимохиной речью; мутными глазами взирает Яков на Трунцева, качает головой, лезет за табакеркой, но, вспомнив, что в церкви нюхать табак не пристало, вынимает руку из кармана и вытягивается, насколько может.

Бурсак Вознесенский, изводитель больного Савельева, шопотом делится с соседом:

— Христа-то апостолы после его смерти тоже сперли у тогдашней полиции. Не зевали, братишка! Даром, что были тихони!

Хабиб Хананеа, сверкая голой шишкой, нацелился глазом на Трунцева, готовый им убить его. Баргамот занят носом, Артамошка, повидимому, ничего не слушает. Ему все равно. А Тимоха закрыл глаза, упивается звуками собственного голоса, образами, уподоблениями, оборотами. Непомерно длинный нос его задрался кверху, сейчас отделится от лица и воспарит, кадык ходит ходуном, фалды темно-синего фрака топорщатся, крахмальный воротник лезет на уши, а грязные манжеты вот-вот сорвутся с увесистых и потных рук. Тимоха вспоминает десятую заповедь: не пожелай жены ближнего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть, у ближнего твоего; он сравнивает Трунцева с Каином, с пятнистой пантерой, с шакалом, с гиеной, пожирательницей трупов; дальше появляются динарии, драхмы, ковчег завета, Авессалом, лихва, корысть, сыны Вавилона, земля содомская, пророк Исайя, Мельхиседек, царь Соломон во славе своей и даже Пушкин с Мазепой, с Пугачевым, с Гришкой Отрепьевым. Тимоха грозит изгнать Трунцева из опозоренных им стен альмы матер и заключить его в узилище, где он, Трунцев, сгниет с последними подонками рода человеческого.

— И пусть гнусное преступление исчадия адова послужит

своевременным предостережением всем иным прочим питомцам училища, из коих многие, греха таить нечего, тоже на руку нечисты и тому, что плохо лежит, спуску при случае не дадут никакого...

Тимоха Саврасов, обаянный витийностью, даже забыл изложить, в чем же именно повинен Трунцев. Об этом бурсаки узнают позднее. Трунцев сошелся неведомыми путями с подозрительным басом из Варваринской церкви. Бас этот, пропойца и забубенная головушка, свел Трунцева с подростками, с молодыми завсегдатаями ночлежек и притонов; отроча млады всегда готовы были облегчить обывателя-ротозея от кошелька, от прочего движимого имущества и принакопленного добра. Вольные птахи, свои братишки на базарах, на вокзалах, бездомные летуны, бесшабашные бродяги в возрасте от двенадцати до пятнадцати лет, охотно приняли Трунцева в свой порочный, веселый и беспечный круг. В скором времени Трунцев сделался ихним главарем. Он ввел порядок, повиновение, пресекал споры и раздоры, и под его началом плутишки и юные мошенники свершили немало ловких делишек. Они опорожняли карманы, таскали с прилавков куски материй, вещи. Добро братски делилось. Богатая доля присваивалась варваринским басом, пособником по сбыванию краденного. С поличным шайку не накрыли, но среди грабителей, очевидно, нашелся предатель. Как бы то ни было, Трунцева и двух его приятелей накрыли в притоне. Варваринский бас тоже был подвергнут изъятию. Полиция и сыск не пожелали предать дело огласке: банду как-никак возглавил питомец духовного училища; в некотором роде соблазн. Трунцева сдали бурсацкому начальству, а варваринский бас и двое сорванцов успокоились на съезжей...

...Тимоха заключает обличение в полном раже. Бурсаки впились в Трунцева сотнями глаз. Что-то он скажет, как поведет себя? С виду Трунцев безучастен. У него детски-припухлая верхняя губа с нежным, еле заметным пушком, наивная и своенравная. Глядя на нее, никак не поверишь рассказам про воровские подвиги и про дерзкие ограбления. Вздор, выдумки!

В тот самый момент, когда Тимоха грозит напоследок беспощадными карами и вечным острогом, Трунцев осторожно гладит рукой по волосам: хорошо ли пробор лежит. Тимоха Саврасов замечает эти его движения, круто обрывает заключительные слова, делает шаг к обвиняемому и с явным глумлением глядит на его пробор. Тимоха не выносит «модников». Разве подходят светские финтифлиги тому, кто готовится во иереи? Нет и нет! Будущий иерей должен соблюдать примерную скромность и в своей наружности. И неугомонный

блудитель духовного благонравия безжалостно разрушал на бурсацких головах зачесы, польки, бобрики, отбирал зеркальца, гуттаперчевые воротнички, а за танцы и пляски сажал в карцер, хотя бурсаки не без знания дела и приводили в пример царя Давида, который «скакаша и играша» вокруг кивота завета... Положительно у Тимохи была страсть преследовать мало-мальски опрятное!.. Протор Трунцева и то, что он приглаживает волосы, несмотря на пылкую обличительную речь, повергают Саврасова в негодование. Приблизившись к Трунцеву, он презрительно щурится, кривит ижицей рот:

— Ишь, прилизался, кавалер, телячьи ноги! Может у вас («у вас» для иронии) и помадка ворованная найдется?..

Тимоха держит руки на вспученном брюхе, озирает Трунцева притворно-удивленным взглядом; помедлив, он красной шершавой ладонью путает на его голове волосы. Но едва успевает он провести рукой по ним два-три раза, происходит нечто неожиданное. Трунцев с силой сбрасывает с себя тимохину руку, быстро отступает назад и еще более быстрым и ловким движением выхватывает из кармана брюк складной большой нож. Он открывает лезвие. Нож сухо щелкает. Нож странной кривой формы, сделан точно нарочно, чтобы вспарывать животы. Трунцев мгновенно преображается. Он налит дикой, бешеной силой, лицо искажено судорогой; нет больше наивной по-детски припухлой губы, она перекошена, дрожит и дергается; рот тоже перекошен; глаза круглые, неистовые, белки прыгают. Трунцев втянул голову в плечи, правая нога выставлена вперед; рука с ножом окостенела. В церкви пахнет ладаном. Лики икон измождены, бесстрастны. Ряды бурсаков невольно подались к Трунцеву. Слышно, как вырывается сдержанное дыхание. Тимоха Саврасов прячет сброшенную руку за спину, что-то говорит Трунцеву одними губами, слов не разобрать. Трунцев обнажает влажные, сверкающие зубы, сдавленно хрипит:

— Не подходи!.. Гадина!..

Между ним и Тимохой — поединок. Они вонзились друг в друга глазами; столкнулись целые миры. Тишина... Взгляд Тимохи тяжел; он привык, чтоб ему повиновались. За Тимоху века рабства, унижения, муштры. За Трунцева — вольница, готовая на все, юность, уже трагическая, жизнь, с легкостью брошенная в притоны и в вертепы, бездомная удадь, бесшабашность, ненависть. На Трунцеве сосредоточены сотни бурсацких глаз; его сверстники, его товарищи жаждут, чтобы победителем в поединке остался Трунцев. Бурсаки надеются, восхищаются, боятся за него. Не следует обманываться этими точно примороженными к полу застывшими рядами: поистине здесь бушуют бури, кипят пучины.

Все прошлое, потаенное, все обиды, унижения требуют возмездия; и все это сосредоточивается пока в одних напряженных глазах. Из них на Трунцева исходит незримая, но властная сила. Ни бурсаки, ни Трунцев ее не сознают, но Трунцев весь покорен ею. Он исполняет волю многих. Он делает, что они хотят... Взгляды Тимохи и Трунцева все не могут разорваться. Тишина... Тишина!.. Тимоха моргает, в его глазах что-то тухнет, он отводит их в сторону, отступает боком куда-то направо, к свечному ящику. По бурсацким рядам, точно по листьям, тронутым сразу налетевшим ветром, проносится один огромный вздох.

За окнами — зимние просторы, река, большак, туманно-синие леса. Свежо и здорово пахнут снега. И на мгновение нет погибельных, постылых стен, подвала в решетках, начальства, докук, уроков, кондуитных книг. Все это кажется злыми неправдоподобным навождением. Это — не настоящее, настоящее за окнами: там — мир, жизнь, звезды, земля отцов, дали, поля, лесные заставы. И все это рядом, рукою подать. Все это придет, обстанет; стоит только не поддаться навождению, взмахнуть ножом и, если уже на то пошло, взять да и всадить этот нож кому следует по самый черенок!

...Халдей уставил оловянные буркалы на Трунцева, растопырил уши и руки. Он гнусавит:

— Хватай его, хватай!..

Бурсакам видна неподвижная, мертвая спина Халдея, кривые, толстые его ноги, голова, наполовину ушедшая в плечи. Сторож Яков неуверенно приближается к Трунцеву, сопит, топчется на месте. Трунцев опять щерится, нож держит наготове. Герой турецкой кампании делает движение в сторону Трунцева, но, вместо того чтобы его схватить, скребет седые редкие волосы на затылке, бормочет:

— Сейчас этта мы его скрутим!.. Однова дыхнуть!..

Говоря это, Яков отодвигается от Трунцева и начинает кругом него мелко семенить ногами.

— Сейчас это мы тебя... как пить дать!.. Ах ты, нехристь! Ах ты, басурман лихой!.. Эй, Иван, заходи справа!.. Не зевай!.. Не ровен час, полыхнет ножиком!.. Видал я таких!.. Таким все нипочем...

Сторож Иван, малый лет тридцати, только пучит на Трунцева глаза и с места не двигается; он будто даже и не слышит, что говорит ему Яков.

— Заходи!.. — командует Яков, размахивает руками и утирает нос.

— Не тронь! — звонко предостерегает ветерана Трунцев, когда тот делает новое неуверенное движение в его сторону.

Яков опять торопливо расширяет круги, продолжая невнятно бормотать о бедокурах, об охальниках, о душегубах и о том, что в добрую старину таких отчаянных, таких вертопрахов никогда и в помине не водилось.

Трунцев уже пришел в себя, успокоился. Он внимательно оглядывает Тимоху, Халдея, бурсаков, преподавателей. По лицу его бродит обычная для него, неопределенная, лунная улыбка. Подождав еще, он прячет нож и направляется к выходу. В дверях на него набрасывается группа сторожей, их успел для подкрепления привести Кривой. Бурсаки видят и слышат, как сопят и возятся вокруг их товарища, как прижали его к стене, схватили и крутят назад ему руки, как ражие, злые служители суют ему кулаками в бока, рвут на нем одежду и волочат его по лестнице в карцер, пытая и ругаясь. Ряды бурсаков сломились, подбородки одеревянели, руки мнут пояса, но приходится стоять на местах.

... — Молиться!.. Дежурный, повтори молитвы!..

Халдей быстро подходит к аналою, толкает дежурного в плечо, знаками подтверждает распоряжение.

Изумленный дежурный поправляет на аналое покрывало, долго откашливается, перелистывает молитвенник, неуверенно повторяет нараспев утренние молитвы и кафизмы. Халдей впереди всех широко и истово крестится и набожно глядит на иконы. Оттопыренные уши просвечивают, щеки обвисли, нижняя челюсть резко выступает; настоящий бульдог перед алтарем. Он кладет земные поклоны. Следом за ним земно молится Тимоха. За Тимохой на колени опускаются бурсаки, преподаватели, Яков, Иван, надзиратели. Часть бурсаков молится с недоумением, другие молятся оттого, что напуганы расправой над Трунцевым; некоторые шепчут молитвы за Трунцева, желая ему легче перенести неминуемые беды. У Тимохи лицо просветленное, строгое. Он опускается на пол тяжеловесно и солидно, подолгу лежит на нем и медленно приподнимается. Бурсаки утверждают: во время лежания Тимоха следит, набожно ли ведут себя «чада»; именно с этой целью он широко раздвигает ноги и помещает между ними голову; не совсем это удобно инспектору проделывать акробатические упражнения, но на что не пойдешь ради верной службы!

...— И тебе славу и благодарение и поклонение воссылаем, отцу и сыну и святому духу, ныне и присно и вовеки веков...

Халдей, положив последний поклон, стоит некоторое время истуканом, заложив руки за спину. Ждут, что он скажет.

— Фьють по местам! — необыкновенно выразительно и с присвистом командует Халдей и первый, ни на кого не глядя,

направляется к выходу, попрежнему с заложенными за спину руками...

В классах на первой перемене Тимоха оглашает решение училищного совета: Трунцев за воровство и прочие позорные деяния увольняется без балла поведения, следовательно без права поступления в другие учебные заведения, иными словами, с волчьим билетом...

...Трунцев уволен, но он все еще содержится в карцере. Почему же не отпускают Трунцева? Он — круглый сирота, и говорят — начальство известило каких-то его дальних родственников и ждет их приезда сдать им уволенного на руки. Но ходят и другие слухи. Судьба Трунцева еще не определилась; возможно, его отправят в исправительный дом для малолетних преступников. Бурсаки ухитряются кинуть через фортку Трунцеву записку и получить от него в свою очередь эпистолию. Эпистолию Трунцев просит передать в город. Вознесенский доставляет ее по указанному адресу.

Трунцева продолжают неотлучно караулить в карцере Яков и Иван. Яков священнодействует. Он суров, неподкупен, он держит себя заправским ветераном. Об одном Яков горько сожалеет: нести караул приходится без ружья; показал бы он всем в бурсе бравую выправку николаевского солдата! Нешто теперь служба!..

Вечером после ужина Вознесенский с приятелем Денисовым через забор у кухни ведут таинственные переговоры с городскими ребятами. Ребят трое. Старшему лет четырнадцать. Лицо он хоронит в поднятый воротник пальто. Пальто выше колен, с чужих плеч, местами в желтой краске. Рванный козырек скрывает лоб и глаза. У другого паренька полы пальто, наоборот, метут снег; пальто настолько широко, что шустряга вынужден пеленать в него свое тощее тело. Третий — в серой куртке, выдавшей виды. Он повязан крест-на-крест шерстяным темным платком в дырах, а головной его убор совсем невозможно определить: шапка — не шапка, а может быть и картуз, да и за шляпу, пожалуй, сойдет!.. Ребята шопотом совещаются с Вознесенским и Денисовым, бесшумно перемахивают через забор. Бурсаки хоронят их в сарае; сарай завален хламом, телегами без колес. Приятели зарываются в сено, словно у себя дома. Главное не озябнуть: остальное приложится.

Бурсаки укладываются спать. Утро вечера мудренее. Но что подельывает служитель царю и отечеству Яков, участник героических «кумпаний»? Геройский участник «кумпаний», сказать по правде, немного устал: годы... дают о себе знать, задуй их нелегкая!.. Присел Яков на табурет и малость прикорнул. Яков даже посапывает и голова его свесилась бы совсем на грудь, не

найди она себе некой поддержки в стенке, хотя стенка и волглая. Яков обо всем рассудительно подумал прежде, чем прикорннуть. Что может случиться неожиданного? Ничего не может случиться неожиданного. Решительно ничего. Замок на дверях здоровенный, ключ у Якова. Правда, окно в карцере без решеток, но двойные рамы заделаны на славу, крепко заделаны, ничего не скажешь. Ножик у проклятого озорника отобран... Что же это, однако, ровно шебаршит там за стеной? Яков вздрагивает, просыпается, даже открывает глаза. Сколько в этой неладной бурсе развелось мышей! Развелось их видимо-невидимо, слыхано-неслыхано. Крыс куда меньше. Крысу сразу узнаешь. Крыса — она одна может устроить несудом, от нее проснешься и вскочишь, будто угорелый; либо примнится, что ворвалась цельная шайка головорезов. Мышь сходнее... Мышь скребет и скребет себе потихоньку-полегоньку, точит и точит острые зубки. Мышь — животная даже и с обхождением. Есть, например, мышь белая. Хе... хе... есть белая мышь; у болгар-шарманщиков билетики на счастье вынимает... Значит — наманер колдовки или гадалки, прах ее возьми!.. Ученая! Тоже... твари... не без божьего соизволения живут... И сколько этого живого добра понародилось, прямо страсть! И все свое место знает; все о себе хлопочет, лопочет, пропитание добывает... Кого-кого только нет на белом свете! Есть, скажем, слон, животная прямо с гору, лопоухая, хобот до земли. Смирная. Или, скажем, полосатая тигра!.. Тигра-то тигра, а что-то ныне мыши уж больно скребутся, распробестии эдакие! Служилому человеку вздремнуть бы с устатку, а они, мыши-то, тут как тут: и зачинают и зачинают подлую свою работу... Полосатая тигра водится в жарких местах, это уж да, это уж верно!.. В жарких местах сильно размаривает... И чудится воину Якову, будто сидит он в светлой горнице за дубовым столом. Всего понаставлено на набраном столе: есть тут и брага пьяная-препьяная, и мед сотовый, липовый, душистый, и водка-горлодерка, и сдобень-пирог, каких он, Яков, давным-давно не едал, — и уха налимья есть, и малосольный огурчик с укропцем. Ладно кругом. Ладно кругом, да только отчего-то беспокойно, не по себе, одним словом. Пирог он, Яков, ест, брагой-пивом запивает, а полного удовольствия нету ему. И чудится воину Якову: в ту горницу входит мертвец с бородищей, в саване, ногти у мертвеца на пальцах длинные-предлинные, синие-пресиние. Ударил мертвец зубьями друг о друга, заскрежетал и взговорил замогильным голосом — «Что же ты, Яков, такой-сякой, дурак-дураком сидишь? Сполняй свой артикул!» — Отвечает Яков стоя, руки по швам: — «Как же я, мертвое ваше высокоблагородие, могу сполнять свой артикул, ежели я без

ружья? Без ружья не выходит; без ружья солдат не солдат, а одна лишь говядина!..» — В ответ мертвое высокородие стучит костями и рыкает — «Шпицрутенев не хочешь, мерзавец? Пятьсот штук!..» — Свят, свят, свят! Да вить мертвое-то благородие — ротный начальник, господин Лебедкин. Хуже он всякого страха, унеси ты мои ноги! Дрожит весь Яков, хочет окститься и прошептать: да воскреснет бог и расточатся врази его, — но рука отяжелела, язык не ворочается, до того страшен господин Лебедкин. И все сильнее и сильнее он, Лебедкин, рыкает... И тут Яков просыпается. Нехорошо ему: даже и теперь не дает покоя господин ротный начальник. Ну, и зверюга же был, не тем его помянуть! Успокоившись, Яков в полудреме решает: мертвец — это должно к оттепели. Подумав так, геройский ветеран опять засыпает, и снов уже никаких больше ему не видится...

Под утро Якова сменяет Иван. Яков строго-на-строго заказывает Ивану глядеть в оба, галок ртом не ловить: если же мальчишка попросится до ветру, то бесприменно надо стоять возле него, а не за дверью. Парнишка аховый! Яков дает Ивану и другие полезные наставления: четверть века на царевой службе чему-нибудь да научат. Яков уходит. Иван на том же самом табурете через три минуты пускает в дело обе носовые завертки...

Не спи, казак!..

...Бурсацкий двор освещен единственным фонарем. Фонарь сеет редкий, убогий быт. Фонарь утверждает уездное захолустье, сонную одурь, грязное и скучное прозябание. Меж штабелями дров крадутся парнишки. Фонарь их нисколько не смущает. Они приближаются к фонарю, старик пытается их разглядеть: для чего-нибудь тратят же на него казенный керосин! У паренька в коротком пальто бойкие глаза, и на мгновенье под фонарем в черных его глазах блестят чудью отсветы. Старик подслеповат, но и ему видны шерстяной платок в дырках, неописуемый головной убор и уморительные веснушки; веснушек так много, что им решительно некуда деваться, они забрались в большом числе и на нос; нос все пытается их скинуть с себя, но веснушкам и горя мало, они и не думают покинуть насиженное место. Следовало старику разглядеть еще одного бродяжку, но глаз у него на это не хватает, и он успевает только заметить пальто с полами до самых пят.

Ребята шмыгают вдоль классного корпуса, исчезают в простенке между ним и домом, где живут Халдей и Тимоха. В тупик выходит невзрачное оконце. По выступам стены черноглазый карабкается к окну, тихо стучит. Открывается узкая фортка. Из фортки шопот:

— Принесли клещи и стамеску?

— Есть клещи и стамеска, товарищ! Принимай клещи и стамеску! Только скорей управляйся, товарищ! Прямо замерзли... Новостей не оберешься. Ленка трошки засыпался, а ночуем у Никулихи. Ничего: тепло, и ежа есть; отсюда к ней... Не валандайся долго!..

Черномазый говорит преважно. Не цепляйся кошкой за окно, он мог бы сойти за солидного дядю.

...Бурсакам Вознесенскому и Денисову давно бы пора уснуть, да приходится у окна следить, что делается на дворе. Занятные дела там делаются! Ах, леший их унеси! Зачем же они полезли под самый фонарь? Говорил им, около Вертепа надо шмыгать! — Ничего, сойдет: все дрыхнут, набатом не разбудишь... — Смотри, смотри! Окошко открыли! Лезет Трунцев... Вылез! Пора и нам... — На койках оставлены чучела. Мимо сторожа Осипа надо на цыпочках...

... — Как дела, Трунцев?

— Дела ничего, дела сносные! Один гвоздь очень уж досадил, насилу вытащил... Теперь бельишко подмышку, и прогревайте...

В Вертепе того и гляди нос расквасишь; а спички жечь боязно. Однако спустя малое время глаза ко тьме привыкают. Все же больше наощупь Трунцев, не мешкая, собирает вещи и белье, вяжет их в узел. Небогатый узел, и четверти пуда не потянет... Но куда запропастился Сенька с веснушками?

— Сенька! Где ты, подлая харя?

— Здеся! Работа есть!

Сенька — он прокурат, он бедовый. Черноглазый и Денисов находят Сеньку около шкафа. Ах, Сенька, Сенька! Он уже успел, шатун, вывинтить кольца с замком и примеривает себе бурсацкое пальтецо. Пальтецо сходнее, теплое, рукава только велики. Черноглазый вопрошает:

— Ты что же это, стерва, тут делаешь?

Сенька серьезно продолжает примерку.

— Смерз до самых кишек, — бормочет он и ляскает зубами. — На вате пальто.

Неожиданно выступает Денисов:

— Да ты, братишка, забрался в мой шкаф, едят те мухи с комарами! Пальто-то, вить, мое! Ей-богу!

Сенька с изумлением взирает на Денисова, если бы не темь, то было бы видно, как веснушки собрались у него в кучу на носу, точно им надо в виду необычайного происшествия держать совет.

— Да ну? Это я к тебе, значит, забрался? Потеха!

— Это ты ко мне, значит, забрался, — подтверждает солидно Денисов.

Не говоря худого слова, Сенька движением плеч сбрасывает с себя пальто, отдает его бурсаку с таким видом, точно дарит. Он — великодушен.

— Бери. Твоего мне не надоть. Стибрю другое пальто.

— С чужого коня и посреди грязи вон! — поучает черноглазый.

Не задерживаясь, Сенька подбирается к соседнему шкафу и опять орудует клещами. Кольца и замок бледно звякают. Шкаф открыт. Недурственное пальто; прямо влитое, только чуть-чуть жмет «в грудях». Денисов и Вознесенский знают, пальто их одноклассника Велигласова, но вступаться за него им не охота: Велигласов — остолоп, подлипала. Да и Сеньку жалко: не замерзнуть же ему. И уж очень потешны у него нос и веснушки. Черноглазый приятель Сеньки, однако, в нерешительности: пожалуй, не совсем это вежливо слямзить сейчас пальто: не вовремя. Черноглазый спрашивает Денисова, брать Сеньке пальто или не брать.

— Пусть тащит. Что, в самом деле, смотреть!

Сенька, впрочем, в своих правах на велигласовское пальто не сомневается. Он уже застегнул его на все пуговицы! Хорош ферт? Недурён, недурён. В руках у Сеньки шерстяной платок. Сенька немного согрелся, он доволен, он великодушен.

— Платочек-то я, пожалуй, оставлю здесь.

Он сует платок в шкаф, со знанием дела прилаживает кольца и замок. Трунцев тоже готов. Прощай, бурса! Эх, бурса, бурса!..

Ватага крадется из Вертепа. Ночь в хлопьях снега. Ночь тоже притомилась, прикорнула на задворках. Небо усталое, низкое, в плотных тучах. За рекой одичалые поля. Колокольня Покровской церкви застыла сторожевой башней; она напоминает о татарских, о половецких просторах, о лихих кочевьях, о древних становищах, о двурогом месяце над черным лесом, о мельницах и заводах, о волчьем вое и о странной судьбе русского человека. Безглагольная ночь над опочившим городом.

Бездомный подросток с тощим узлом стоит в полночь у забора в раздумьи: пойти ли на ночлег к торговке краденым Никулихе, или для лучшей страховки от лягавых податься на кладбище к знакомому сторожу?.. Город насупился, город захудалых помещиков, присутственных мест, духовной консистории, околодков, будочников, столоначальников, письмоводителей-строчил, чиновничьих вдов, запойных преподавателей, кривоглазых, кривобоких мещан, напмаженных поручиков и телеграфистов!..

Первым перелезает через забор черноглазый. За ним Сенька, за Сенькой паренек в непомерно длинном пальто. Трунцев кидает

им узел, подает руку Вознесенскому и Денисову. Им охота сказать Трунцеву на прощанье что-нибудь дружеское, значительное, но бурса разучила их говорить от сердца и души; бурса на добрые слова скуповата.

— До свиданьица! Ежели что надо... ты того... Прощай!..

Трунцев прыгает с забора на обледенелый тротуар. Сенька превосходно согрелся в пальто и мурлыкает блатную песенку. Черноглазый дает ему тумака. Сенька смиренно умолкает. Вознесенский и Денисов выглядывают из-за забора. Черноглазый не то из вежливости, не то из жалости приглашает их к себе:

— Идем, кутя, с нами к Никулихе!

— Нельзя, — хрипло отвечает Денисов.

Трунцев с приятелями скрывается за углом. Бурсаки хмуро глядят им вслед. Завидно. Падает медленно пушистыми хлопьями снег. Заметает следы, заметает стежки-дорожки. Впереди угрюмо нависла бурса. Бурсакам чудится: к мутному темному окну халдеевой квартиры приникло бульдожье лицо с оттопыренными, тонкими, в паучьих прожилках, ушами. Бурсаки спешат в спальную.

После побега Трунцева Вознесенский почему-то перестает преследовать Савельева и меньше паясничает.

Утром геройский Яков несвязно объясняет Тимохе Саврасову, что Трунцев ушёл в дежурство Ивана. Он, Яков, одна дыхнуть! — не сомкнул глаз «ни на один секунд» и слышал даже, что малый похрапывал на койке. Иван, однако, не согласен принять вину на себя. Он тоже не спал, провалиться вот на этом самом месте! Иван не из таковских, Иван свое дело знает. А вот про Якова этого уж никак не скажешь: стар стал, зубов совсем нету, скрючило всего, куда ж уследить ему!

— Я-то, брат, стар, — не сдается Яков, — да голова-то у меня на плечах. У меня, брат, крест есть за верную службу, сивая ты деревенщина! Я што наказывал тебе, когда сменялись?

— Ты много наказывал! Ты, старый чорт, дрыхнул, ажно пузыри носом пускал!

— Это я-то пузыри пускал? Ах ты, анахвема... Да я тебя, паскуду, изнистожу сей секунд впрах и навyleт!..

Распря между Яковым и Иваном, готовая перейти «в волосянку», решительно пресекается Тимохой. Тимоха свирепо заявляет, что доругаться они успеют за воротами бурсы и что лодырей он держать не намерен. Вечером Яков и Иван, товарищи по несчастью, в обнимку бредут по Третьей Долевой, оба на должном взводе. Икая, Яков поучает Ивана:

— А п-пачему ушёл? А п-пат-таму ушёл, что были мы с тобой без ружжа. Рази таковские дела без ружжа возможно делать? Ни

звания невозможно! Без ружжа «он» тебя не заботится, без ружжа начхать ему на тебя! Ружжо, оно, парень, стреляет...

Иван с усилием поднимает голову, бессмысленно глядит на Якова мутными глазами, неожиданно впадает в ложноклассический пафос, на всю улицу орет:

— Этта ты, Яков Петров, верно сказал! Ах, как верно! Ружжо, оно, брат, стреляет. Оно, брат, палит скрозь!.. Верно!.. Иэхх!.. На последнюю пятерку найму тройку лошадей!.. Иэхх!..

...Бурсак Велигласов обнаруживает в своем шкафу изодранный шерстяной платок. А пальто исчезло. Велигласов обнаруживает также пропажу двух пар кальсон, шерстяных чулок, нижней рубашки. Денисов, узнав о покраже, удивляется: неужто Сенька успел вместе с пальто «сбондить» еще и белье? Вот прокурат, вот бедокур! В руках у него словно бы ничего не было. Далеко, шустряга, пойдет, охулки на руки не положит. Ах, Сенька, Сенька!..

В бурсе только и разговоров, что о побеге Трунцева. Бурсаки ходят со смиренно злорадными лицами. Они гордятся Митей Трунцевым и исподтишка следят за начальством. Ждут очередных поучений от Тимохи Саврасова, но у Тимохи язык точно корова отжевала. Тимоха нещадно чешется, ковыряет в зубах, в носу, сопит, а толку никакого. Не помогают ни семинария, ни академия; втуне лежат духовные злаки, поглощенные когда-то в преизбытке. Думай — не думай, гадай — не гадай, а «вверенное духовное училище», питомник церковных чад, рассадник веры христовой, порядком... того... опростоволосилось, да еще как опростоволосилось-то: хороши чада! Хороши отроча млады! Возглавляют шайки громил! Что скажет преосвященнейший владыка? О чем, качая головой и посмеиваясь над кутьей, будут говорить между собой полицмейстер и губернатор? Какие слухи, подобно бурсацким клопам в жару, расползутся среди благонамеренных обывателей? И не доползут ли они, эти слушки, до святейшего синода? Наконец, куда сгинул этот подлец Трунцев? Что способен он еще понаделать? Как еще может он ослабить училище? Есть о чем поразмыслить!..

У Халдея уши еще больше оттопырились и посинели. Тупая, мертвая спина его и утром, и в обед, и вечером мелькает по коридорам, в столовой, на дворе, в классах. Халдей приметил злорадство на бурсацких лицах. В отместку он морит их стояниями на молитвах. Пусть исполняют их «по чину», без сокращений. Он требует набожности, коленопреклонений, сосредоточенности. Пусть бурсаки «горе имеют сердца», пусть каются в прегрешениях своих и чужих, пусть замаливают их!

Надзиратели Кривой и Красавчик сбились с ног.

Коринский колдует усиленно.

Хабиб Хананеа визжит и поминает кошкина супруга.

Баргамот отказался от нового квинтета.

Артамошка-Самовар запил и в классы не является.

Бурсу навестил околודок, совещался с Тимохой и, уходя, держал правую руку в кармане, будто зажал в ней нечто, весьма приятное и содержательное.

О Трунцева ни слуху, ни духу.

...Последнее сказание о Дмитрие Трунцева...

В угрюмые годы распада пришлось мне сидеть в Саратовской тюрьме. Томительные семь месяцев я отдал ожиданиям, мечтаниям о воле, случайным книгам, неторопливым размышлениям, а больше всего скуке. Меня считали опасным политическим преступником и содержали в строгом одиночестве. Жандармам хотелось судить меня и упрятать на каторгу. Это не удалось. По недостатку улики пришлось ограничиться трехлетней ссылкой в северные края. Однажды, часов в одиннадцать ночи, дежурный дядька сказал, чтобы я собрал вещи. Начинались этапные мытарства.

Меня привели в тюремную контору. Конвойные где-то замешкались. Я ждал их в пустой приемной по соседству с кабинетом начальника тюрьмы. Начальник вызвал старшего надзирателя:

— Приведи Дмитрия Трунцева...

Митя Трунцев... Я вспомнил бурсу, Вертеп Магдалины, уши Халдея, напыщенные поучения Тимохи Саврасова, вспомнил своих непутевых сверстников, побег Трунцева.

Я боялся, что скоро появятся конвойные и я не увижу Дмитрия. За окнами мятежило. В бурсацкой столовой окна тоже были забраны решетками. Бурса там, бурса здесь.

Те же каменные своды, грязь и вонь, те же безрадостные дни и ночи, те же окрики, угрозы, расправы.

Мир предстал тесным... бурса всесветна...

С кандалным звоном ввели белокурого арестанта.

— Подожди здесь, — сказал ему старший и прошел в кабинет начальника.

В арестанте я без труда узнал Трунцева, хотя миновалось около пятнадцати лет. Он изменился не сильно. Среднего роста, попрежнему был он худощав и попрежнему отмечались синие холодные глаза и детски-припухлая верхняя губа. Но глаза ушли глубоко под лоб и резко обозначались темные круги под ними. Одет был Трунцев в казенный, неуклюжий бушлат, он держал небольшой узелок. Дядьки засмотрелись на двор, где вьюга

качала фонарь. Я приблизился к Трунцеву.

— Я знаю вас, Трунцев, — прошептал я поспешно. — Мы вместе учились в бурсе.

Теребя кандалный ремень, Трунцев остро в меня взгляделся.

— Я был в приготовительном классе, когда вы бежали из бурсы.

Трунцев зазвенел кандалами, подал руку, горячую и сухую. Похоже, он меня тоже узнал.

— Вы политический?

Трунцев утвердительно кивнул головой. Отвечая на вопросы, я кратко рассказал о себе. Трунцев потирал лоб.

— А что с вами, Трунцев?

— Иду на виселицу. — Трунцев улыбнулся прежней, лунной улыбкой и провел рукой по волнистым волосам.

— Когда? За что? — пролепетал я, сразу покрываясь холодной испариной.

Трунцев просто ответил:

— Присужден к смертной казни через повешение за вооруженное ограбление. Сейчас меня вызвали, должно быть, вешать.

— Не может быть, с какой стати... — бормотал я бессмысленно. Сердце упало куда-то вниз. Стало душно, рябило в глазах, глухой шум наполнил уши.

Трунцев приподнял узелок, показал на него взглядом, глуховато промолвил:

— С вещами вызвали: не на волю же отпускают...

Узелок был завязан наспех; из него вылезал шерстяной серый чулок.

— Поправьте, выпадет, — заметил я Трунцеву и сам испугался своего голоса.

Трунцев спрятал чулок в узел.

Подбежал надзиратель, дернул Трунцева за рукав, сипло крикнул:

— Нельзя... Разойдитесь!..

— Прощайте! — сказал Трунцев просто.

Я обнял его за шею и, целуя Трунцева в теплые губы, вздрогнул от мысли о веревке, которая обовьет эту шею. Трунцев не отпускал меня. Своими губами я чувствовал трепет его губ.

— Говорят вам, нельзя... Разойдись!

Надзиратель оттащил от меня Трунцева. Из кабинета вышел начальник с дежурным помощником.

— Идем, — сказал он жестко Трунцеву.

Дверь захлопнулась.

За окнами бушевала русская метель.

Во время этапного кочевья один из пересыльных рассказал, что Трунцев с шайкой совершил несколько вооруженных ограблений: забрал кассу в винной лавке, где-то в уезде очистил почтовое отделение и при аресте, сопротивляясь, застрелил жандарма. Не принимал ли участия в шайке и Сенька с уморительными и добродушными веснушками? Об убеждениях Трунцева ничего достоверного узнать не удалось. Знакомый пересыльный предполагал, что Трунцев анархист, но не был в этом уверен. Позднее в ссылку пришли вести о повешении Трунцева. Очень вероятно, его повесили в ту самую ночь, когда мы встретились в тюремной приемной и вспомнили наше детство.

...И целовал я Трунцева тогда последним и смертным поцелуем...

...Бурса!..

Бурса — слово латинское. Бурса — кошелек, копилка.

Бурш — от бурсы.

Бурса началась со средневековых иезуитских коллегий.

Бурса на Руси известна с семнадцатого столетия.

У бурсы прочные, древние корни. Бурса развивалась, изменялась.

Наша бурса национальна.

Бурса жила в разных сословиях и учреждениях. Русское озорство, буслаевщина, хулиганство, скоморошество, разгильдяйство — все это бурса. Бурса ходила в грязи, в коростах, в парши; от бурсы разило на целую улицу мерзостью, бурса боролась со всякой попыткой к чистоплотности — все это наше, родное. Бурса воспитывала, развивала обособленность, ханжество, буквоедство, святошество, изуверство — и это наше, «расейское». Бурса помимо духовенства укрепились в канцеляриях, в судах, в управлениях, в школах, в казармах, в семьях, в дружбе, в знакомстве. Не сродни ли бурсацкому начальству и бурсакам щедринские градоправители, стряпчие, Головлевы, ташкентцы, пошехонцы, глуповцы? Передонов из «Мелкого беса» истый бурсак. Недотыкомка серая шныряла раньше в бурсе. Бурса проникала в науку, в искусство... Сколь много утруждали нас семинарским суемудрием и суесловием толстые фолианты, «труды»! О, глубокомысленные пачкуны бумаги!

Мы знаем писателей пакостников, охальников, срамников, грязных скоморохов, строчил и казуистов, неотесанных обломов. Все это бурса.

Полагаете ли вы, читатель, что Хома Брут, плененный мертвой красотой трупа, лишь по случайности бурсак? И не

заражает ли бурса человека мертвыми мечтаниями, мертвыми иллюзиями и любовью ко всему трупному? Бурса воспитывает некроманов.

Уши Халдея висели над старой Россией! Огромные, отворотительные, они подслушивали нас всю нашу жизнь!..

...Сколько бурса загубила редких, замечательных людей! Напомним только о судьбе шестидесятников:

Николай Успенский спился, зарезался.

Решетников спился.

Помяловский спился.

Левитов спился.

И еще много народа погибло до срока.

Они не знали детства, но знали бурсу.

...Молот бьёт по наковальне и получает удар, равный своему удару. Из бурсы вышли Чернышевский, Добролюбов. По силе их неукротимого духа судите о бурсацком мраке.

Незабвенные Халдей, Тимоха Саврасов, Коринский, Хабиб, Кривой, Красавчик!

Нет, не говорите: от бурсы — большая, огромная тень!

Революция вбила бурсе осиновый кол...

Осиновый кол халдеевой бурсе!..

II. Туги-душителi

НА ДЕСЯТОМ ГОДУ я принят был в бурсу. В бурсе у меня отнимали деревенские гостинцы, я исполнял унижительные поручения старших бурсаков: бегал за кипятком, в соседнюю лавку, расправлялся по приказу со сверстниками слабее меня, выносил и сам частые побои. Уроки мне давались легко. Я шел вторым учеником. Тимоха Саврасов однажды похвалил меня и даже погладил по голове. Но на третьем месяце бурсацкого житья-бытья приключилась беда: я украл книгу.

У «приходящего» одноклассника Критского я украл роман Жюль Верна «Восемьдесят тысяч верст под водой», подарок отца, состоятельного городского священника. Туповатый Критский едва ли прочитал книгу, он принес ее похвалиться золотым тиснением букв на корешке и прельстительным рисунком на обложке: подводный корабль лежал в зеленых морских пучинах среди диких кораллов и водорослей, гадов. Я просил дать мне роман Жюль Верна, обещая за прочтение общую тетрадь и полдюжины перьев. Критский в просьбе отказал. Тогда я украл книгу из парты. В слезах Критский доложил о покраже Тимохе. Роман я спрятал в сундук. К тому времени я успел обзавестись на свои карманные деньги небольшой библиотекой. В сундуке хранились: «Тарас Бульба», «Страшная месть», «Дубровский», «Юрий Милославский», «Житие Серафима Саровского», лубочный песенник, беседы садовника, книга о стекольном заводе. Украл Жюль Верна, я уверял себя, что взял роман на несколько дней, после прочтения я его подкину. Скорее всего я себя обманывал.

В уборной я забрался на бак и там в пыли и паутине, вдыхая запахи нечистот, погрузился в роман, как погружался Наутилус на дно морское. Черное вольное знамя бунта и смерти утрюмо и одиноко реяло над океанскими просторами. Капитан Немо заслонил мужиков-разбойников, доморощенных Кудеяров и Чуркиных. Впервые я преодолевал родную ограниченность, оставляя прошлому топор, кистень и вилы. Они выглядели жалко рядом со стальным чародеем-мстителем. Бесшабашная повольщина, разгулы, добродушная распущенность, покорность судьбе-кручине, готовность кинуть под ноги «жисть» свою за полушку, обреченность теряли свое обаяние. Я отдавал предпочтение несокрушимо упорству капитана-анархиста, его страстям, охлажденным волей и мыслью. Очарование было непобедимое. А вечером, в часы занятий, ко мне подошел Тимоха Саврасов и повелительно молвил:

— Иди за мной!

Я пошел за Тимохой. В коридоре он объявил, что должен осмотреть мой сундук. Непослушными руками надел я пальто и, когда шел за Саврасовым в Вертеп Магдалины через двор, с отчаянием оглядывался по сторонам: куда бы скрыться.

В Вертепе я открыл сундук. Тимоха порывлся в нем и из пачки книг без затруднений извлек роман Жюль Верна. Шопотом Тимоха спросил:

— Это твоя книга?

— Это моя книга, — ответил я тоже шопотом, не запинаясь и не глядя на Саврасова.

Тимоха указал толстым, красным пальцем на подпись Критского. Удивительная беспечность! Я не стер этой подписи. На указание Тимохи я поспешно ответил:

— Я нашел книгу за шкафом после обеда.

— ...За шкафом после обеда, — передразнил Тимоха. — Почему же чужую книгу ты не принес дежурному надзирателю?

— Я хотел ее сначала прочитать.

Тимоха покачал головой, вновь наклонился над сундуком, одной пятерней зараз захватил всю мою библиотеку и просмотрел заглавия книг.

— Тебя, видно, занимает также садоводство, производство стекла и Житие преподобного Серафима?

— Занимает, — пролепетал я, прощаясь взглядом с книгами.

Тимоха перелистывал их. Как жалко, что я не капитан Немо! Взять бы Тимоху в плен, бросить бы его в холодные, скользкие объятия спрута или оставить добычей свирепым команчам, — да, это было бы совсем недурно! И смотреть со стороны, скрестив спокойно руки. — По бледному его челу струились беспощадные морщины и адская усмешка кривила его тонкие бескровные губы.

— Книгу я нашел под шкафом.

Тимоха с пачкой книг подмышкой оттащил меня от сундука к божнице.

— Перекрестись, что ты не воровал.

Я истово перекрестился, пристально глядя на икону Николая Мирликийского. Тимоха отступил на шаг и стал рассматривать меня, точно я был впервые перед ним.

— Да ты, дружище, настоящий лапчатый гусь! И презрядный! Мало того, что вор, еще и бога обманываешь...

Тимоха долго и нудно поучал меня о вреде кражи, о том, что надувать бога и его святых — черный грех, я безмолвно, не шевелясь, слушал его. Напоследок Тимоха смягчился: он знает, что я способный, иду вторым учеником и до сих пор вел себя с надлежащим послушанием. Учитывая это, он, Тимоха, дает срок до утра одуматься. Если же я и завтра стану упорствовать,

придется ославить меня воришкой на все училище. С пачкой книг, с моей библиотекой, Тимоха торжественно направился к выходу. Я побежал за ним следом:

— Тимофей Алексеич, Тимофей Алексеич!..

Саврасов покосился на меня через грузное плечо.

— Отдайте мои книги, Тимофей Алексеич!..

Тимоха издал носом непередаваемый трубный звук, презрительно промямлил:

— Может быть они тоже краденые.

Я закрыл лицо руками...

...Вечер прошел в томлениях и в темных предчувствиях. Завтра я буду опозорен, завтра на меня обрушатся насмешки, издевательства, пинки, Тимоха выведет тройку по поведению. О краже узнают мать, Ляля, родные. Признаваться, однако, в проступке я и не думал. Казалось бы, чего проще, но мной овладело ожесточение. С тоской и иступлением твердил я себе: — «И пусть, и пусть! Буду воришкой, сделаюсь последним учеником, сделаюсь отпетым! Не крал я ничего, книгу я взял только прочитать...»

...На другой день Тимоха вновь меня вызвал. Увещание продолжалось около часа. Я слушал инспектора с тупым видом, под конец еле держался на ногах, но опять твердо заявил: книга найдена за шкафом. Тимоха вытолкнул меня из учительской.

После молитвы перед уроками он произнес поучение. Среди питомцев бursы есть некоторые тихони. Они прилежны, они иногда даже идут вторыми учениками. (Красный стыд опалил мое лицо.) Эти тихони, эти вторые ученики, случается, надежд не оправдывают. Хуже того, они бывают подобны ехиднам и василискам. Напрасно они воображают себя учеными. У них есть книги по садоводству и по производству стекла, они прикидываются святошами, читают Житие Серафима Саровского. Это не мешает им, однако, забираться тайком в чужие карманы и парты, нисколько не мешает. Они, ничтоже сумняшеся, тащат все, что подвернется под руку, даже подарки родителей, приобретаемые на скромные, возможно, последние трудовые сбережения. Да, такие уроды, такие паршивцы, такие овцы в волчьих шкурах, к сожалению, есть в стенах нашего училища. Больше того: в этих стенах есть даже клятвопреступники и обманщики духа святого. Здесь Тимоха назвал меня. Я вышел по его приказанию из рядов.

— Вот он, вор, стоит пред вами. Он украл книгу у Критского и обманул бога и свое начальство... — Тимоха это сказал с притворным ужасом, указуя на меня тяжелым пальцем.

Позор отягощал мне веки. Бурсацкие ряды качались и плыли

в тумане. Чьи-то рыжие сапоги с задранными кверху носками нагло лезли в глаза. К подошве правого сапога прилипла грязная бумажка. Куда деть руки? Куда деть — красные руки? Я казался себе совсем чужим. И одежда была не моя, она была липкая и все пухла и пухла, и я тоже весь распухал. Голос Саврасова звучал в отдалении и будто за стеной:

...— Думаешь, если ты второй ученик, то тебе позволительно воровать книги! А о том ты не подумал, что это еще хуже, люди скажут: у них воры даже лучшие воспитанники...

Тимоха говорил и говорил. Я стоял перед бурсаками, не поднимая век, и пришел в себя, когда церковь почти опустела. Вокруг меня был очерчен порочный круг...

...После ужина я забрался на двор в узкие пролеты между штабелями дров и уселся на мерзлых березовых поленицах. Ночь шла в черном бархате, в могучем звездном блистании. Млечный путь, тропа небес, терялся в неизъяснимых безмерностях. Пахло опилками, березовой корой. Бурса громоздилась впереди безликим, грузным чудовищем. В темных оконных провалах угрюмо и зловеще мигали желтые огни, они не разгоняли мрака, а только сгущали его. Мерзлая земля угнетала бесприютностью. Я пропадал в позоре и в одиночестве. Все было во мне смято и уничтожено. За день я испытал столько унижений, сколько никогда не выпадало мне раньше. Я очутился на самом глубоком дне. Бурса была отвержена родной страной, городом; я был отвержен бурсой. В ушах завязали глумления: — Ворище!.. Ворище!.. Ширмач!.. — Скажите, кто это вчера спер книжку у Критского, друзья... Украдохом, упирахом, утаскохом... — В висках стучали молотки, в пальцах гнезился нестерпимый зуд, я тихо ломал руки... За мной ходили ватаги бурсаков. Вослед мне свистали, улюлюкали, меня шпыняли, щипали, задирали, давали тумачков. Когда я к кому-нибудь приближался, меня отгоняли прочь: — «Отчаливай, отчаливай, брат! Еще что-нибудь сбондишь!..» Приятели и друзья перестали со мной «водиться», «отшили» меня и вместе с другими издевались надо мной. Сосед по парте, Никольский, с кем я делился гостинцами и мыслями, объявил, что он от меня переседет; на это в классе ему ответили: никто не согласится со мной сидеть. Свой праздник праздновали и завистники, те, кого обгонял я в четверках и пятерках, кто видел во мне соперника. Мою фамилию с позорными кличками, с непристойными словами писали на доске, на стенах, в раздевальном, в уборной. Я начинал понимать, что означает итти впереди других и оступиться. Даже наиболее забитые на мне отомщали свои обиды и унижения. Старшие бурсаки приставали,

требуя подробностей, как украл я книгу у Критского. Преподаватели заставляли отвечать урок и в заключение говорили: — «Урок знаешь, но зачем ты слямзил книгу у товарища? Нехорошо, брат, совсем плохо! Непохвально!.. А еще второй ученик!..» Хуже всего было встречаться с Критским. Непереносен был его взгляд, пренебрежительный и снисходительный, его перешептывание с приятелями, его скрытое злорадство. Я презирал его и был им презираем! Это было хуже всего!

...Небо горело славой созвездий. В торжественных высотах творилась своя, равнодушная, холодная и мне недоступная правда. Кристаллы снежинок в слабых зеленых мерцаниях отражали свет нездешних, неизвестных миров. Я приник щекой к мерзлomu корявому полену. В меня влилась успокоительная прохлада. А бурса все нависала впереди неотвратимым темным роком. Да, меня окружает нечто тупое, грязное, окаянное, одичалое, — и все это безмерно далеко и от звездных россыпей, и от мерцающего снега, и от какой-то другой настоящей жизни. Бурса ко мне беспощадна. И тогда я решил драться, биться из последних сил, решил всем своим жизненным трепетом. Я уже твердо знал: если поддамся, если не выдержу, бурса меня сломит.

Так укреплялась во мне отвага.

Мороз щипал колена. Прозвонили ко сну. Ночью я долго метался на жесткой койке. Приснилось мне, будто я хоронюсь от Халдея и Тимохи Саврасова на задворках, где-то в чужих домах, в садах на базаре, за амбарами. Едва успеваю я спрятаться, как неизвестно откуда появляются Халдей и Тимоха. Настигая и хватая меня, они молчат, и от этого делается еще страшней. Я вырываюсь из рук у них, хоронюсь, но уже уверен: куда бы ни спрятаться, Халдей и Тимоха все равно меня найдут. Сначала я все никак не пойму, отчего не могу от них уйти, но потом догадываюсь: Халдеев чортова дюжина и чортова дюжина тоже и Тимох. Тоска сильней всякого ужаса сжимает сердце, я не могу тронуться с места, но тут почему-то все Тимохи набрасываются на Халдеев, начинают гоняться друг за другом. Тимохи взбираются на Халдеев, подгоняют их кнутами и скачут на них. Это очень смешно. Я хохочу сильней и сильней, смех душит меня, я не могу его сдержать и вот уже захлебываюсь, кричу и от своего крика пробуждаюсь...

Тимоха возвратил книгу Критскому, хотя Жюль Верн считался запрещенным. В последнюю перемену роман опять исчез из парты Критского. В классе произошел переполох. Критский растер глаза кулаком и ходил жаловаться Тимохе. Я со злорадством следил за Критским. Искали виновника. Тимоха

обыскал мой сундук. Я с готовностью помогал ему в осмотре. Тимоха рылся в вещах молча.

...Книгу похитил я. Сделал я это из мести и озорства. Непонятно, как ухитрился я стащить ее на глазах бурсаков и остаться незамеченным. Моя смелость на этот раз превосходила мои способности. Должно быть, я действовал с ловкостью лунатика. Томило искушение дочитать роман, узнать о судьбе морского отшельника, но читать было негде. Я разодрал роман на мелкие клочья, бросил их в нужник. Полагаю, я был в тот момент собой доволен. Некоторые бурсаки догадывались о виновнике второй кражи, но, странное дело, подозрение пошло мне даже на пользу. Кое-кто стал ко мне относиться с большим уважением. Однако другие, их было большинство, продолжали травить меня. Бурса поощряла воровство на стороне, но преследовала посягателей на бурсацкую собственность.

Преподаватели тоже не миловали меня и, хотя уроки я отвечал толково, журнальные отметки теперь мне неуклонно снижались. Я изменил поведение. Лучше прикинуться, будто ничего не случилось: стащил и стащил. Быль молодцу не в укор. Я старался превратить кражу в некое молодецкое действие... Подходили бурсаки из старших классов, дергали за ухо, либо хватили за шиворот:

— Сбондил, братишка, книжку?

— Сбондил, — отвечал я с напускной развязностью и охотно рассказывал о краже.

Получалось лихо: не успел Критский отвернуться, а я уж тут как тут: книгу под полу, только меня и видели. Рассказы украшались небылицами. В угоду бурсакам я издевался над собой, а после, ночью, на койке плотно закрывался одеялом с головой, чтобы соседи не слышали моих всхлипываний.

— Что ж, ты и потом будешь тибрить? — спрашивали меня бурсаки.

— Ничего не стоит. — Так укреплял я за собой славу заправского воришки, зная твердо, что никогда и ничего больше не украду. Самая мысль о воровстве вызывала во мне отвращение.

Перед начальством я попрежнему упорствовал. При встречах Тимоха иногда задерживал меня:

— Ученый муж, ничего еще не спер?

Я угрюмо отмалчивался, либо озираясь по сторонам и невнятно бормотал:

— Я — ничего; я учу уроки.

— То-то — уроки, — насмешничал Тимоха. — А в твоих уроках не сказано, как стащил ты книгу у Критского?

— Я ее не тащил...

— Она сама к тебе в сундук забралась. Сундук, не иначе, у тебя волшебный.

...Я забивался в какой-нибудь угол и с иступлением обрушивал козни на бурсацкое начальство, на сверстников.

Мной овладели набожность и суеверие. Мир сказочных видений переплетался с замогильными призраками.

Я усердно молился, чаще всего обращаясь к божьей матери: она казалась всех милосердней и человечней; приобрел я даже ее образок и приладил его на внутренней стороне сундучной крышки. Перед сном я старательно ограждал крестными знамениями койку, опасаясь нечистой силы. Прилежное чтение Ветхого и Нового завета сделало меня лучшим учеником по священной истории. Учитель Кадомцев, рыхлый, с отеками, слушая мои ответы, поощрительно мычал, выводил в журнале четверку и нараспев в нос говорил:

— Весьма... но предосудительно, что нечист на руку...

Я садился с видом, точно меня хлестнули бичом.

Любимым писателем в те дни сделался Гоголь. Я испытывал от него болезненное очарование. Представлялся Ивась, бедное дитя, со склоненной головой, сзади него гремел Басаврюк и безвинная кровь младенца брызгала Петро в очи... Парубок Левко видел в серебряном тумане хороводы утопленниц, у них были прозрачные тела, но у одной, у ведьмы, внутри что-то чернело... На могилах шатались кресты, перед Данилой Бурульбашем и Катериной поднимались мертвецы с ногтями до самой земли: — «Душно мне!..» Мерещился неведомый колдун... Бурсак Хома не мог отвести взора от красавицы панны в гробу: рубины уст ее, казалось, прикипали кровью к самому сердцу... Хома чертил в церкви волшебный круг, а мертвая панна уже стояла на черте, уже расставляла руки, посинелая, она ударяла зубами и открывала стеклянные очи свои...

Мир населялся ведьмами, утопленницами, нежитью. Красота была страшная, пронзительная, мертвая, я переживал что-то колдовское, какой-то сладкий ужас. Замирая, ждал неведомых свершений. За жизнью, за зримым чудилось трупное, тленное, смертное, и сам Гоголь казался чудодеем и колдуном со своим острым пронзительным лицом...

...А бурсацкая жизнь шла своим обычным чередом... Кругом все было грязное, затхлое, вымороченное, подлое... Труднее всего было просыпаться, когда еще темно и холодно, когда вспоминаешь захарканные полы, подвал, решетки на окнах, тимохины окрики, пропыленные классы, пустынный двор, забор с гвоздями, низкие серые облака, унылое карканье ворон и галок, вспоминаешь шелудивых собак на улицах, обывателей,

надоевших и самим себе и друг другу... А вставать надо... Иначе Кривой стянет одеяло, оставит без булки...

...Ждали рождественских каникул. На классных досках жирно писалось: «Роспуск!!! Роспуск!!!» Преподаватели приходили с опозданиями, уроков не спрашивали, читали «светские книги». В каникулы между бурсаками сводились главные счета. Если бурсак хотел расправиться с недругом, он угрожал: — «Придет роспуск, я покажу тебе!» — В роспуск нельзя было жаловаться начальству. Надзиратели, Тимоха, Халдей тогда не решались появляться: чего доброго, угостят кирпичом, досыта доотвала наслушаешься всякой всячины, вспомнят всех предков, даже до десятого колена, оболгут, освистят, чего возьмешь с бурс...

...Бурсацкий разгул начался после обеда. Вечером бурса улюлюкала, орала, вопила, гремела. Ватаги и шайки бурсаков носились по коридорам, по классам, по двору с лихими выкриками, с воем, с рычанием, с дичайшим ржанием; звенели, дребезжали стекла, тряслись половицы, хлопали двери... Можно было подумать: бурса спятила с ума либо подверглась нашествию и разгрому вражеских орд. На улицах обыватели с удивлением прислушивались к бурсацкому неистовству, таращили глаза, спешили обойти опасное место. Во втором классе успели исполосовать гвоздями и ножами стены: куски штукатурки белили пол. Рядом, в третьем классе разворотили несколько парт. В раздевальной состязались, кто дальше плюнет, в нужниках мочились прямо на асфальт, стояли парные лужи. Группа бурсаков, матерно ругаясь, открыто занималась онанизмом. В Вертепе Магдалины разгромили несколько шкафов. Составили оркестр: одни дубасили по столам поленьями и палками, другие барабанили руками, третьи залихватски свистели, четвертые выводили пронзительные рулады, пятые бесчинствовали, наполняя столовую сероводородом. На дворе дрались, ощупывали синяки, шишки, кровоподтеки. Мимоходом лупцевали пригостишек. Наушника Нефедова накрыли пальто и так измолотили, что он даже не мог говорить; у другого ябедника, Васильевского, утащили учебники, тетради и порванными листами покрыли пол. Четвертокласники пьянствовали на кухне со сторожами, туда никого, кроме «своих», не пускали.

Я не знал, куда, к кому пристать. Каникулы меня не радовали. Утром должна была приехать мама. От надзирателей или от Тимохи она узнает о краже, и тогда какими глазами взгляну я на нее? В сундучной одноклассник Петя Хорошавский укладывал в дорожный мешок белье и вещи. Я не дружил с Петей, но и обид от него не видал. Хорошавский уступал мне в силе. Я

подошел к нему и пнул его ногой. Петя поднялся с пола и с недоумением на меня поглядел.

— Ты зачем дразнил меня? — задирая, спросил я Петю.

Петя отодвинулся от меня.

— Неправда, я никогда тебя не дразнил.

— Нет, ты меня дразнил вчера после ужина...

Я шагнул к Хорошавскому и ударил его в грудь. Петя выставил правую руку, в глазах у него показались слезы. Я пришел в бешенство и стал бить Петю куда попало, в голову, под ложечку, по рукам. Я притиснул его к стене, он вырвался и отскочил за сундук. Задышавшись, прошептал:

— Что ты раскопляешься надо мной? Попробовал бы побить Критского, он бы тебе показал...

Я разом опустил руки. Теперь я нашел, что томило меня весь вечер. Хотелось посчитаться с Критским, но желание было темное, да Критский и не жил в бурсе. Едва я все это понял, исчезло глухое раздражение. Я пробормотал, отступая:

— Завтра непременно изуродую Критского! А ты не дразни меня больше.

Петя Хорошавский наклонился над сундуком, худенькие плечи его вздрагивали.

— Ты на меня не обижайся, — сказал я глухо и примирительно, глотая слюну. — В распуск все дерутся. — Хочешь, я помогу собрать тебе вещи? Завтра я взбутьтению Критского...

Я потянулся к мешку. Петя молча оттолкнул меня и вытер наскоро слезы.

— Меня тоже, брат, избили. Меня так, брат, избили, — лгал я Пете, — так меня отчихвостили, я прямо еле ноги унес, ей-богу!

— Уходи от меня! — прошептал Петя.

Я не уходил. После продолжительного молчания я заявил:

— Если тебя кто-нибудь будет обижать, ты только кликни меня, я его разлимоню, до свадьбы не заживет.

Тут я порылся в карманах и вынул перочинный нож.

— На, бери мой ножик. Дома у меня есть другой, еще вострей, ей-богу!

Никакого ножа у меня дома не было. Было жалко дарить Пете ножик завьяловской стали, но очень хотелось задобрить Петю. Петя поднял на меня длинные мокрые ресницы, подарка не взял... Я положил ножик на мешок и поспешно отошел от Пети. С этого и началась наша продолжительная и верная дружба. Остаток вечера я дебоширничал: в умывальной, присоединившись к другим бурсакам, наполнял жестянки водой и лил ее со второго этажа на головы поднимающихся по лестницам, после дрался на

кулачки и был изрядно побит.

На другой день я искал Критского, но он не пришел в класс, вероятно, к лучшему: едва ли я бы с ним справился. Приехала мама, мы не виделись четыре месяца, она приглядывалась ко мне с испугом. Односложно и рассеянно я отвечал на ее расспросы о бурсацком житье-бытье. Я не жаловался на него и очень боялся, как бы она не узнала, за что мне выведена четверка с минусом по поведению. Мне повезло: когда мама получала отпускной билет у Кривого, в приемной толпилось много бурсаков и их родителей, и маме не удалось поговорить с надзирателем. Плохую отметку она увидела уже в раздевальном; несвязно я объяснил: четверку мне поставили за драки с товарищами и за шалости в классе. Мама спросила, где живет инспектор. К счастью Тимоха отлучился в город, а нам надо было спешить к поезду.

Дома я изолгался. Я хвалился, будто я пою на правом клиросе альтом, выступал солистом и скоро сделаюсь исполатчиком. Подробно я рассказывал Ляле, какой на мне будет стихарь во время архиерейской службы; я выйду на середину церкви и тут все затихнет, слушая мой дивный голос. Ляля тоже хотела послушать мой дивный голос, но я боялся застудить горло. Это очень нежная вещь — первый альт. Он требует за собой ухода да ухода. Регент строго-настрого запретил мне петь на стороне — так бережет он мой голос. Нет, уж пускай Ляля лучше потерпит.

Дальше я поведал ей замысловатую историю. Шел я однажды по Большой улице и встретил карету. Из кареты выглянул важнецкий гладкий барин в лисицах и соболях. Барин спросил, где Покровская улица. Я указал ее. Гладкий барин полюбопытствовал, как меня зовут, и, когда я назвал себя, он внимательно на меня посмотрел. — «Не помнишь ли твоего крестного отца?» — «Мой крестный отец — сын генерала Унковского». — «Я и есть сын генерала Унковского; здравствуй, здравствуй, дорогой крестник!» Понятно, он меня расцеловал, и, понятно, он посадил меня к себе в карету, и, понятно, на тройке вороных мы подкатили к «Гранд-Отелю», лучшей гостинице в городе. Роскошные ковры, люстры, зеркала, картины, лакеи в золоте и в серебре... Я отобедал у сына генерала Унковского, моего крестного. На прощанье он хотел навязать мне подарки и золотой, но я отказался и от подарков и от золотого. Крестный в карете доставил меня в училище, это видела вся бурса. Меня засыпали расспросами. Да, да, это мой крестный, сын всемирно известного генерала Унковского, того самого, который держал знаменитую шапку Владимира Мономаха, когда совершалось помазание Александра III на царство. С крестным я могу побывать запросто у губернатора или у архиерея. Карета в моем

распоряжении.

Слушая эти мои сказания, Ляля раскрывала милый и непорочный свой рот и только один единственный раз отметила с недоумением противоречие: повторяя поучительную и пышную историю об Унковском, я великодушно согласился принять золотой и на славу угостил бурсаков, то-то пир был горой. Покутили порядком. Здесь Ляля несмело заметила:

— В прошлый раз ты говорил, что денег у крестного папы ты не брал, а сейчас говоришь, что ты взял у него деньги.

— Какая ты недогадливая, Ляля! — ответил я сестре без малейшего смущения. — В прошлый раз мама в кухне высеивала муку и могла услышать, что я прокутил целый золотой. Она не должна об этом знать, не правда ли?

Да, это истинная правда, мама не должна знать о грешках своего непутевого сына.

Не поскупился я на слова и перед деревенскими ребятами. Соседу Ваньке Пасхину я дотошно объяснял, насколько трудно изучать греческий язык и латынь, дальновидно умолчав, что изучают их в бурсе со второго класса. Ванька с остоленением слушал мои таинственные выкрикивания: антропос, целом, стелла. Он даже забывал вовремя рукой провести под носом. Рассказывал я также о городе, о домах в двенадцать этажей, о пальмах в городском саду, об архиерее, о зверинце. В зверинце я не успел побывать и только на афишах видел страшных полосатых тигров, похожих, впрочем, больше на наших отечественных коров, но подобные мелочи отнюдь меня не смущали. Утверждал я также, что воспитанникам духовного училища «воспрещается» (именно так я и говорил — воспрещается) водиться с Ваньками и Таньками, потому что им, питомцам, приуготован путь злачный и отличный от ванькиной и танькиной деревенщины, и, доведись Тимохе Саврасову увидеть меня вместе, например, с Пасхиным, не посмотрел бы неукоснительный инспектор на каникулы и уж сумел бы расправиться с ослушником. Тут я пугливо осматривался по сторонам, и вместе со мной оглядывался и тарачил глаза и Ванька Пасхин.

Надо было сохранить меру в гиперболах. Я не сохранил ее, и дня за два до отъезда мама с грустью промолвила:

— Смотрю я на тебя и не узнаю: точно подменили тебя. Чужой стал, одичал, лгать научился. И что только делают с вами в вашей бурсе? Не будь ты сиротой, а я — просвирней, и одного дня не продержала бы тебя в этом училище. Ты должен помнить: надеяться нам не на кого, нужно самому выбиваться в люди; а то что же это будет: не успел полгода проучиться, а уж получил

плохую отметку по поведению! И дома пред родными, тебя слушая, прямо делается стыдно.

В свое оправдание могу сказать одно: при всей своей оголтелости я часто размышлял о жизни-мачехе и о своих незадачах...

В бурсе я нашел покровителей в старших классах. Я нередко слонялся меж партами и клянчил почитать книги. Бурсаки заметили, что я знаю отрывки из «Демона», «Мцыри», баллады Жуковского и даже оды Державина. Меня причислили к «башковитым». Башковитых бурса уважала, пожалуй, даже больше, чем силачей и отчаянных. Это может показаться странным для бурсацкого быта, но это так именно и было. По-своему бурса оберегала «башковитых», ими гордилась, их поощряла, и не этим ли, между прочим, объясняется, что как-никак из мутных бурсацких недр вышло много славных разночинцев: революционеров, писателей, критиков, публицистов, ученых?

Мне помог четвертокласник Чапуров, ученик больше старательный, чем одаренный. Он брал для меня книги из библиотеки для великовозрастных, защищал от обид, насмешек и колотушек, зазывал в четвертый класс и заставлял читать стихи. Сверстники Чапунова ко мне тоже сделались снисходительными, а потому и в младших классах меня меньше стали дразнить.

Перед масляной неделей Тимоха вновь поймал меня с недозволенной книгой. Среди книжного хлама у букиниста, сухого, степенного старика, я нашел книгу рассказов Короленко. Книга сильно заплесневела у корешка, пахла затхло и кисловато. Я прочитал повесть о девочке, погибшей среди каменных развалин, о бродяге Тибурции. Повесть увлекала меня, и я втихомолку даже плакал над ней. Я проходил с книгой однажды по коридору, неожиданно на меня надвинулся Тимоха Саврасов, и не успел я моргнуть глазом, как он уже выхватил у меня Короленко:

— Откуда взял?

— Нашел в столовой под шкафом...

— Так, так... — Тимоха корешком ударил меня в плечо. — Жюль Верна нашел под шкафом, Короленко нашел под шкафом... Придумал бы что-нибудь позабористей.

Я не хотел придумать что-нибудь позабористей; хотелось позлить Тимоху.

Тимоха скривил губы и небрежно перелистал книгу.

— За такие книги, братец ты мой, за такие запрещенные книги безо всякого выгоняют вон из училища. Будешь читать этих Короленок, собирайся лучше к мамаше на полати.

Я отсидел в карцере и опять получил четверку по поведению. Тимоха прозвал меня господином Короленко и писателем. К этим прозвищам он прибавлял разные позорные клички:

— Эй ты, господин писатель Короленко, тать ночной и дневной! Ничего еще не сбондил?.. А что там написано у господина писателя Короленко про тех, у кого чешутся руки на чужое добро?..

Ах, навязло в зубах у меня тогда это чужое добро!

В первый класс я перешел седьмым по разряду, а учился вторым.

Проступок мой бурсой забывался...

...Новые огорчения пережил я во втором классе. Прибавились древние языки, трудней стало и с другими предметами. Четверки и пятерки сменились тройками, а потом пошли вперемежку и с двойками. Халдей, Тимоха, преподаватели сначала надоедали внушениями, но скоро им пришлось сажать меня в карцер, оставлять без обеда, без ужина, лишать отпусков на праздники к матери. Мама к тому времени перебралась в город. Она пристроилась учительницей рукоделья в женском епархиальном училище. По воскресным дням я приходил к ней, жадно уничтожал сдобные пирожки, выслушивал сетования по поводу моих троек и двоек, отмалчивался, либо залихватски разделявал начальство.

Бурса, карцеры, двойки, попреки вконец опостытели, и я все больше и больше стал увлекаться Майн Ридом, Жюлем Верном, Фенимором Купером, Луи Буссенаром. Читать их приходилось в отхожих местах, между шкафами, на чердаках, за сараями. Читая, надо было следить, не заглянет ли в потайное место Кривой, Красавчик или сам Тимоха. Самозабвение было неизъяснимое. В вольных необозримостях распахивались пампасы и прерии, златой чешуей сверкали Миссури и Миссисипи, вставляли несокрушимой стеной тропические леса. Ветер степей кружил голову. С высот низвергалась южная ночь, таившая отравленные стрелы, копыта, томагавки, ягуаров, пантер. У костра чутко отдыхал благородный Соколиный Глаз, он же Кожанный Чулок, он же Следопыт, Длинноствольная винтовка. Раздвигая гигантские сплетения лиан, неслышно появлялись последние дети Ленаппа: неустрашимый Чинхгахук и его смелый сын Ункас. Нежная Юдифь обещала ласку, любовь, страсть, страшные и обольстительные, как смерть; верный Эль-Соль со своей сестрой мелькали в просветах зеленой чащи; я хотел обладать спасителем-конем, конем-другом Моро, добивался верности Розбуа и Хозе, делался ползуном по скалам, испанским

гверильясом, ямайским марроном. Позже, в зрелые годы, искусство открыло мне новые миры обольщений, правдоискательства, страстей, смеха и горя, возмущения и надежд. Я научился испытывать радость, когда в слове слышится ритм вселенной, когда художник учит по-иному, по-новому видеть привычное, повседневное, срывает покровы с будущего, или когда испытываешь гордость за человеческий гений и чувствуешь бесконечность неустанного движения жизни, но никогда не читал я книги с таким самозабвением, какое я пережил в пору бурсацкого моего отрочества. Очень трудно последовательно рассказать, как человек делается революционером: внутренняя наша жизнь подчинена общему закону: она развивается не только путем постепенных изменений, сплошь и рядом ей свойственны внезапные перемены; такие перемены готовятся в потемках нашего духа и затем сразу себя обнаруживают; но для меня несомненно: в том, что я стал в революционные ряды, помимо остального, повинны также Следопыт и Эль-Соль, Розбуа и Хозе, делаверы и дакоты. Судьбы книг прихотливы. По выражению Тютчева, «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется.» — Творцы Эль-Солей и Зверобоев оправдывали грабительские действия своих «бледнолицых братьев»; эти братья порохом и железом, обманом и предательством истребляли племена «краснокожих», спаивали их огненной водой, заражали дурными болезнями. Об этих подвигах в тех книгах обычно не писалось. Наоборот, бледнолицые братья изображались доблестными и справедливыми, защитниками лучших достижений ума человеческого, делаверы же и дакоты награждались свирепостью, низостью, коварством. И однако мы, подростки, играли всего чаще в «индейцев», мы украшали головные уборы перьями птиц, учились испускать гортанные боевые кличи, метать копья, бумеранги и томагавки, мы складывали вигвамы, охотились за мушкадавами, глухарками. Правда Зверобои происходили от бледнолицых, но в сущности они мало чем отличались от индейцев. Увлекаясь ими, мы отрицали бурсу, мещанство, тогдашний «тихий и мирный» уклад. В индейцах мы утверждали права человека, пусть отвлеченные, но для того времени по-своему смелые. «Индейской» являлась и наша деревенская Русь. И вправду, разве мужики для хозяев той жизни не были краснокожими делаверами и команчами, людьми другой, низшей породы и расы? И разве Русь не разделялась на бледнолицых и краснокожих?..

...Я забросил скучные учебники, покупал романы приключений, выпрашивал их у приятелей и знакомых и даже сел

однажды сам писать повесть из жизни гурунов. Повесть начиналась так: — «При свете луны страшно сверкнул разбойничий нож мельника...» Очевидно, я безжалостно ломал навыки русских писателей, равнодушных к сюжету и к занимательности. К сожалению, повесть дальше не подвинулась и не обогатила читателя сюжетными новшествами. В то же самое время тройки и двойки сменились двойками и единицами. Вновь собрал я правдами и неправдами библиотеку; опять Тимоха делал набег на мой сундук и опять отбирал книги, и опять пополнял я свою библиотеку.

Тимоха приказал надзирателям следить, чтобы я занимался только учебниками. Кривой и Красавчик не сводили с меня глаз. Я решил укрыться от них в больницу. У меня нашли малоокровие. В больнице я ловко обманывал и доктора и фельдшера и сумел пролежать семь недель. Тимоха неоднократно требовал, чтоб меня выписали, но обнаруживалась снова высокая температура (набивал градусник), либо отнимались ноги, и я не мог даже сойти с койки в присутствии больничного начальства. Тимоха угрожал, даже бушевал, читал проповеди, но угрозами и отчитываниями болезни не изгоняются. По выходе из больницы я удачно водил за нос преподавателей, когда меня спрашивали, я отвечал: я отстал и догоняю. Мне верили, и я еще несколько недель не заглядывал в учебники. Обман обнаружился сразу. Видимо, по взаимному уговору преподаватели в один и тот же день проверили мои познания. Ответы мои были неутешительны, и я получил ровно пять единиц. Я оправдывался, на мой взгляд, довольно красноречиво и даже заплакал. Тимоха Саврасов поднял меня на смех и отправил в карцер. Вызвали маму. Мама на рождественские каникулы не отпустила меня к Николаю Ивановичу, а пригласила репетитора, шестиклассника-семинариста. От него пахло луком и заношенным бельем, к тому же он сильно рыгал. Я возненавидел его, заставлял дважды и трижды повторять одно и то же, спокойно говорил, что ничего не понял. Семинарист-богослов ерошил волосы, потел, еще более дурно пахнул, смотрел на меня с яростью, жаловался матери; я подавлял их тупым упорством, занятый любимыми героями и их судьбами.

После рождества Кривой поймал меня опять за чтением «недозволенных книг», и после одной утренней молитвы Тимоха Саврасов довел до всеобщего сведения поучительное решение училищного совета:

...— Училищный совет, принимая во внимание позорную и неуклонно возрастающую малоуспешность имя рек воспитанника, — принимая далее во внимание, что

предосудительная малоуспешность объясняется пагубным увлечением помянутого воспитанника светскими книгами, — определяет: означенному питомцу бursы воспретить чтение каких бы то ни было книг впредь до полного исправления. Надзирателям вменяется в обязанность неусыпно следить за безоговорочным выполнением настоящего решения.

— Я покажу тебе прерии, льяносы и пампасы, лодырь! — заключил Тимоха свое веское вразумление.

Я продолжал получать новые единицы, за что подвергался карцеру и другим наказаниям. Почти ежедневно маялся я «столбом», а в праздничные дни меня совсем не пускали больше к матери. Книги читать удавалось изредка. Я нашел выход, долею он заменил мне чтение: стал устно сочинять были-небылицы; сочинительство показалось делом привлекательным; оно было недостижимым для бурлацкого начальства. Рассказывая об удивительных приключениях, я воодушевлялся и много выдумывал неожиданного даже и для себя.

От недоедания, от карцеров, от единиц и окриков я вытянулся, похудел. По неделям я не умывался, ходил в рваных тужурке и брюках. Я усвоил вполне бурсацкий жаргон, лихо на нем объяснялся, выдумывая и сам залихватские и забубенные словечки; измывался над малышами, обирал и избивал их, травил прохожих, разбивал лотки у торговков, возвращаясь из Покровских бань, — задирали гимназистов, реалистов и учеников ремесленного училища. Порой, случайно взглянув на себя в зеркало, я с удивлением созерцал шалое лицо худого, бледного подростка в желтых пятнах, с озорными, беспокойными глазами; у меня недурно вились волосы, но в бурсе стригли кое-как, и я, калган, больше походил теперь на арестанта. Пожалуй, лишь одни губы, за них меня дразнили губошлепом, сохраняли еще детское простодушие. Я находил удовольствие казаться не тем, кем был на самом деле. Напускная удаль, наигранное молодечество были мне свойственны даже больше, чем другим бурсакам. Хотелось прослыть «заядлым», «отчаянным», «отпетым». Я «бил на увольнение», ломал, насиловал себя, защищая мысли и мнения, заведомо ложные, теряя чувство меры, легко впадал в преувеличение; искаженными глазами глядел я на мир и на людей. Сознавал ли я, что со мной делалось?.. Иногда я приходил в себя, но на короткие мгновения...

...Тогда-то и было положено начало тайному сообществу «Туги-душители». Название мы взяли из романа Луи Буссенара, где действовала таинственная секта иегов. Туги-душители возвели бурсацкое озорство в героическое дело и в подвиг. Слава

Трунцева не давала нам покоя. Руководителем тугов-душителёй я избрал самого себя. Сообщество требовало от членов беспрекословного повиновения. Клятву верности мы держали на петле душегуба. В сообщество, кроме меня, вступили сверстники: Костюшка Трубчевский, Николай Любвин, Витька Богоявленский, Петя Хорошавский, Серега Орясинов.

Всего непонятней казалось вступление в сообщество тугов Пети Хорошавского. Петя, тихоня и скромник, отличался примерным поведением. После случая, когда я избил Петю, а затем подарил ему завьяловский нож, наша дружба все крепла и крепла. Во втором классе мы вместе увлекались Зверобоем и Ункасом; однако Петя Хорошавский продолжал идти в первом разряде. Петя мало чем напоминал бурсака. По воскресным дням к нему приходила сестра-гимназистка, года на два старше его. Они сидели в приемной, оба прехорошенькие, оба опустив длинные ресницы, дабы не видеть бурсацкой скверны, оба приветливые. Петя хранил печать сообщества из березы, с выдолбленными словами: «Черные туги-душителёи», внизу веревка и череп. Хорошавскому доверили печать, потому что из нас он был самым аккуратным.

Николай Любвин среди тугов-душителёй слыл главным силачом. Глядел он всегда внушительно, исподлобья; глаза в в красных веках у него слезились. Любвину не хватало казенного пайка, и он подкреплялся увесистыми ломтями черного хлеба, круто посоленного и обильно смазанного горчицей. Горчицу он воровал у повара. Подобно Пете, Любвин тоже чаще всего молчал, но, если его сильно раздражали, он мгновенно покрывался багровыми пятнами, надувался, потел, без предупреждения бросался на обидчика и свирепо тузил его крепкими кулачищами. Сирота и закоренелый бурсак, Любвин каникулы коротал обычно в бурсе. Летом его брали к себе в деревню дальние родственники, дьячок и дьячиха. Дьячок приходил за ним пешком, сделав конец в добрых двести верст. Домой возвращались, питаясь христовым именем. Любвин отличался выносливостью и упрямством, наказания переносил с грубой надменностью. Был он склонен к размышлениям, но думал медленно и часто поражал нас неожиданными умозаключениями. Молчит-молчит, да и брякнет ни с того, ни с сего:

— А мне знакомый семинар недавно сказал, что человечьи души после смерти переселяются в животных...

— Ну, и что же? — спрашивали приятеля.

Любвин загадочно глядел, мрачно отвечал:

— Если наши души переселяются в животных, то и души животных переселяются в нас. Значит человек есть животное. И в

Серге, например, живет душа какого-нибудь бегемота...

Серга спокойно смотрел на Любвина:

— Этого не может быть, я, брат, воды не уважаю, а вот в тебя уж, наверное, вселилась душа зеленого осла...

Любвин деловито спрашивал:

— Почему зеленого? — будто он усомнился только в окраске.

Серга пояснял:

— Зеленые осла — самые большие идиоты.

Любвин надувался, жевал губами и отходил, скрестив руки, как бы удерживая их через силу. Он огорашивал нас вопросами:

— Скажите, как надо отправлять службу, если вознесенье случится в воскресенье?

— Шут его знает, — беспечно отвечал Костюшка Трубчевский.

— Вознесенье не может случиться в воскресенье, оно бывает всегда в четверг, — поучал нас Любвин.

— Ну, и что же?

— Ничего.

Однажды Коринский заставил Любвина прочесть наизусть пушкинского «Пророка». Любвин дошел до строк: «И шестикрылый серафим на перепутьи мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он»... — Тут Любвин оборвал чтение, решительно заявил:

— Это неверно...

— Что неверно? — спросил удивленный Коринский.

— У серафимов нет ни рук, ни ног, а только голова и крылья. Серафим не мог коснуться зениц.

В классе наступила тишина. Коринский потянулся было рукой к правому своему уху, но почему-то до уха ее не донес и стал терзать борты вицмундира.

— Подразумеваются духовные, а не телесные персты, — разъяснил он, наконец, после изрядной паузы. — У ангелов, у архангелов, у серафимов тел нету. Понял?

— Нет, не понял, — твердо ответил Любвин. — Ангелы, когда им надо являться людям, принимают телесный вид. У серафимов нет перстов.

— Верно, ей-ей, — прошептал кто-то восхищенно на весь класс с задних парт.

Коринский злобно запустил на Камчатку глаза, но опять сдержал себя и вновь стал объяснять, что персты серафима надо понимать «в духовном смысле». Любвин стоял на своем. Возникло дело о Любвине, новом ересиархе. Коринский требовал отречения от ереси и смирения, Любвин не отрекался и не смирялся. Коринский давным-давно расправился бы с Любвиным и «заколдовал» бы его, но распря приняла широкую огласку. Вопрос

разрешался всей бурсой. Бурса распалась на два лагеря: на отрицателей перстов у серафима и на допускающих упомянутые персты. Спор принимал ожесточенный характер, сея заведомые соблазны, потрясая бурсацкие устои. Дело доходило до рукоприкладства и даже до побоев. Любвин ходил знаменитостью и не сдавался. Халдей и Тимоха неоднократно вызывали еретика для внушений и просветлений, но он не просветлялся. Его сажали в карцер, опять вразумляли, лишали пищи, Любвин был неукоснителен. В конце всех концов Халдей распорядился дело о перстах решительно прекратить. Бурса учла это распоряжение как победу Любвина. Правда, вопрошаемые бурсаки по требованию начальства отвечали, что серафимы бывают разных ипостасей, в том числе и с перстами, но, с другой стороны, Любвина из стен бурсы не выгнали, и втихомолку бурсаки его считали правым. И то отмечалось, что Коринский не осмелился его заколдовать. Любвина прославляли. К чести нашего приятеля надо сказать, он несколько не возгордился и попрежнему ходил среди бурсаков сосредоточенный и хмурый.

Терпеть не мог Любвин разговоров о женщинах. Слушая такие разговоры, он делался еще более мрачным и к тому же ужасающе сопел. В епархиальном у него училась двоюродная сестра. Изредка Любвин навещал ее, но держал это от бурсаков в строжайшей тайне. Вызвав в приемную кухню, Любвин отводил ее в угол потемней и там либо тупо молчал, надутый и красный, пучил глаза, либо отрывисто и грубо спрашивал кухню:

— Двойки есть?.. Кормежка сытная? Гулять пускают?..

Сестрица робко отвечала суровому братцу. Братец долго не задерживался.

— Пора в бурсу, — бубнил он себе под нос и уходил, ни на сестрицу, ни на других епархиалок даже и не взглянув.

Перед вступлением в сообщество тугов-душителеев Любвин стал злоупотреблять цитатами из священного писания...

В прямую противоположность Любвину Костюшка Трубчевский был весельчак, балагур, проказник, беспечный пройдоха и сумасброд. Подолгу он ни над чем не задумывался, решения принимал сразу, по вдохновению. Изнурительные блуждания в отвлеченностях его натуры были чужды. Мир его отличался ясностью и простотой. В знаменитом споре о перстах серафима он участия не принял и уверял, будто изыскания Любвина о серафимах годны только кошке под хвост. Урокам он времени много не уделял, они давались ему легко, суть дела он схватывал налету. Обладал Трубчевский еще одним качеством, полезным для тугов-душителеев: ловкостью и увертливостью; чудесно он лазал по деревьям, по столбам, по заборам и крышам.

К тому же он никогда не унывал и, когда мы попадали в положения затруднительные, он ободрял нас шутками и прибаутками, веселым прищуром глаз, потешными вывертами, уверенностью, что все сойдет с рук и «ничего не будет». Примкнул Трубчевский к тугам-душителям из-за своей непоседливости.

...Витька Богоявленский, превеликий ворчун и ругатель, вскипал часто по-пустому, но так же быстро он и остывал. Выражался Витька сильно, изощренно и до такой степени непотребно, что даже мы, виды выдавшие бурсаки, с изумлением глядели на приятеля, а сторожа и служители даже и умилялись. Витька с завидной откровенностью и во всех подробностях, понятно под секретом, охотно рассказывал о необыкновенных своих любовных похождениях, изображая себя развратником и знатоком любострастия во всех его видах. Он посвящал нас в тайны пола. Хладнокровно учил он нас, как скорее обольщать и побеждать женщину. Да, сладка была утеха с деревенскими девками, и Витьке не было от них отбоя, но он предпочитал сословия благородные: молодых матушек, эпархиалок, гимназисток, вдовушек-чиновниц в соку, либо крупчатых купчих. Витька намекал даже на преступную и прелестную связь с дочерью помещика древнего и именитого рода. Я всегда завидовал, насколько легко одерживались моим другом блистательные и окончательные победы. Он побеждал женщин походя: на вокзалах, в вагонах, в лесу, при случайных встречах, за скирдами и ометами, в поле, в лесу. Стоило ему зайти в хату, попросить корец воды у молодайки, на нее взглянуть, поднять высокую бровь, перекинуться нежным словцом, и молодайка уже делалась сама не своя. Лихо спускал он юбки, расшнуровывал корсеты, расплетал девичьи косы... Не жизнь, а малина с сахаром! Витькиным рассказам я, признаться, немало дивился. Ничего даже отдаленно схожего со мной не случалось. Я не одержал еще ни одной самой скромной победы. Тем более казались удивительными витькины одоления, что его наружность отнюдь не отличалась обольстительными свойствами. Витька имел склонность к полноте, обладал к тому же тонкими и кривыми ногами; ими он гордился и называл их «кавалерийскими». Лицо Витки сомнительно украшал крупный нос с загогулиной и с двумя «пипками». Похвалиться приятель мог только глазами, темными, «бархатными», влажными и подвижными. Они часто неистово загорались, но порой в них теплилось что-то мягкое, хотя Витька больше всего, по его словам, ненавидел всякие «нежности». Оценивая неважно витькину наружность, я не раз готов был подвергнуть сомнению и

его рассказы, но всегда меня покоряли мастерские подробности; на них Витька, воистину, не скупился. Да и ругался Витька, повторяю, залихватски. Сокрушительный мат уничтожал сомнения. Витька ценил дружбу и не щадил отступников. Он ревниво следил, чтобы туги-душителю не болтали лишнего, не доверялись, кому не следует. На врагов Витька имел нюх, и нужно было только на него посмотреть, когда он за кем-нибудь следил или что-нибудь проверял. Витька походил тогда на лягаша во время стойки, уши его приподнимались торчком, между тем как глаза неотрывно вперялись в дичь насквозь. Людей Витька определял больше чутьем и суждения свои о них составлял скоропалительно. Он рано лишился отца и матери; каникулы проводил у дяди, реального учителя. Дядю он, видимо, любил и не позволял нам о нем злословить.

Член сообщества Серега Орясинов подвергал нас порой многообразным испытаниям. Он любил замешкаться, когда приходилось во весь дух улепетывать от преследователей. Легко запоминалось его широкое корявое лицо увальня, выпяченные губы, родимое пятно на правой щеке, величиной с пятиалтынный. — «Бог шельму метит» — говаривал про это пятно Витька. Ленивый, неповоротливый, всегда как бы спросонья, Серега Орясинов иногда неожиданно для приятелей, а возможно и для себя, вдруг обнаруживал и ловкость, и сметку, и проказливость, причем престранно улыбался. Свершив очередное озорство, Серега опять погружался в сонную одурь. Он добродушно сносил над собой всякие шутки и только почесывал за ухом, когда Богоявленский награждал его сверхчувственными загибами. В полном и совершенном несоответствии с этими и подобными свойствами, Серега имел наклонность франтовству, делал некие нелепейшие начесы на правое ухо. Бурса таким наклонностям не потакала, да и средства у Сереги были ничтожны; волей-неволей приходилось смиряться, и помимо зачесов Серега время от времени начищал сапоги казенной едкой ваксой до умопомрачительного блеска, да еще за чаем оттопыривал мизинец, подобно уездной барышне.

О себе должен прибавить: я наречен был Верховным тугом-душителем, являлся в известном роде идеологом и даже вождем. Обыденным и даже пакостным действиям я придавал черты возвышенные и фантастические, гасил сомнения, укреплял веру.

Сообщество тугов-душителей писанного устава не имело, а устав неписанный отличался суровостью. Туги-душителю объявляли войну не на живот, а на смерть бурсацкому начальству, преподавателям, фискалам, городским обывателям, будочникам. Для приема в сообщество нового члена требовалось

единодушное согласие. Решения принимались по большинству голосов, подчинялись им беспрекословно. За измену, за болтливость, за раскрытие тайн полагалась позорная смерть. Сходиться, видаться на глазах бурсаков членам сообщества запрещалось. Николай Любвин пытался придать тугам оттенок мистический: туги-душителю хранят в потайном месте черный камень. Черный камень знаменует ночь, когда свершаются иогами главные подвиги. Камень нельзя никому лицезреть, ниже касаться его. Дважды в месяц вокруг камня происходят радения. Душителю поют священные свои гимны, дают страшные клятвы и зароки, целуют и едят землю, орошенную жертвенной кровью. Мистические предложения любомудра были отвергнуты, причем Витька ему заявил — «Ну, и лопай грязь, если охота, на то ты и есть стоеросовая дубина!..» — Обиженный мистик надулся, запыхтел и невнятно пробурчал, что дубины не лопают...

...Время изобразить посылно назидательные деяния тугов-душителей, таинственной секты из далекой Индии, волей непонятных судеб занесенной в один из вертоградов российских...

...Скудный ужин не развлекает бурсаков; жилистые куски мяса, черствый хлеб, гречневая каша с прогорклым маслом. А тугам-душителям и совсем не до еды: предстоит опасное дело. Они многозначительно переглядываются через головы бурсаков.

Собираются туги на заднем дворе за кухней.

— Взята ли печать? — деловито осведомляется Верховный Душитель.

Хранитель печати показывает ее из кармана. Верховный Душитель совещается с Главным Начальником, он же Витька Божьявленский.

— И Франция был их пароль, и лозунг святая Елена, — неизвестно к чему напыщенно возглашает Трубчевский-Черная Пантера^[1]. Пальто у него расстегнуто; собрав его за спиной обеими руками, Трубчевский машет фалдами, точно хвостом.

— Убью, аспид! — свирепствует Главный Начальник. — Балда распротаковская!

Понятно, Начальник назвал Черную Пантеру не распротаковской, а полными, звучными русскими словами, но да будет заранее ведомо: звучных и вдохновенных выражений Начальника не вытерпит никакая, а тем более советская бумага, и приходится только пожалеть, что неувековеченной остается несравненная их живописность.

— Хвалите, отроцы, господа, хвалите имя господне, — изрекает Любвин. Он присвоил себе диковинное имя: Стальное

Тело с чугунным гашником.

Верховный Душитель глухим и проникновенным голосом призывает тугов держать клятву верности. Июги образуют круг рука с рукой.

— Отрекаюсь от бабушки и от матушки, от отца и от родни своей, от сестер своих и от братьев своих. Отрекаюсь от звезды полнотной и от моря синего-океяна. Отдаю живот свой тугам-душителям до гробовой доски тесовой. Лопни мои глаза, покройся мой рот сукровицей, прилипни язык мой к гортани моей, возьми меня Вельзевул с шерстью огненной, аще свершу измену тугам-душителям... Гроб всем и крышка, веревка и саван!..

Клятву верности сочинил Верховный Душитель, но ее подвергли значительным исправлениям и дополнениям. Клятва вышоптывается истово: июги верят в магию слов. Стальное Тело дополняет клятву:

— Призри, господи, с небеси и виждь и посети вертоград сей, его же насади десница твоя! Аминь!..

Туги-душители перелезают через забор на улицу, крадутся по набережной мимо Покровской церкви, около семинарии хоронятся за углами домов. Проходит с четверть часа. Черная Пантера, главный лазутчик, наконец, подает знак приготовиться. На улице — два гимназиста; они еще далеко. Улица пустынна, темна, одна семинария освещена ярко. Она нависла белыми колоннами, окнами, крышами, тяжелым куполом. Гимназисты поровнялись с домом зубного врача. Пронзительный свист Главного Начальника вьется тонкой, стальной стружкой. Туги-душители срываются с мест, мигом окружают гимназистов. Гимназисты добротнo одеты, в длинных серых шинелях: ребята растут, одежда шьется с запасом и впрок. У одного из ребят фуражка с серебряной кокардой даже слишком велика, надвинулась на уши. Он держит подмышками пачку книг и тетрадей. Другой, повыше — со свертком.

— Quo vadis? Камо грядеши, синяя говядина? — гремит Главный Начальник.

Говядина и без окрика понимает, что встреча с бурсаками поздним вечером не предвещает ничего отрадного: вражда между кутейниками и гимназистами давнишняя. Паренек повыше растерянно разглядывает ватагу, с дрожью в голосе еле слышно выговаривает:

— А вам какое дело?

Пленники бледны; они озираются, не покажется ли прохожий и не выручит ли их из беды.

— Смерти или живота? — Стальное Тело со зловещинкой

наступает на гимназистов.

Который помоложе, фальшивым дискантом пищит:

— Мы вас не трогаем, мы к вам не лезем, и вы нас не трогайте, и вы к нам не лезьте!

— Папуле с мамулей доложите, — издевается Витька. — А папуля с мамулей молочком попоят, яичком покормят, спать в теплую постельку уложат.

— Мы к вам не лезем, — продолжает пищать младший.

— Бардадым и фалька! — вещает Черная Пантера.

— Омега и ипсилон! — вторит ему Витька.

— Твари едомстии! Овцы заколения!

— Трепещите, языци! Яко с нами бог!..

— Карамба! Сакраменто! — покрывает всех Верховный Душитель, подавая тем самым сигнал к действию.

Стальное Тело с чугунным гашником хватается гимназиста помоложе, вырывает у него учебники, кидает их на снег. Быстро, опытный и понаторевший в деле, он обнажает у жертвы руку. Жертва пытается безуспешно вырваться, между тем Хорошавский старательно накладывает на руку, выше кисти, круглый оттиск: — Черные туги-душители. — Внизу веревка и череп. Гимназист повыше делает более сильную попытку к обороне, но и с ним справляются без промедлений.

Действо именуется священным клеймением. Смысл его Верховный Душитель в том полагал, что оно, клеймение, должно было укреплять венценосную славу и отменную доблесть иегов-индусов. Пусть знает мир о могущественной секте, пусть воссияет звезда ее отныне и до века, пусть трепещут и содрогаются враги-сопротивники. Туги повсюду, они всегда бодрствуют.

Главный Начальник со свирепостью, возможно частью даже и напускной, предупреждает клейменных:

— Три дня и три ночи не должны смываться печати. Иначе — веревка!

— Карамба! Сакраменто!

— Бардадым и фалька!

— Томагавком в череп!.. Зубы грешника сокрушу!..

Рысью туги-душители возвращаются в бурсу, не замечая, что с ними нет их собрата Сереги Орясинова, вождя гуронов и дакотов, Бурого Медведя. Вождь диких дакотов присоединяется уже около забора.

— Почему отстали от нас, краснокожий наш брат? — не без строгости вопрошает дакота Верховный Душитель.

Гурон ухмыляется, оттопыривает верхнюю губу:

— Провожал этих чертей до дому. Прихожу, — Бурый Медведь растягивает слова и говорит на «а», прихожу до ихнего

дому, двери открывает человек в бородах, должно их папашка. Я и говорю папашке в бородах — «Туги-душители наказали сдать вам вот этих мальцев: больно пужливы!» — Чертенята цоп меня за пальто, орут — «Он избил нас!» — Насилу от них вырвался. Папашка за мной; без шапки до самых бань гонялся.

— Краснокожий брат наш, вождь гурунов и делаверов, Бурый Медведь! — внушает Верховный Душитель, худо скрывая восхищение пред несравненным поведением иога-душителя. — Самовольные выступления караются сурово. Прощаю вам нарушение правил, но в другой раз подвергну вас примерному наказанию!

— Тише, вы, дьяволы! — шипит вдруг Главный Начальник. Он сделал стойку лягаша, приник к заборной щели. Он грозит кулаком: быть на-чеку! — Тимоха! — шепчет Начальник еле слышно.

Туги-душители припадают к забору. По середине двора, облитый серебряным туманом, в шубе до пят — Тимоха Саврасов. Он насторожился, задрал кверху голову, водит направо и налево носом, принюхивается и прислушивается. Видимо, до него смутно дошел наш говор, и он жаждет «накрыть». Мы не шелохнемся. В заборных щелях от дыхания, кажется, слышно, как тают корки снега. Где-то на окраине длинно и одиноко воет пес. Тимоха стоит томительно долго. На дворе никого нет. В Саврасове, при лунном свете, при собачьем подвывании — что-то гипнотическое, замороженное и страховитое. Наконец, медленно Тимоха движется к своей квартире. Под его ногами, в преогромных кожаных галошах, жестко хрустит снег.

— Кикимора долгохвостая!.. Чорт осьмирогий!..

С предосторожностями лезем мы через забор. Вождь диких дакотов и делаверов повисает на гвоздях. Витька Богоявленский с силой отдирает дакота от забора и не слишком считается, что станется с брюками гуруна, а Стальное Тело мрачно и злорадно изрекает: — «Посаженные на кол просят о воде». — Дакот и делавер пыхтит. Клок казинетовых брюк остается гвоздям на поживу. Треклятый забор! Сколько лишней работы доставляет он нашей смирной и тихой старушке экономке! Многократно сбивали мы гвозди, дабы они не рвали бурсацкой одежды, но всевидящее око тимохино всегда примечало отсутствие гвоздей, и опять и вновь сторожа украшали ими наш забор!

Когда мы были готовы уже разойтись, Трубчевский слегка присвистнул:

— А задачки синяя говядина решает тоже по Евтушевскому. Я заглянул в ихние книги, недалеко ушли от нашего брата.

— Нам с ними не сравняться, — заметил угрюмо Стальное

Тело с чугунным гашником. — Они в университет поступят, а мы дальше сельского попа не пойдем.

— Лучше зарежусь, а в попы не пойду, — объявил Трубчевский-Черная Пантера и взмахнул фалдами пальто точно хвостом.

— Я тоже не пойду в попы, — поддержал его хранитель печати Петя Хорошавский и почему-то покраснел.

— Друзья! — промолвил ободряюще Верховный Душитель. — О попах и речи быть не может. Нам нужен целый мир.

— Но мы-то не нужны миру, — гробовым голосом изрек Стальное Тело.

— Ты прав, мой бледнолицый брат, — Сказал Серега, он же гурон, он же делавер и дакот, он же Бурый Медведь, он же Орясинов. Сказал и потрогал разодранное место, будто хотел лишний раз убедиться в печальном происшествии...

Туги-душители приумолкли.

...Нечаянно нам посчастливилось выбрать удачный район, около семинарии. Родители заклеянных, естественно, заподозрили не нас, а семинаристов. Семинарское начальство по жалобам произвело безуспешные дознания. Вечером около семинарии взад и вперед слонялись караульщики. Клеймить стало труднее, да и надоело оно уже нам. Решили свершить новые, более громкие подвиги. Верховный Душитель приказал изготовить дальнобойные рогатки. Рогатки вышли на славу.

...Темной безлунной ночью туги-душители разместились на бурсацком дворе: попрятались в дровах, примостились у конюшен, за сараями. Впереди, в шагах ста с лишним, дряхло оседал в снежные сугробы классный корпус. Колкий ветер забирался в рукава, под полы; но туги-душители не замечали ни красных рук, ни посинелых губ своих. Прошел надзиратель Кривой, он кутался и прятал голову в поднятый воротник мешковатого пальто. Из классов в Вертеп Магдалины протопала группа бурсаков. Меднолицый повар Михеич вышел из кухни, докурил цыгарку, крикнул от холода, ушел обратно. На задах ночной сторож лениво, с большими промежутками, бил в колотушку.

Главный Начальник первым натянул рогатку. В одном из средних окон классного корпуса жалобно и гулко звякнуло и осыпалось стекло. Наступило зловещее затишье. Стекла стали потом лопаться сразу в разных местах. Окна дрожали в мелком и звонком дребезге, будто ляскали зубами, стонали и охали. Лопающиеся звуки рассыпались мелкими колючками, свивались, сбивались в кучу, вновь буйно раскидывались и расплескивались. Черных дыр в окнах делалось все больше. Мы спешили. Костюшка

бил почти без промаха. Прикусив до крови нижнюю губу, он ловко и упруго оттягивал резину. Глаза у него светились. Стальное Тело пускал заряды с колена, тяжело сопел и даже хрюкал при попадании. Петя Хорошавский шептал: — «Опять я, кажется, не попал». — Он старался, точно готовил уроки накануне неопременного спроса. Вождь делаверов лежал на брюхе, резину натягивал, высовывая язык, и при удаче любовался вышибленным окном. Эстет! Горячее всех работал Главный Начальник: запуская камень, он свирепо выкатывал глаза и, если не попадал, невнятно ругался. Несмотря на ветер, он покрылся крупными каплями пота.

...Каким упоительным неистовством, каким чудесным безумием напояет разрушение! Дзинь! Дзинь! Дзинь! — и вместе с этим внутри освобождается безрассудная стихия. Она хлещет горячими, огненными взметами, будто раскалывается стеснительная оболочка и освобожденный человек по-новому сливается с миром. Откуда столько неожиданной силы и сила кажется неисчерпаемой? Ум, чувство подчинены чему-то темному, первородному, между ними нет разлада, все слилось, часть и целое едины. Пан! Все! И уже нет ничего невозможного, все доступно. Мысль претворяется в дело и дело рождает мысль. Зрение обострено, члены делаются легкими, подвижными. Ни опасений, ни страха! Сколько отваги! Восторг потрясает человека! Необычайное ощущение свободы, полная и совершенная произвольность! И уже не всплески, а бешеный вихрь кругом и в человеке. Есть непередаваемое мгновение; вселенная, все чувства и помыслы сливаются в одну внепространственную точку и в ней — боль, упоение, нечто яростное и всепоглощающее, пронзительное и ослепительное! Дальше нет ничего и ничего не может быть! Бытие — не бытие, жизнь и смерть в полном слиянии!..

...Первым приходит в себя Главный Начальник: на нем ответственность за оперативные действия тугов-душителей.

— Прячь рогатки! — Витька толкает и дергает нас за рукава, перебегая от одного к другому. На дворе еще никого нет, но вот-вот покажутся бурсаки, сторожа, надзиратели, Тимоха, начнется облава. — Бросай! Изувечу! — Витька подбегает к делаверу и дает ему здорovenного тумака. Мы приходим в себя и, на ходу хороня рогатки, отступаем. Из столовой вываливаются люди, спешит Кривой, он что-то кричит. Мы отступаем к саду помещика Романовского. Витька Богоявленский задерживается на заборе по уговору. — О-го-го, жеребьяча порода! О-го-го! — Это он наводит преследователей на ложные предположения. За нами несутся сторожа, но позади и романовский сад, и еще один забор, и еще

один сад; мы уже выбрались на набережную и отсюда тихохонько и легохонько возвратились на бурсацкий двор; здесь, где ползком, где крадучись, спустились по темным лестницам в Вертеп Магдалины.

В бурсе уверены: стекла побиты не бурсаками, а всего скорее, учениками ремесленного училища. Такие налеты и раньше производились. Туги-душителю тоже не дремали и распускали досужие слушки, отводившие от них подозрения. Один из служителей уверял, будто собственными глазами видел: через забор «сигал» здоровенный парень в овчинном полушубке и в серых валенках. Да, да, не он ли и орал о жеребьячьей породе? — Эти и подобные утверждения начальство скрепя сердце принимало: было выбито более полусотни стекол; это походило на погром; злодейство выгоднее свалить на иноплеменников. Тимоха произнес поучение о порче современных светских нравов, питомцы бursы не должны следовать пагубным примерам. Наоборот, среди общего упадка благочиния и добронравия эти питомцы обязаны стать надежным оплотом смиренномудрия; свет и во тьме светит и тьме его не объять. Туги-душителю набожное тимохино слово слушали с видом проникновенным: Витька Богоявленский даже облизывался, между тем Стальное Тело с чугунным гашником тяжело вздыхал и пыхтел, и только у Черной Пантеры лицо по обычаю отливало лукавством и легкомыслием.

— Хорошая речь! — сказал Витька, когда мы после молитвы сходили с лестницы в класс.

— Знаменитая речь, — сказал я в ответ и поглядел Витьке в переносицу.

— Преславная речь, — согласился сзади Стальное Тело.

Забыл упомянуть об одном случае, с первого взгляда незначительном, но с заметными последствиями. Вечером того самого дня, когда мы повышибали стекла, между Главным Начальником и вождем делаверов, Бурым Медведем, произошла в Вертепе размолвка. Прославленный делавер подошел к Начальнику и лениво вымолвил:

— А я тебе, Витька, морду набью!

— Это за что же ты набьешь мне морду?! — с недоумением спросил Главный Начальник, спросил миролюбиво, но на всякий случай воинственно повел плечами.

— А ты зачем вдарил меня ногой, когда я стрелял из рогатки? У меня даже синяк здоровенный вскочил.

Главный Начальник цветисто «обложил» делавера и пожалел, что не переломил ему тогда ребра. Делавер обнаружил на этот раз несвойственную ему строптивость и отвечал Начальнику в решительных выражениях. Распря угрожала

членовредительством. В дело пришлось вмешаться Верховному Душителю. Он смирил страсти, но полного успокоения не достиг. Вождь делаверов и гуронов в побоище с Начальником не вступил, но с отменным упорством объявил:

— Вот увидишь, Витька, я тебе сделаю какую-нибудь мерзопакость, лопни мои глаза!..

...Спустя дней десять бурса горела. Занялся один из сараев. Бурсаки ужинали и, когда побросали ложки и выбежали во двор, пламя уже озорно бушевало и страстно изгибалось рыжими космами. Багрово отражаясь на лицах, в зрачках, оно наполняло веселым хмелем; люди делались невольными огнепоклонниками, и было трудно, невозможно отвести взор от этой самой извечной стихии. Для бурсаков пожар являлся непредвиденным праздником. Бурсаки охотно помогали пожарной команде, качали воду, выносили рухлядь, раскидывали бревна и тес. Помогали не потому, что хотели потушить пожар, наоборот, когда пламя перекинулось с сарая на конюшню, бурсаки восхищенно заурчали, — происшествие вносило бодрую и свежую сумятицу. Старик брандмейстер, проспиртованный с головы до пят, хвалил бурсаков за усердие, и даже Тимоха прогундосил нечто поощрительное. Только один Халдей торчал у себя на крыльце истуканом с красными оттопыренными ушами в прожилках.

Я и делавер сошлись у пожарища; хотя тугам-душителям и запрещалось это делать на людях, но исключительность события заставила забыть о предосторожностях. Вождь гуронов, глядя на огонь, вспомнил «Охотников за скальпами»:

— Острый, удушливый дым наполнял пещеру... — А здорово горит: прямо геенна огненная.

— Горит на пять с плюсом...

— Пожалуй, сарай-то не отстоят.

— Пожалуй, не отстоят, — согласился я вполне рассудительно.

Вождь делаверов вдруг раскрыл рот, развесил губы, осклабился и легонько толкнул меня локтем.

— Ты чего? — спросил я с недоумением дакота.

— Ловко, — обронил он, весьма довольный, и опять толкнул меня в бок.

— Ты чего? — переспросил я дакота уже с неудовольствием.

— Ловко! — обронил он опять. — Помолчав, наклонился и прошептал: — А ведь сарай-то, пожалуй, я поджег!..

— Врешь! — протяжно молвил я, ошеломленный.

— Перед ужином собрал в сарае тряпье, облил керосином и подпалил. Смотри, как полыхает! Хорошо полыхает!..

Молчание.

— Зачем же ты поджег сарай?

— Обиделся на Витьку. А он за что вдарил меня каблучищем тогда и посадил синяк? Он будет лупцевать меня куда попало, а я должен терпеть? Я же при тебе дал слово ему припомнить. Я, брат, своему слову верный человек.

— Вот ты гусь какой! — сказал я, тараща на Серегу глаза.

— Да, я вот такой гусь! — согласился делавер, нимало не смущаясь. — Пусть не задается... Смотри, смотри, конюшня занимается. Пожалуй, тоже сгорит!

— Придется, брат, с тобой посчитаться, — заявил я с угрозой и покинул дакота.

Пожар продолжался далеко за полночь. Сарай сгорел дотла. Конюшню отстояли с грехом пополам. Поиски, отчего случился пожар, ни к чему не привели; предполагали: кто-нибудь из сторожей бросил в хлам недокуренную цыгарку или спичку.

Вечером на задах состоялась *агора*, народное собрание тугов-душителей. Я поведал: один из братьев наших решил отомстить члену сообщества и не нашел ничего лучше, как подпалить бурсу. Трепетное волнение охватило тугов.

— Беда, однако, не в том, — продолжал я обличенье, — не в том беда, что поджогом наш боевой соратник мстил своему другому соратнику, а в том она, что сделал он это самовольно, в одиночку. Туги-душителю могли бы поджечь не один сарай, но и другие бурсацкие здания. Тем самым они вписали бы свои имена в историю настоящими огненными буквами, избавив себя и товарищей от ненавистного плена на год, а возможно, и на более длительный срок, покуда не достроили бы новое здание.

Здесь я назвал преступника. Туги-душителю были ошарашены неслыханными разоблачениями.

— Недаром я саданул его тогда в бок, — молвил Главный Начальник, гневным взглядом приглашая нас поддержать свое негодование.

Стальное Тело с чугунным гашником пыхтел, издавая носом таинственные звуки. Черная Пантера загавкал, что выражало недовольство. Хранитель печати смотрел на делавера и на всех нас растерянно, точно нечаянно попал в шайку самых кровавых бандитов. Один делавер, обвиняемый, хранил завидное и нерушимое спокойствие. Его спросили, что может он сказать в свою защиту? Он может многое сказать в свою защиту. Синяк требует возмездия. Это несомненно. Но что подумать о нашем Верховном Душителе? Ему была доверена страшная тайна. И он эту страшную тайну открыл другим. Правда, эти другие — славные туги-душителю, но тайна священна, тайна неприкосновенна, подобно ковчегу завета в скинии. Судить надо

не его, делавера, дакота и гуруна, а самого Верховного Душителя. Dixi.

— Ты на фырок и на попа не заправляй, так и эдак! — яростно перебил его Главный Начальник.

Горячий тон, искреннее возмущение, оглушительные народные выражения, видимо, повлияли даже и на упрямого Бурого Медведя, и он промямлил:

— А ты зачем пинаешься?

— Бездельник!. Негодай!.. Вельзевул длинношерстый! — гремел Начальник, еще сильнее напирая на народные выражения.

Тут выступил Стальное Тело с чугунным гашником.

— Дело можно поправить, — ободрил он нас глубокомысленно и многозначительно.

— Можно ли поправить дело, — с издевкой спросил Черная Пантера, — ежели от сарая остались одни головешки?

— Дело можно поправить, — еще тверже, еще многозначительней объявил Стальное Тело с чугунным гашником.

Туги-душители молча воззрились на своего собрата. Тогда в тишине раздался замогильный голос, подобный гласу чревоушателя:

— Надо поджечь всю бурсу, со всем барахлом. И никому не будет обидно, и все станут довольны, и не о чем будет спорить...

Туги-душители смотрели на Чугунный гашник, не в силах ни слова проронить. Простота и гениальность предложения их потрясли.

— Как же это так? — пролепетал хранитель печати, Петя Хорошавский.

— А вот так... возьмем и спалим всю бурсу, — неумолимо отражал сомнения Чугунный гашник.

Даже делавер дикий, даже и он был сбит спанталыку; он помахал буйной головой и пощупал свой нос, точно желал убедиться, наяву ли, во сне ли все это происходит. У Главного Начальника народное выражение застряло где-то в горле, и он долгое время не в состоянии был его исторгнуть и только, почтенно помедля, наконец выглотнул жалкий недоносок, потерявший всю силу и крепость.

Хуже всех досталось мне, Верховному Душителю. В обвинительной речи я пожалел, что бурса не поглощена вся пламенем. Я сказал это, дабы разоблачить вождя делаверов и гурунов; однако Стальное Тело с чугунным гашником не понял всей тонкости и условности моего выступления и без обиняков сделал немедленные выводы умопомрачительного свойства. Приходилось итти напопятную, что сделал я, прямо сказать,

неискусно и даже дрянно.

— Поджигать бурсу, — заявил я тугам, — преждевременно. Сбухты-барахты ничего делать нельзя. Надо все тщательно обдумать и взвесить. Я говорил о поджоге бурсы «вообще».

— Что значит «вообще»? — переспросил не без ехидства вождь делаверов.

Я притворился, будто не расслышал вопроса.

— Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, — заметил Стальное Тело и мрачно усмехнулся, отчего я даже растерялся и умолк.

— Но почему мы должны поджигать бурсу? — вступился Трубчевский-Черная Пантера. — Витька дал пинка Сереге, а мы из-за этого должны жечь бурсу? Чепухенция!

— В самом деле, — подхватил я разумное слово приятеля. Оно, это слово, прозвучало вполне убедительно.

— Играй назад!..

— Клянусь мустангом и лассо ковбоя, я согласен с Черной Пантерой!

— Аминь, кедры ливанские и скимны рыкающие...

Бурсу решили пощадить; забыли обсудить поступок делавера. Один Главный Начальник отдаленно напомнил о первоначальной цели нашего собрания.

— Жалко, что не сделал я тебе мордухая, — объявил Витька, выразительно поглядывая на вождя гурунов.

— Не бывать скурлатому богатым, — ответил Бурый Медведь.

...После пожара туги-душители свершили несколько более мелких подвигов. Из них, пожалуй, следует отметить расправу с наушником Харузиным. Мы накрыли Харузина пальто в нужнике, когда он там облегался, вдавили его в сиденье, измазанное испражнениями. Харузин мычал, стонал. Оставили мы его полузадушенным. На другой день фискал слег в больницу. Скорее всего он догадался, кто с ним расправился. Мы заметили: бурсацкое начальство стало усиленно за нами наблюдать.

Примкнул и был принят в сообщество третьеклассник Шурка Елеонский, прозвищем Хамово Отродье. Прозвище это Шурка сам придумал себе и переменить его не пожелал, чем даже туги-душители были несколько обескуражены. Широкоплечий, низкорослый, сутулый, Шурка общительностью не отличался. Обладал незаурядными способностями в усвоении древних языков, но учился испрохвала, книг тоже читал мало и обычно любил гулять по коридору либо по двору, где-нибудь на задах, заложив за спину руки и что-то обдумывая. Погуляет, погуляет, подойдет к группе бурсаков, прислушается, посмотрит острыми, «свиными» глазками, усмехнется про себя и, ни слова не говоря,

отойдет. О чем он размышлял, было неизвестно. Но мы знали: Хамово Отродье не выдаст, от опасного дела не отступится, и потому мы не отказали ему, когда он попросился в наше сообщество.

Отношения наши с бурсаками складывались сложные. Мы старательно соблюдали тайну, но в бурсе, в закрытом учебном заведении, скрыть себя вполне от любопытного взгляда, понятно, невозможно. Многие догадывались, кто является настоящим виновником проделок. Одни нам сочувствовали, охотно при случае выгораживали нас, лжесвидетельствовали в нашу пользу, предупреждали о начальственных кознях и западнях, выручали на уроках. Но таких было меньшинство. Большинство сторонилось нас и обходило. Уклад бурсацкий, мрачный и непотребный, изуверски угнетал нас, но многие дорожили и этим укладом. — «Выгонят — пойдешь под красную шапку!» — страшил бурсаков Тимоха солдатчиной. — «Уволят — пропадешь ни за грош, — твердили домашние, — будешь век вековать на побегушках у лавочника, либо в подмастерьях». Жизнь прожить — не поле перейти. Против рожна не попрешь, плетью обуха не перешибешь, а сунешь нос, куда не следует — тебе покажут, где раки зимуют, будешь гол, как сокол, или попадешь туда, где черный ворон кости православной не занашивал. И бурсаки видели: кругом люди духовного звания нищенствовали либо торчали в консисториях, послушничали в монастырях, пономарничали, низкополонничали, спивались. «Пропадешь!» — твердили кругом, и бурсаки уже с отрочества набирались благоразумия, расчетливости, страха перед жизнью, рабского духа, готовые, однако, в любую удобную минуту своим «благодетелям» посильно навредить и напакостить.

Отношение к нам большинства бурсаков было двойственное: исподтишка нам, возможно, и сочувствовали, но в то же время нас и боялись: а вдруг озорники накличут общую беду на всех, а вдруг из-за них посадят в карцер, выведут тройку по поведению, оставят на второй год, либо уволят. Больше всего косились на нас четвертокласники: им оставалось всего несколько месяцев до окончания бursы и до перехода в семинарию; понятно, они и опасались непредвиденных осложнений: дознаний, общих наказаний, временного закрытия бursы, ревизоров от епархии и синода. Однокласники тоже поглядывали на нас настороженно: как бы чего не вышло. Мы были одиноки. Мы жили обособленной жизнью, озорники, мечтатели, подростки-лиходеи, безотцовщина, заскорузлые, очерствелые. Мы дрались прежде всего с начальством, но мы ненавидели, презирали и быт внутрибурсацкий, грязный, мелочный, затхлый, со всякими

страхами. Правда, самим бурсакам обычно мы зла не делали, но и добра они от нас не видели. Жили вместе и жили врозь. Думали и мечтали о разном и на разное надеялись. Чувствуя свою силу, созданную единением, мы над многими насмешничали. Нам платили отчуждением и даже враждебностью.

...Учебные дела мои шли все хуже и хуже. Мне налепили сплошных единиц и двоек. Изо дня в день я либо сидел в карцере, либо — без обеда и ужина. Тимоха вызывал маму: если я не исправлюсь, буду лишен казенного содержания. Я равнодушно выслушивал ее сетования. Я сделался заправским бурсаком и патриотом сообщества тугов-душителей, охранял бурсацкие заветы. О своем будущем я много тогда не размышлял, надеясь на мустангов, на винтовку, на льяносы и на пампасы.

...Незадолго до пасхальных каникул училище посетил архиерей. Прибыл он неожиданно и зашел в наш класс. Шел урок русского языка. Мы пропели «исполлаэти деспота». Архиерей, высокий, дебелий старик, забыл сказать: садитесь! — и мы долго стояли. Наконец, он догадался нас посадить, спросил о занятиях. Коринский дал суетливые объяснения. Архиерей, опираясь на посох и перебирая четки, обвел внимательными глазами класс.

— Кто у вас самый нерадивый ученик?..

Коринский в замешательстве переглянулся с Тимохой и Халдеем. Взгляд его пал на меня, он опять перевел его на Тимоху, очевидно, спрашивая. Тимоха едва заметно кивнул головой. Коринский назвал меня; я поднялся. Архиерей сумрачно и долго разглядывал меня, отодвинул посох, взял с кафедры хрестоматию, перелистал ее, подошел к моей парте. От черной, шуршащей рясы пахло розовым маслом, ладаном, клобук был надвинут по самые кустообразные брови. Пухлым пальцем он указал на раскрытую хрестоматию:

— Стихи писателя Аксакова «Всенощная в деревне» наизусть знаешь? Убери руки с парты. Приучайся к скромности и благообразию.

Я убрал с парты руки, откашлялся, прочитал:

Приди ты, немощный,
Приди ты, радостный,
Звонят ко всенощной,
К молитве благостной.
И звон смиряющий
Всем в душу просится,
Окрест сзывающий
В полях разносится...

Архиерей слушал, склонив голову на бок и закрыв глаза. Когда я умолк, он взглянул на меня, пожевал мясистыми губами, мечтательно промолвил:

— И звон смиряющий, понимаешь, отроча младо? Звон... — он хотел еще что-то сказать, но оборвал себя, спросил:

— Еще какие стихи знаешь про звон?

Подумав, я назвал стихи Козлова.

Архиерей медленно полуобернулся к Тимохе и вопросительно на него поглядел: самый нерадивый ученик, а стихи знает. Тимоха поспешно объяснил, держа руки по швам:

— Ленив, ваше преосвященство, и озорует. Шел раньше в числе первых, но увлекся светскими книгами. Даже сочинения господина Короленко находили у него. Строптив, упрям, своеволен.

— А стихи о звоне произнес внятно, — заметил архиерей. — Кто у тебя родители?

Я ответил. Архиерейской похвалой я был польщен и сильно прибодрился. Архиерей, как бы уже утомившись, взял опять в руки посох и, тяжело опершись на него обеими руками, скучно и серо произнес:

— Сирота должен отличаться примерным добронравием. Ты казеннокоштный?

— Я казеннокоштный, ваше преосвященство.

— Вот видишь: отечество и церковь о тебе заботятся, тратят средства, а ты, неблагодарный, этого не ценишь. — Он еще больше обернулся к Тимохе и к Халдею: — Надзирайте за этим воспитанником со всей строгостью, он...

Архиерей хотел еще что-то сказать, но неожиданно умолк, насторожился, приложил к уху ладонь, причмокнул губами.

— Не так... не так... совсем не так... — пробормотал он и сокрушенно покачал головой.

Одним почудилось, что архиерей перебил и поправил вслух самого себя; Тимоха же и Халдей бросились к нему с неммым вопросом: может быть, его преосвященство нашли новые непорядки и осуждают их? Архиерей, все еще качая головой, поспешно направился к дверям. Мы проводили его нестройным пением и недоуменными взглядами.

Недоумения разрешились позже. Архиерей слыл любителем и знатоком церковного звона. Видимо, и меня он неслучайно заставил читать стихи о колокольном звоне. Свои преобразования в епархиях он начинал с нового подбора колоколов. Он знал лучшие в России колокола, звонарей, мастеров своего дела,

переманивал их из других губерний, не жалея на них средств. Купцам, богатеям, помещикам была известна эта архиерейская слабость и, когда требовалось его задобрить, обычно делались пожертвования на колокола. При объездах архиереем епархии священники прежде всего заботились встретить владыку своевременным и благозвучным звоном, для чего за десятки верст высылались дозорные и перенимались друг у друга хорошие звонари. Во время богослужений архиерей иногда до того заслушивался перезвоном колоколов, что забывал подавать возгласы. Говорили также, будто его будят ото сна каждое раннее утро; на заре церковный звон по-особому чист; ухо архиерея улавливало малейшие оплошности и срывы. Будучи у нас на уроке, «владыка» услышал колокола Казанского собора и замечание его — не так, — совсем не так, — относилось к церковному звону.

Последствия удачного чтения стихов были совершенно для меня неутешительны. С уходом архиерея Коринский долго крутил ухо, вызвал меня к ответу, срезал и учинил мне единицу, а Тимоха, вдобавок, наградил меня карцером.

К пасхальным каникулам в отпускном билете значились пять голых единиц, три жалких двойки и четверка по поведению с убавлением.

Я решил: нет правды на земле, дел поправить нельзя, придется второгодничать, — и почувствовал себя окончательно отпетым; я никого не любил, ничем не дорожил. Когда после каникул туги-душители вновь собрались, я подговорил их к новым подвигам.

Рядом с бурсой жили захудалые дворяне Романовские. На реку выходил облезлый каменный дом с верхними пристройками, а к нашему двору примыкал сад, большой, пахучий, с соснами и елями, с яблонями и вишнями, с кустами малины, черной смородины и ежевики. Туги-душители решили сделать набег на романовские владения. Опасались мы дворника и огромного цепного пса. Мы собрались по обычаю после ужина на задворках. Черная Пантера глухо рычал, делал кровожадные прыжки и когтил. Главный Начальник предупредил: — «Предателям смерть и могила!» — В предупреждениях таких никто не нуждался, но Начальник полагал: напомнить лишний раз о суровых правилах игогов никогда не помеха. Стальное Тело молчал с испытанным и умудренным видом, но не преминул напомнить церковность.

— Вот люди, — сказал Чугунный гашник, — у которых на уме беззаконные.

— Лассо тебе на шею! — оборвал его Главный Начальник.

Верховный Душитель, тоже для порядка, устроил поименную

переключку тугов: все были налицо, в том числе и вновь принятый собрат Хамово Отродье. Хамово Отродье стоял с завидным спокойствием.

— Вперед за трофеями и славою веков!

Умел выражаться Верховный Душитель!

— А я не пойду за трофеями и за славою веков, — спросонья произнес Серега. — Вы забыли упомянуть вождя делаверов.

— Краснокожий и блистательный брат наш, неустрашимый вождь гурунов! Ты нами не забыт, да будет благословенно имя твое!

— В таком разе Бурый Медведь с вами.

Первым перемахнул через забор Черная Пантера. Ему поручалась разведка. Он исчез меж кустами и деревьями. Прочие туги-душители сидели верхом на заборе и ждали вещей сигналов. Послышался троекратный крик совы: гукал разведчик, надо признаться, очень жутко. Мы спустились с забора и ползком, с ножами в зубах (иначе нельзя!) проникли в глубину сада... «При свете луны страшно сверкал разбойничий нож мельника», — вспомнил я пресловутое начало из своего романа, в коем, к сожалению, была написана всего-на-всего одна глава и то в одну единственную страницу. Я не обратил внимания на явные несообразности: нож сверкать не мог, луны не было и в помине; непонятно также, откуда, к чему, зачем появился мельник.

Размышлять и ловить себя на несообразностях, впрочем, долго и не приходилось. По приказу Главного Начальника туги-душители стали крушить врага. Год назад Романовский сделал новые посадки яблонь, груш и слив. Ими и занялись прославленные и неутомимые йоги. Мы резали посадки, вырывали их с корнем, затыкали верхушки за пояс, по-нашему снимали скальпы. Работали споро. Не обошлось и без потерь: Чугунный гашник долго пыхтел над сливой, рассвирепел, нож соскользнул со ствола, вонзился ему в руку. Окровавленный Гашник вышел из строя и отполз в тыл к забору, где, однако, не пожелал бить баклуши, но занял место дозорного, сменив Черную Пантеру. Слава героям! Дворник, должно быть, спал; спал и цепной пес в конуре.

Я украсил пояс не одним трофеем. В углу сада подвернулась молодая яблоня. Упругая, она холодила руку. Нож успел притупиться и мне все не удавалось справиться с деревцем. Оно гнулось из стороны в сторону, трепетало, голая верхушка чертила небо; небо блистало звездными кучами и тоже трепетало от их сияния. Чувствуя последнее сопротивление, последнюю борьбу за жизнь, я ожесточенно стал резать и кромсать ствол; яблоня, уже не в силах сопротивляться, поникла и, наконец, срезанная, упала

на землю. Я снял верхушку, разминая почки. Клейкие и пахучие, они пристали к пальцам. Они пахли весной, нерастраченной свежестью. Под ногами чернела влажная, теплая земля. От нее несло винной прелью прошлогодних опавших листьев. Меж деревьев, в простенке тускло блеснула узкой полосой река и откуда-то широкой теплой волной дохнула ночь. И тогда я точно на миг пробудился. Будто впервые после изнурительного и темного сна увидел я и сад во всей его весенней прелести, и торжественное, всегда таинственное, сияющее небо, и притомленный романовский дом, такой мирный, старенький-старенький дом. И все, что было предо мной, вдруг прошло в каком-то инобытии... Недели две назад заметил я здесь садовника; кривым ножом он подрезал ветви и подолгу стоял на солнце перед деревьями с непокрытой седой головой. С ним рядом на неокрепших ногах преважно переваливался карапуз с розовыми и пухлыми щеками. Он хватался за полы дедовского пальто, тянулся к ножу и что-то медленно жевал. Я вспомнил теперь и садовника и малыша... Что же это я делаю?.. Зачем нужно уничтожать эти яблоньки? Ведь это ужасно, отвратительно! Бурса обволокла, окутала меня и моих сверстников душной морокой, напоила тяжким хмелем. Пустая мечтательность, нелепые бреды, глупое молодечество, рожденное в убожестве, от убожества, от меня скрыли жизнь и все дальше уводят по навей тропе. Я стал глухим, незрячим, оступел, опустошился. Я потерял свой мир. И вот в руках у меня нож, молодые, свежие посадки... Праздные силы!.. мерзость!.. Все это промелькнуло в одно краткое мгновенье, но настолько сильно, что я тут же побросал, помню, свои трофеи и поспешно спрятал нож...

Мы возвращались уже с набега и лезли через забор, когда послышался хриплый собачий лай и темная фигура дворника метнулась в нашу сторону. На бурсацком дворе Стальное Тело показал порезанные пальцы:

— И кровь наша падет на врагов наших и на потомков их даже до десятого колена.

Главный Начальник спросил меня:

— Но где же твои скальпы, наш бледнолицый брат?

Я притворился, будто не слышал вопроса.

Хамово Отродье мечтательно заметил:

— Недурно бы домик почистить: пожива в нем есть.

Ночью у меня долго не шли из головы узкая полоска реки, почки и как я стоял в саду и не знал, что делать с собой.

Разгром романовского сада получил в бурсе громкую огласку. Дворник утверждал, что это дело бурсаков: он видел, они лезли через забор. Петя, Хранитель печати, по нашему настоянию

прикрепил к одному из деревьев бумажку с печатью тугов-душителей; бесспорная оплошность. Бумажка попала в руки самому Романовскому. Итак, тугов-душителей надо искать в бурсе. Романовский жаловался Халдею и по слухам обращался даже к самому «преосвященнейшему владыке». В своих обличениях Тимоха вопил о неслыханном позоре: в духовном училище, в этом питомнике пастырей, орудует шайка мародеров. Она присвоила себе богохульное название тугов-душителей. Душители осмелились у столбового дворянина уничтожить молодой сад. Напрасно, однако, эти поганцы думают, что они со всеми черными делами пребудут в тайне. Нет и нет! Все тайное делается явным. Дурную траву из поля вон!

Следствие повел сам Халдей. Он вызывал бурсаков в пустой класс и там подолгу пытал их. Из иогов-душителей Халдей подверг допросу Хамово Отродье, меня, Черную Пантеру и Главного Начальника. Глухим голосом Халдей мне объявил: ему все известно; он знает, кто вошел в банду; в банде, в числе иных прочих, состою и я; одно чистосердечное признание облегчит мне вину; в противном случае меня изгонят из бursы с тройкой поведения. Я отвечал полным неведением. Халдей не сводил с меня оловянных глаз; оттопыренные, просвечивающие уши угнетали меня. Может быть, правда, они все слышали? Он долго страдал и даже проявил несвойственное ему красноречие. Я не дрогнул. Остальные иоги тоже не поддались угрозам.

Очевидных улик против нас не было, но нас уже сильно заподозрили. Что же делать дальше? Мы разошлись во мнениях. Стальное Тело, Черная Пантера, Хранитель печати находили нужным выступления покуда прекратить. Остальные настаивали на их геройском продолжении. Правда, я поостыл, но скрывал это даже и от себя. Стальное Тело перешел на нашу сторону, а Черная Пантера объявил — ему все равно. Мы решили покрыть себя новой славой веков. Мы вспомнили о священном клеймении. Главный Начальник предложил клеймить исключительно гимназисток. Туги-душители охотно согласились. Разногласия обозначились дальше. Витька настаивал, чтобы при священном клеймении гимназисткам непременно задирали юбки и клеймо накладывали не на руку, а на ногу. Даже нас, испытанных тугов-душителей, взяла оторопь, когда Богоявленский изложил нам это свое дополнение. Мы смутились. Стальное Тело изрек — «Помоему, это не подвиг, а блуд». — Другие, Черная Пантера, вождь делаверов, я — Верховный Душитель, возражая, может быть, и не совсем правдиво, говорили: стоит ли путаться с девчонками; приложил печать, и делу конец. Тогда Витька обрушил на нас отменную ругань. Он называл нас тухлятиной, кастратами,

затронув тем самым мужскую нашу гордость. Этого стерпеть мы не смогли и согласились с дополнительным предложением Витьки; согласие было встречено адским хохотом Хамова Отродья, после чего он умолк и сделался даже угрюмым. Наотрез отказался пропечатывать обнаженных гимназисток Петя Хорошавский.

— Обойдемся и без тебя, — презрительно ответил ему Витька, сморщив нос загогулиной.

...Темным часом туги-душителю засели в кустах на Варваринской площади, неподалеку от пожарной каланчи. Ждали минут двадцать. Гимназистка показалась со стороны церкви. По аллейке она пересекла площадь, — тонкая фигурка в коричневом платье, в переднике, в легком весеннем пальто и в берете с помпончиком. Держа пачку книг, стянутую ремнями, она спешила и, видимо, побаивалась. И площадь и аллея были безлюдны. Мы ждали сигнальных знаков от Главного Начальника, но Начальник почему-то замешкался. Сигнал он подал, когда гимназистка отошла от нас шагов на двадцать. На витькин посвист мы бросились к нашей жертве тоже с некоторым опозданием. Окружив гимназистку, мы стали нелепо топтаться. Она испуганно вскинула на нас дрожащие ресницы. Из-под берета выбивался нежный локон и две юных косы лежали на спине, туго заплетенные и с бантиками. Молчали. Молчала и наша жертва.

Сказал я первым:

— Карамба! Сакраменто!.. Мы туги-душителю... — Слова застряли в горле.

— Пустите... — сказала пленница, беспомощно оглядываясь.

Она сделала движение вперед. Мы не тронулись с места. Пленница вздрогнула узкими детскими плечами, лицо у ней распустилось, губы скривились, она закрылась рукой, что-то прошептала, но я не расслышал слов. Стальное Тело с чугунным гашиком выдвинулся вперед, грубовато пробубнил:

— Не бойтесь... не вздуем... ничего не будет...

— Карамба! Сакраменто! — пробормотал я через силу, глядя на обильные слезы жертвы.

— Где вы живете? — спросил пленницу не своим голосом Главный Начальник.

Пленница отняла руку от лица, всхлипывая, прошептала:

— Вон там. — Она указала локтем направо, где неясно выступал дом с мезонином и палисадником.

— Сволочи! — вдруг загремел сзади Хамово Отродье. Он стоял, сжимая кулаки за спиной и расставив ноги. Острые «свиные» глаза у него совсем ушли вглубь под орбиты, полные корявые щеки дрожали.

— Сволочи! — прохрипел опять Хамово Отродье, шагнул, растолкал нас, схватил гимназистку за руку и с силой рванул ее к себе.

— С бабами вам только цацкаться! — прорычал он и опять рванул гимназистку. — Ты!.. — задыхаясь, прохрипел Хамово Отродье, посинелый, вглядываясь ей в лицо.

Неизвестно, чем окончилось бы все это предприятие, но в конце аллеи показались двое горожан. Они приближались к нам. Мы врассыпную бросились с площади к бурсе.

Священное клеймение не удалось.

— Чертовски хорошенькая девчонка! — с наигранной беспечностью заявил Главный Начальник, когда мы немного отдышались на бурсацких задах. — Не девчонка, а прямо саронская роза, клянусь длинноствольной винтовкой дона Хозе.

— Но веселей молодецкая воля, — заметил я Начальнику. — Золото купит четыре жены, копь же лихой не имеет цены!..

— Почему же ты, Витька, не заклеймил девчонку печатью? — опросил угрюмо Стальное Тело. — Собирался еще задирать юбки.

Почему, почему! — вскипел Начальник с излишней горячностью и сверкнул глазами. — Потому, что ты вислоухий идиёт, вот почему! Тысячу чертей и пику всем в печонку! Туги-душители — рыцари, понимаешь ты это, подлый блинохват? Если она такая-сякая, сухая, немазаная, разнюнилась, в бок ей томагавком, что ж оставалось с ней поделать?

Выступил Стальное Тело с чугунным гашником:

— Не говори, Витька, неправды. Ты сплеховал перед девчонкой.

— А ты первый сказал ей, что мы ее не вздуем. Все лупетки на нее вывернул, чуть-чуть не лопнули.

Стальное Тело надулся, запыхтел, сделался багровым, шагнул к Начальнику:

— Это я на нее все лупетки вывернул?

— Да, это ты на нее все лупетки вывернул! — закричал Начальник, встречая всей грудью Стальное Тело.

— Это я-то... — но тут Стальное Тело неожиданно осекся и отошел к дровам, невнятно выборматывая что-то под нос.

Главный Начальник презрительно поглядел ему вслед.

— Много наврал ты нам, Витька, про своих любовниц, — брякнул Серега Орясинов, Бурый Медведь. Он сидел на обрубке и строгал колышки.

— Это я-то наврал? — возмутился Начальник, испепеляя взглядом делавера.

— Наврал много, Витька, — подтвердил положительно гурон, продолжая спокойно стругать в темноте колышки.

Я хотел стать между братьями, дабы предупредить свалку, но Главный Начальник тоже неожиданно сник, сердито нахлобучил фуражку по самые глаза и даже сделал шаг в сторону, куда-то к дровам.

— Пику тебе в печонку! — пробормотал он без заметного подъема. — Ха... девчонка! Подумаешь, невидаль какая! Захочу — окручу разом вокруг пальца! Подумаешь!..

Неудача со священным клеймением, замешательство Стального Тела, пустое хвастовство Главного Начальника повергли меня в смущение. Занимая ответственное место Верховного Душителя, я обязан был подтянуть друзей, поддержать в них боевой пыл. Поэтому со всей решительностью я объявил:

— Карамба! Пусть поразит всех нас проказа, сифилис и бубонная чума, если мы, туги-душители, отступим перед передником и бантиками!.. Нам помешали более сильные враги. Только и всего.

— Ты разумно говоришь, наш старший брат, — глубокомысленно заметил повеселевший Главный Начальник.

— И разве вы не видели, друзья, что от каланчи к нам приближались еще и пожарные?

— Нет, этого я не видел, — признался делавер.

— А я видел, — горячо поддерживал меня Главный Начальник.

— Как же, они бежали прямо на нас, — продолжал я уверять.

— Выкурим, братья, трубку мира! — предложил Начальник, набивая самодельную носогрейку березовой корой. Трубку мира курили в исключительных случаях.

Все молча по очереди пустили дым Поквамы.

Только один из нас, Хамово Отродье, не принял трубки. Он язвительно ухмылялся.

Я не решился его спросить, почему он не затянулся дымом Поквамы и почему он смотрит на нас озорно и двусмысленно...

...Экзамены прекратили наши боевые действия. Дела мои не поправлялись. Я остался второгодничать. Впредь до исправления меня лишили казенного содержания. Вместе со мной в камчадалы попали Стальное Тело и Витька.

На каникулы я поехал к дяде Николаю Ивановичу. Родным я солгал, будто экзамены сданы мною успешно. Об отпуском билете было сказано — он остался у мамы. Она замешкалась в городе и приехала месяц спустя. Обман обнаружился. Но с ожесточением я продолжал твердить, что перешел в третий класс, хотя это было совсем нелепо. Меня посадили на хлеб и на воду,

требуя раскаянья. Я вспомнил о привольных пампасах и льяносах, о прериях и краснокожих друзьях. Украд из амбара мешок, я наполнил его сухарями; взял еще куртку, сапоги, перочинный нож, преогромнейшую дубину и наличными тридцать копеек. Надо было пробраться к Стальному Телу и сманить его. Он жил в сорока верстах. Пешком достигнем мы Черного моря, схоронимся в трюме, а там — прощай-прости, негостеприимные родные края, там заплещутся в борта могучие океанские волны, а потом верный внук Эль-Соля приветливо поднимет полог вигвама.

Ушел из дома я ранним утром, оставив записку, что след мой отыщется в девственных американских степях и лесах.

Путь лежал мимо села, где жил другой мой дядя о. Иван. Голубели колеи железной дороги... Солнце... Запах меда... Свежая роса... Отрочество. Справа, слева, куда хватал глаз, шуршала и колосилась рожь, белела гречиха, зеленели овсы, объятые нежным, молочно-голубым небом.

...Он шагал, помахивая грозной дубиной, одинокий, покинутый всеми, готовый сеять повсюду ужас и опустошение!..

Да... никакой пророк не приемлется в своем отечестве!..

Еще виднелось село наше в рощах, в дубравах. Высокий шпиль колокольни напоминал мачту корабля. Я погрозился дубиной.

Около полудня из-за холмов открылся приход дяди Ивана. Я притомился и спустился отдохнуть в овраг. Здесь встал перед моими глазами пышный дядюшкин сад. Уже созрела вишня, знаменитая на всю округу владимировка, сочная, темно-красная. Я не преодолел искушения, спрятал в кустах мешок с сухарями, пробрался в сад. Вишни свисали пышными гроздьями. Ни Следопыт, ни Розбуа, ни Тобиас, ни Ункас не отказались бы на досуге ими полакомиться. Нет, мои друзья — не аскеты, не анахореты, отнюдь нет! Вместе с непоседливыми и болтливими воробьями и скворцами, в окружении густой листвы, вдыхая несравненный запах разогретого солнцем вишневого клея, я беспечно подкреплялся и охлаждал свой рот. Уже успел я насытиться и измазать руки, губы и щеки пурпуром, когда увидел Федю, двоюродного братца. Сначала я от него прятался, но нехорошо быть человеку единому; я окликнул кузена. При виде меня он немало подивился, но еще больше я его поразил, сообщив, что навеки вечные расстался я с родимым кровом и что в прельстительных пампасах меня ожидает неведомое и чудесное. Федя глазел, запустив глубоко в рот палец.

— Эй, байстрюк! Вишь, забрался куда!..

...Квадралион чертей и преисподняя!.. Внизу, под деревом у плетня, верхом на лошади, задирает на меня голову работник

Николая Ивановича, Кузьма.

Вишни сгубили меня.

— Слезай, слезай! Ужо пропишут тебе! Чего надумал!

Кузьма прыгнул тяжело с лошади, неторопливо привязал ее к плетню, послал Федю за дядей Иваном.

Вишни сгубили меня... Как бы то ни было, Верховный Душитель защищается до последнего издыхания... Непростительная оплошность: великолепную дубину и нож булатный я оставил в овраге. Тем труднее оборона!

— Не слезешь, — тянул равнодушно Кузьма, — не надо. Не слезешь — подождем. Спешить некуда. — Он сел у плетня в тени и стал вертеть козью ножку.

— Мать убивается, а ему хучь бы што. Никакого утомона нету.

Потное рябое лицо Кузьмы расплывалось от жары. Закурив, он стал копаться в ногах, в узловатых грязных пальцах.

Чем-то он напомнил Халдея и Тимоху... Мелькнули тонкие просвечивающие уши... Нет, уж плакать Верховному Душителю не пристало, не пристало, не пристало! Семи смертям не бывать, а одной не миновать!

Подошел дядя Иван с детьми, с кухаркой Степанидой и лавочником Селезневым.

— Не ждал тебя, племянничек, в гости, не ждал! Ну, что же, сходи к нам сюда, мирком да ладком побеседуем...

Дядя Иван щурился на меня притворно-приветливо и насмешливо.

— Сползай, сползай!

— Не слезу! — ответил я угрюмо.

Смущало меня очень, что щеки мои и губы были в вишневом соку. Не дело это для туга-душителя, не дело! Ах вишни, вишни!..

— И чему их учат там, в этих училищах? — вмешался в происшествие коротконогий лавочник. Он отер красным грязным платком круглую розовую плешь и жирную открытую грудь в жестких волосах. — Одно баловство, деньгам перевод и боле ничего. От рук отбиваются да вон еще какие пули отливают.

Год назад Селезнев единственного своего сына Петяшку пытался пустить «по образованной части», но Петяшка обнаружил себя лентяем и тупицей, лавочнику пришлось взять его обратно из городского училища; после этого Селезнев «об ученых» говорил с завистью и злобой.

Дядя Иван покосился на лавочника, засунул глубоко руки в карманы подрясника и, перебирая там пальцами, стал уговаривать меня. Я отмалчивался, сидя на суку.

— Нет, я бы вожжей наугощал его, это уж беспреренно, —

равнодушно заявил Кузьма, почесывая ноги и разглядывая синие, уродливые ногти.

— Ррр!.. Ррр! — послышалось с дерева. — Ррр! Ррр! Гав! Гав!

Изгибаясь и крепко держась за сучья, я рычал, гавкал, раскачивая вишню. Семь бед — один ответ! Я решил изобразить ягуара. Вишневый сок на губах и щеках уже казался мне запекшейся кровью растерзанной жертвы, и сам я готов был сделать хищный и погибельный прыжок. На меня воззрились с недоумением.

— Ишь, пащенок, что выделяет! — философически заметил Кузьма.

— Ах ты, бесстыжий, — укоряла кухарка Степанида с косым и тугим брюхом.

Дядя Иван качал головой. Братцы и сестрицы таращили глаза с неподдельным любопытством. Что-то будет!

— Нечего на него боле глядеть! — с неожиданной твердостью сказал, поднимаясь с земли, Кузьма и взялся за плетень.

Я отбивался, отбрыкивался и все метил Кузьме каблуком в голову. Принесли лесенку. Кузьма, тяжело дыша, сволок меня, наконец, с дерева. Он крепко, до боли держал меня, и я с отвращением вдыхал из его рта жаркое зловоние.

Меня заперли в темном амбаре. Я вспомнил ненавистную бурсу, карцеры, Халдея, убожество, грязь! Хорошо бы стать журавлем! Махать бы широкими крыльями над землей и слушать свое вольное курлыканье! Потом я тихо пел грустные песни и заснул, по правде говоря, как будто в слезах. На другой день братишка Костя выкрал перед обедом ключ и выпустил меня. Я спрятался в саду и не знал, что делать с собой. Воля моя к побегу в Америку была надломлена. Неподалеку, меж деревьями, за малинником, гудели пчелы на пасеке. Вдруг над одним из ульев взвился бурый клубок. Я забыл об огорчениях и что было мочи бросился к дому. В столовой обедали.

— Пчелы роятся! Ей-богу!.. — выпалил я, едва переводя дух.

— Да откуда же ты взялся? — с удивлением спросила тетя Саня, жена дяди Ивана.

Тут я только догадался: ведь я должен был сидеть под замком.

— Пчелы роятся! Около березы! Роище темный!.. — продолжал я докладывать.

Дядя Иван поспешно вытер усы, заткнул за пояс полы подрясника и, на ходу надевая сетку, скрылся в саду. Пчелы к тому времени повисли на яблоне.

— Ты хоть губы-то и щеки от вишен отмой, — примирительно молвила тетя Саня и пригласила меня к столу.

Вечером я возвратился к Николаю Ивановичу с повинной.

Неудачный побег в страну пампасов и льяносов я скрыл от тугов-душителей...

...Отдыхая в горах, получил я неожиданно, сложными, окольными путями письмо от профессора зоологии Константина Сергеевича Трубчевского. Летним досугом он прочитал мою книгу о прошлом и решил мне написать. Он напомнил, между прочим, и даже в подробностях, о проделках йогов.

Друг мой Верховный Душитель, — писал мне профессор зоологии, — от того времени отделяют нас десятилетия. Сед я стал, да и ты — слухом земля полнится — видно, не отстаешь от меня в этом. Есть у меня научные заслуги; о них знают даже за рубежом. Есть семья, взрослые, превосходные сын и дочь, есть слушатели моих курсов, братья-ученые. Не могу пожаловаться: меня ценят. Нашему поколению выпала редкая доля стать участниками и свидетелями удивительных событий. Припомнить их, начиная с девятьсот пятого года — дух захватывает. Но почему ж, скажи, почему, когда обращаешься к прошлому, а делаю я это нередко, в памяти всплывают прежде всего наши «подвиги»? Ведь — озорство, дичь, грубо, неумно, а вспоминаешь чаще других, более разумных действий не только с отрадой, но даже и с восхищением. Помнишь из «Опавших листьев»: «Ужасно люблю гимназическую пору. И вечно хочется быть опять гимназистом». Ну ее к чорту, серьёзную жизнь!

К дому, где я живу, примыкает сад. Вечерами я люблю в нем гулять. Студенты, проходя мимо по двору, поглядывают за ограду. Понятно, они думают, что заслуженный профессор Трубчевский, шагая по дорожкам, решает великие научные вопросы. Вопросы вопросами, но им, разумеется, невдомек, что иногда благомысленный муж науки, непреклонный с лица, вспоминает благодарно и грустно Черную Пантеру, Стальное Тело с чугунным гашником и как мы, бурсаки, клеймили гимназистов, подстерегали из-за угла с камнями Халдея, воровали с голоду морковь и бились на кулачки с ремесленниками.

Ах, мои юные друзья! Не верьте глубокомысленному и многоопытному виду почтенных людей, не верьте им!..

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

«И демон дум меня тревожит».

Байрон

*«Влечет к брегам безвестным
новый день».*

Гете

I. Исход

ЗА НЕУСПЕХИ и за худое поведение меня лишили казенного содержания. Мама сняла мне угол со столом за пять рублей в месяц на Второй Долевой улице у земского статистика Михал Палыча Орловского. Еще со мною у него жил шестиклассник-семинарист Бенедиктов, существо, добродушное и ленивое. Посещал он семинарию изредка, больше по вдохновению, обычно же валялся на дырявом диване и мог спать круглые сутки. Бенедиктов не умел говорить, а оглушительно рычал необычайно низкой октавой, стеснялся своего рыка, прикрывал рот ладошкой и свертывал на бок голову; получалось нечто совсем невразумительное и чревоушительное. Эти предохранительные меры делу не помогали, и Бенедиктов утверждал: он уже дважды лишался выгодной партии «со взятием»: невесты пугались его октавы и наотрез отказывались от жениха. К Бенедиктову нередко приходил его друг и товарищ Терлецкий, тоже шестиклассник. Этот веселый повеса шатался по духовным и чиновникам, у кого были на выданьи дочери, опивался и обедался у них, вел положительные и подробные разговоры о приданом и вовремя улизывал.

Наш квартирохозяин, Михал Палыч, тоже в свое время прошел бурсацкий искуc. Отец Орловского служил дьячком в приходе на полтора двора, имел пристрастие к спиртному и любил говаривать, что ему из-за пьянства некогда даже рюмку водки выпить; еще любил он горы, но видел их только во сне. Пьяный псалмопевец погиб в свирепый бурун. Спустя год умерла и Михайлова мать. Семилетнего сироту взял к себе в губернский город дядя, старший брат отца, столоначальник духовной консистории.

Дядя изводил малыша колотушками, но еще больше пустосвятством и пустословием, боялся простуд и даже летом ходил в шерстяном и ватном, а от грозы прятался с головой в подушки. Спустя два года «Мишутка» был принят «на казенный кошт» в духовное училище, чему очень обрадовался, но совершенно неосновательно, ибо бурса поистине показала ему небо с овчинку. Самым прочным воспоминанием от тех лет осталась у Мишутки порка. Пороли его в числе иных прочих неуклонно, с поучениями, с молитвами, пороли с остервенением, не жалея ни своих рук, ни тощего мишуткина тела.

Мишутка бегал от старательных «духов», но его водворили в суровый вертоград, где для окончательной остратки попотчивали лозой с таким усердием, что долго неудачливый

бегун бредил по ночам и рвал на себе рубашонку и штанишки. За духовным училищем последовала семинария. В семинарии еще не изгладилась память о героической поре, когда там управлял мних Иероним. Именно он подверг порке будущего писателя Левитова за чтение «Мертвых душ», и тот больше месяца пролежал в больнице без памяти. Орловского тоже порол и в семинарии, но без памяти он не отлеживался, в чем бесспорно сказались последствия «эпохи великих реформ», общечеловеческого прогресса и первых просвещенных и отрадных предзнаменований. Из семинарии Орловский вышел с ощущением и с убеждением, что мир есть порка и дранье. Такое философическое миропонимание мешало бурсаку определиться «по духовной линии». Орловский застрял учителем в глухом селе. Здесь его не одну зиму заносили снежные сугробы, засыпали злые выюги, заливали половодья, одолевали комары и всякая гнусь, трясли лихоманки, изводили одичалое одиночество, мужичья нищета, рабство, мрак, угнетали тоска наших полей и безотрадность родимых просторов и далей. За превратные мнения Михал Палыча преследовали поп, староста, становой, соседние помещики. Орловский, по примеру отцов своих, запил. Однако у него хватило сил во-время оглянуться. Оглянувшись, увидел, что погибает, бросил учительство, перебрался в город и в поисках работы больше года шлялся по трущобам и по ночлежкам.

В мое время Орловский служил земцем и прирабатывал уроками. Он остался бобылем, и его трудно было представить семейным. На окраине горевала двоюродная сестра его, вдова с тремя малолетками, и добрую долю своего заработка Михал Палыч отдавал ей.

Сперва я очень боялся Михал Палыча. Скуластый, сутулый, нескладный, косолапый, в преогромных очках, он подавлял меня своей угрюмостью, отрывистой грубоватой речью, нелюдимостью и взглядами исподлобья. Я скоро узнал, что Михал Палыч иногда «срывается», запивает. Тогда происходят с ним разные разности. Однажды он в ресторане, проходя мимо стола, где весело обедали и выпивали молодые люди и дамы, ни с того, ни с сего захватил всей своей пятерней пригоршню риса с тарелки, не долго думая отправил рис за корсаж некоей актрисе и был бит помянутыми молодыми людьми совместно с лакеями и служителями одного ресторана. В другой раз он забрался в карету, в ней заснул и был обнаружен владельцем, губернатором, уже по дороге домой. Губернатор до того растерялся, что довез Михал Палыча до губернаторских своих палат и даже не сдал его на съезжую приставу, а приказал протрезвить и отправить во-свояси. Чаше всего Михал Палыч приходил в себя где-нибудь в ночлежке,

обобранный и раздетый своими собутыльниками, случайными и подозрительными приятелями. В недолгом времени я и сам воочию увидел загулявшего Михал Палыча. В подпитии он оказал себя несколько не страшным, даже словоохотливым и склонным к любопытным рассуждениям и заключениям. Нетрезвый Михал Палыч мне поведал, что есть писатели-шестидесятники; они — «за народ», против всякой неправды. Многие из них обучались в бурсе; эти писатели не чета разным сочинителям, они не писали стишков про розы и морозы, про небеса и чудеса, про балконы и чудные ножки. Больше других из шестидесятников Орловский ценил Помяловского.

— Что ты читаешь? — сказал он, застав меня за «Арканзасскими трапперами» Купера. — Ерунда, брат, пустейшая пустяковина! Не духовная пища, а бумажные змеи, игрушечные мельницы! Ты, брат, других сочинителей читай... Постой, я тебе сейчас покажу, кого нужно читать... — С высокой полки Михал Палыч достал увесистую книгу в темном коленкоровом переплете, подошел к столу, обдавая сивухой и табаком.

— Вот, послушай, — сказал он внушительно и поглядел на меня поверх очков, сдвинутых низко на нос. — «Мы сочли за необходимое, — читал он с расстановкой, — предупредить читателя, что если он слаб на нервы и в литературе ищет развлечения и элегантных образов, то пусть он не читает мою книгу... Мы покажем вам разврат глубокий, невежество поражающее, где не знают, что такое земля, солнце, луна, ветер и т. п. и как скоты смотрят на явления жизни и природы; покажем бедность, до того облежавшую, что потеряно и притуплено чувство страдания от нее; покажем забитость неисходную, покажем подлость и низость души закоренелую... Полюбуйтесь!.. Нет, кому не следует, пусть не читает моей повести!..»

— И показал, показал! — в неожиданном азартом воскликнул Михал Палыч и даже стукнул кулаком по столу. — «Очерками бурсы» показал и остальным показал! Но... преждевременно погиб... от запоя, в нищете-с! Похоронить было не на что, да-с!..

Михал Палыч подошел к окну и порывисто распахнул раму. Повеяло вечерней октябрьской прохладой.

— А почему погиб, почему не прожил даже и тридцати лет, спрошу я вас, сударь?

Орловский опустил крупную, кудлатую голову и зашагал из угла в угол по комнате, натываясь на стены.

— А потому погиб, а потому загубил младую жизнь свою, что попытался честно прожить! А знаете ли вы, уважаемый, что значит честно прожить?.. Мир ведал безумцев, бунтарей, проповедников, мучеников, вожаков, фанатиков. Велики их дела,

самоотверженна их жизнь! Но... полная, совершенная честность им неведома, да-с! Не-ве-до-ма! Настоящая честность — без иллюзий, без миражей, без прикрас... Посмейте взглянуть на человека, каков он есть, без выдумок, без мечтаний! Сумеете поглядеть на мир без эстетик, без этого — как хороши, как свежи были розы!.. Попробуйте, сударь вы мой, и тогда убедитесь, насколько это затруднительно, насколько тяжело и прискорбно! Нечего тешить себя романтикой, мечтаниями об осласчастливленном, о подчищенном человечестве, нечего услаждать себя верой и надеждой, неизвестно на чем положенных, обличениями вещей невидимых, чарами, утопиями и сновидениями наяву! Довольно! Пора, давно пора познать суть жизни без вымыслов! Правда глаза режет. Ничего, пусть колет, пусть режет! Честнее! Скорее рассеется морока... Заметьте себе, сударь: в отечественной нашей литературе Помяловские — явление редкое и даже невиданное. Их до сих времен не оценили еще по-настоящему. Гоголь, Толстой, Достоевский, Белинский, Герцен, Чернышевский, Михайловский, Лавров и многие другие — были одержимы вероучениями, догматами, миражами. Каждый из них по-своему украшал мир на свой образец, всякий одевал его в ризы, кадил ему ладаном. Один поклонился розге и крепостному праву, другой системам Фурье и Сен-Симона, Гегелю, третий признал совершенством Платона Каратаева, четвертый утвердился на православии, пятый открыл свой закон неустанного и отрадного совершенствования человеческого рода, и так далее и тому подобное. А наши неотесанные бурсаки: Помяловские, Решетниковы, Левитовы никаких богослужений не совершали, ладаном не кадили, фимиами не воскуряли и душистых гвоздичек в нос себе не клали для приятного запаха. Они прямо брякнули правду, без вранья и виляний. Согласен, невежливо, грубо, в хорошем, в образованном обществе не полагается бухать прямо в лицо, всеуслышание, что на сердце и на ум легло! Неучтиво! Да где же этой самой учтивости было обучаться! Увидали же неотесанные бурсаки округ себя мерзость запустения, крошечный мрак, гадов ползучих, жалкое человеческое отребье, трепещущую и страждущую человеческую плоть, брюхатых жирных пауков, тарантулов, раздувшихся горой!.. Да... Это после них, позже славные, но наивные люди соорудили мужика-общинника, правдолюбца, готового водворить на земле рай и всякое благоволение. Дьячковские да кухаркины сыны этим сомнительным делом не занимались. Из мужика идола не делали. Почитайте, сударь, Николая Успенского; он в босяках тупым ножичком зарезался; или кого-нибудь другого из них почитайте: жестоко, мрачно, горько, но верно, по справедливо;

без выдумок... От правды и спились. Узревший правду — не бога, а правду — должен умерен... Воистину! Взглянуть-то сумели открытыми глазами на мир, а вынести зрелища не смогли... того... очень уж неказистое привиделось им зрелище. Оттого и до высшего искусства не дошли. Высшее искусство, оно, брат, требует некоего благополучия, жирка, сибаритства, идейных и жизненных удобств, прибавления к действительности, вымыслов, — а невежам нашим было не до того; они как увидели действительность, нашу, российскую, родную, так над ней и застыли... Ну, и того!..

Михал Палыч произнес все это с неожиданным для меня подъемом, даже со страстью, топчась по комнате и ломая пальцы; оборвав речь, он тяжело осел в обшарпанное кресло, сразу осунулся, лицо у него потемнело, он забылся. Очнувшись, глухо вымолвил:

...— Страшновато!.. У жизни вид, словно у Вия. Хома Брут взглянул и не выдержал... Тут на него и набросилась нечистая сила... И волшебный круг не помогает... Со сказкой жить легче, в сказке — выход из безотрадности, сказка создает новый мир. Самое трудное жить по заповеди: не сотвори себе кумира... Иной идолопоклонничает утопиям, иной — науке, иной — искусствам, иной — человечеству, страданию, богу на небе или на земле... кто во что горазд. А я вот не признаю, не хочу никаких идолов. стыдно-с идолопоклонствовать... Не хочу на мир, на людей накидывать покровов. Да... А ерундовские выдумки про ягуаров, про Кожаного Чулка, про пампасы ты, братец, брось... Узнай правду земли, какая есть она...

...Я перестал дичиться Михал Палыча и стал запоминать его рассуждения. Больше всего я любил его слушать, когда он бывал только «на взводе». Тогда он говорил даже увлекательно. Позже наступало тяжелое опьянение, Михал Палыч начинал бессвязно бормотать и ругаться. Бенедиктов уводил его в другую комнату и старался уложить в кровать. Удавалось это не легко: Орловский без шапки и пальто скрывался иногда и ночевал где-то в кабаках и в притонах, откуда появлялся в истерзанном виде. Я очень жалел Михал Палыча хорошей, детской жалостью и сильно привязался к нему. Михал Палыч это чувствовал, и в его грубоватостях находил я к себе расположение...

...Удивительно, как иногда во-время случаются встречи с нужными людьми! Михал Палыч мне нужен был в ту пору, чтобы я легче и скорее мог освободиться от того, что стало мне сильной помехой. Он разрушал увлечение Майн-Ридом, Жюлем Верном, мои детские предрассудки. Он был маловеер по преимуществу. Такие маловееры в те годы нередко выходили из стен бурсы.

Орловские видели зорко, видели много темного, отвратительного. В деревне они жили рядом с крестьянским разорением; в городе уже одна бурса недалеко отстояла от босаяцкого и бродяжьего дна. Маловерами Орловским помогали делаться и писатели-шестидесятники. Дальше этого большинство Михал Палычей, однако, не пошло, хотя глаза их и впрямь были открыты, мешала мелко-мещанская среда, алкоголизм, деревенское недоверие, российская лень, покладистость и целый ряд иных многообразных обстоятельств. Михал Палычи прозябали в провинциях, в нищих углах, и к сорока годам обычно гибли от пьянства. Впрочем Орловский — об этом дальше — не был чужд и некоторым другим «знаменьям времени».

...Я не жалел, что лишился «казенного кошта». Тайное сообщество тугов-душителей с осени к боевым действиям не приступило. Другое начинало нас занимать. Из нашего круга я и Стальное Тело с чугунным гашником первыми подвергли сомнениям веру отцов. Я был набожным подростком. Еще в раннем детстве меня пленил Христос, его проповеди о богатых и бедных, о саддукеях и фарисеях, тайная вечеря, моление о чаше в Гефсиманском саду, крестные страдания. Я также не знал, как может существовать вселенная без творца, я боялся дьявола и аггелов его, страшного суда и возмездия. С озорством тугов-душителей моя вера легко уживалась. Перед выступлениями игогов я обычно просил бога об удачном окончании дела. Я просил помочь нам очистить кладовую у эконома, угостить камнем Кривого или Красавчика, «высадить» стекла у Тимохи. За помощь я обещал отплатить поклонами и свечкой в целый пятак. Когда дело сходило с рук, я добросовестно исполнял обещания. Надзиратели, преподаватели, бурсаки, вероятно, удивлялись, наблюдая у меня припадки религиозного усердия. Им и в голову не приходило, что Верховный Душитель воздавал «божие богови» после некоего ушкуйного действа.

Богослужения и обряды я не любил, но из духовного у меня было любимое: «Свете тихий», «Слава в вышних богу», «Разбойника благоразумного», «Воскресни, боже», «Волною морского», а 136-й псалом, плач пленных евреев на реках вавилонских, я читал наизусть, пожалуй, чаще многих самых любимых стихов: — На вербах посреди него повесили мы наши арфы. Там пленявшие нас требовали от нас слов песней и притеснители наши — веселья — пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песнь господню на земле чужой... Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!..

Меня подчиняла и удивляла непосредственная, дикая и мрачная сила библейской ненависти.

Религиозное охлаждение началось с ряда вопросов. Бывает ли творение без творца? Ответ гласил: творения без творца не бывает. Мир создан. Кем создан мир? Он создан Высшим существом. Это понятно, но понятно только на первый взгляд. — А кто же создал это Высшее существо? — начинал я спрашивать себя. — Бога никто не создавал, он сам все создал; он — вечный, всемогущий, вездесущий. — Но это не ответ, а лишь отнесение вопроса куда-то дальше, во мглу, попытка усыпить, отвечать не отвечая. Не лучше ли сказать: мир сам вечен; вечно он создает сам себя, организует, разрушает и опять создает. Зачем помещать дух над миром, вне мира, разрывать мир на два враждебных начала? Дух не над миром, а в нем, он сам лишь часть целого.

Меня учили: мир во зле лежит; в природе, в человеческом естестве таится первородный грех. Но я смотрел на царственное блистание звезд, на светлые облака, на темные ели и сосны, на игры детей — и не мог понять, в чем же тут грех. Я любил природу. Она казалась мне невинной и благородной, и я говорил себе: не может быть, чтобы во всем этом заключались грех и проклятие.

И еще многое питало теперь мои сомнения. Я видел в родном селе торговцев, купцов; при ссыпке ржи, овса они обвешивали крестьян, отпускали им гнилой товар, обманывали и обирали их. Этих обирал считали опорой церкви и отечества. Их ставили в пример, их уважали, первыми подпускали к кресту, им выносили просфоры. Я видел в то же время нищих, убогих, калек, обойденных, несчастных, и мне делались понятными слова древнего Екклесиаста, указанные Михал Палычем — праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет в нечестии своем... иной человек трудится со знанием и успехом и должен отдать человеку, не трудившемуся. — Как же всему этому попустительствует бог, справедливый и всемогущий? — Ответа не было...

...Михал Палыч спрашивал:

— В какой день бог сотворил солнце, луну и звезды?

— Он сотворил их в четвертый день.

— В библии написано: и был день и было утро, день второй. — Мог ли день смениться утром, если бог еще не успел создать солнца, луны и звезд? И какой свет светил до четвертого дня?

Я молчал, сбитый с толку. Бенедиктов рычал с дивана:

— Под светом надо понимать эфир.

Михал Палыч щурил близорукие глаза, брал со стола очки, но их не надевал, а, подержав, откладывал в сторону.

— В библии нет ни одного места с упоминанием об эфире.

Понятие эфира выработано позже физиками. Если даже допустить, что по библии в первый день бог создал эфир, то отчего все же происходили смена дня и ночи до сотворения небесных светил?

Бенедиктов, не меняя положения, ни даже взгляда, устремленного на потолок, опять рычал:

— Дни творения, о, юноша, надо полагать за целые эпохи.

Михал Палыч щипал «добролюбовскую» бороду.

— Для чего целые эпохи называть утром, днем? Если эпоху назвать просто эпохой, это будет не менее ясно, не правда ли?

Я соглашался: да, это — суцая правда.

Орловский шутил над терновым горевшим и не сгоравшим кустом, над рассказом, как Иисус Навин остановил бег солнца; он утверждал, что в Гефсиманском саду апостол Петр вел себя презренным предателем, и благодушное отношение к этому его предательству со стороны евангелистов едва ли похвально. После таких шуток и насмешек Михал Палыч просил в бурсе язык крепче держать за зубами.

Колкости и замечания моего квартирохозяина и надзирателя делали свое дело, но, понятно, мою веру больше всего расшатывала бурса: зубрежка текстов, бездушное преподавание, докучные и утомительные стояния на молитвах, на всенощных и обеднях. Стоило вспомнить, что Тимоха, Халдей, Кривой, Красавчик, Коринский призваны внедрять в нас начатки веры — и от религиозных откровений воротило с души.

Не отставал от меня и Любвин. Он больше вел подкопы под обряды и таинства. Сопя и задыхаясь, он спрашивал:

— Ты отрекался от сатаны?

— Отрекался при крещении.

— Мог ли ты это делать, если тебе шел третий или четвертый день от рождения?

— Не знаю, — отвечал я беспечно.

— Эдак, пожалуй, и курица может отречься от сатаны, она даже смышленей трехдневного младенца.

После такого заключения Стальное Тело с чугунным гашником погружался в размышления.

Он предпочитал, впрочем, «опыты». Сочинил молитву дьяволу, шептал ее на службах и ждал, не поразят ли богохульника силы небесные. — К тебе, Вельзевул, взываю в происподнюю и в ад крошечный. Продаю тебе душу свою отныне и до века, — так начиналась молитва. Причащаясь постом, Любвин задержал во рту частицу даров и поспешил выплюнуть ее в уборной; повременив над отверстием, он буркнул — ерунда преестественная, сел по своей надобности, сорвал нательный

крест и выбросил его без раздумий. Спустя несколько дней приятель забрался ночью в церковь и безуспешно пытался взломать свечной ящик: хотел проверить, пройдет ли безнаказанно святотатство...

...Порой я начинал, однако, страшиться своих сомнений. Кругом все веровали в бога, в угодников, говели, причащались, молились, надеялись на помощь свыше, боялись дьяволовых козней. Недаром же все это делалось и делается! За верой — мудрость неисчислимых поколений. К чему я испытую грозные, неведомые силы? В моменты тоски, или когда постигали меня неудачи, невольно хотелось мне молиться, искать защиты. Вставал образ распятого на кресте, и снова и опять меня поражала мысль, что мир спасется и очистится страданием. Люди, общество не приемлют праведное, справедливое. Путь лучших — путь креста, путь поругания. Истину вешают на крест, над ней издеваются, ее заушают. Я с новым удивлением вглядывался в Христа и уже осуждал свое неверие и свои недавние сомнения. Бурса была столь сера, убога, что меня тянуло к миру над миром. Я вспоминал замечания Михал Палыча и, изумленный, видел и находил, что эти замечания, доводы, соображения против веры теряют надо мною власть свою. Разум делался бессильным. Было нечто его необоримее. И тогда я сдавался. С трепетом шептал я на коленях во время обедни вслед за о. Василием, нашим духовником, запричастную молитву:

— Вечери твоя тайные, днесь, сыне божий, причастника мя приими: не бо врагом твоим тайну повем, ни лобзание ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тя: помяни мя, господи, во царствии твоём...

Торжественная поэзия этой молитвы, магия слов и ритм ее, точно заклятие, подчиняли меня. Все существо мое испытывало напряжение и потрясение; в забвении я ничего уже не видел и не слышал, приобщаясь к чему-то безымянному, неизвестному. Брезжил темный, желанный покой...

Я опять делался набожным. Я просил господи простить меня, давал обеты, налагал на себя эпитимию — читать по десяти, по двадцати раз «Отче наш», «Верую», «Царю небесный», не шевелиться во время чтения, не сводить глаз с иконы. Я боялся происков и соблазнов дьявола, страшного суда, трубного гласа. Любимой моей молитвой было стихотворение Лермонтова: — Я, мать божия, ныне с молитвою...

Вспоминал я тогда сестру Лялю, ее преждевременное увяданье, страдальческие глаза, бледную, бессильную улыбку с горечью вокруг рта, обреченность ее. Неведомыми путями все это сочеталось с озорством, с хулиганством.

Я воссоздаю сейчас посильно свой отроческий религиозный мир, между прочим, и для того, чтобы отметить лишний раз и сказать: мир этот не простой, мир этот сложный, и нужно умело к нему подходить и его разрушать. Пропаганда безбожья — дело трудное, гибкое, а у нас сплошь и рядом рубят сплеча и скользят по поверхности только...

Приступы религиозные сменялись равнодушием, равнодушие — новыми сомнениями...

...На книжной полке у Михал Палыча нашел я «Реалистов» Писарева, статьи Добролюбова и Шелгунова. Я не осилил их; но усвоил: критиков называют нигилистами. О нигилистах я был наслышан: они убили «царя-освободителя», мутят мужиков и подговаривают их бунтоваться, «ничего не признают», «ни бога, ни чорта», в очках, длинноволосые; режут лягушек, читают ученые книги, отчего у них ум за разум заходит; нигилисты утверждают: «человек произошел от обезьяны, у человека нет никакой души»; к тому же они скрываются от полиции, приклеивают себе бороду и усы; нигилистов ловят, сажают в тюрьмы, ссылают на каторжные работы, а порою и вешают. Других сведений о нигилистах я не имел. Статьи Писарева и Добролюбова были трудны, не объяснили лучше нигилистов, но заставили о них думать, заразили задором и потребностью перечить.

Михал Палыч и Бенедиктов в подпитии нередко певали песню: — Прогремела труба, повалила толпа. — Я заучил песню наизусть, но не понимал, кого казнили на кровью смоченном помосте. Кто был Валерьян, чье имя прозвучало в толпе, когда палач поймал кудри и показал всем лицо? Я спросил о Валерьяне Михал Палыча. Он по обычаю невесело усмехнулся, потерял бороду:

— А что ты думаешь сам: о ком поется в песне?

— Думаю, в песне поется о разбойнике.

Михал Палыч с силой вскинул за голову руки, хрустнул пальцами.

— Ты, браток, смысленный... Только в бурсе этой песни ты не пой. В бурсе петь ее не полагается.

Я с недоверием поглядел на Михал Палыча: было видно, он почему-то надо мной подсмеивается, лукавит и правды сказать не желает.

...Изредка к Орловскому заходил светловолосый, веселоглазый знакомый, Иван Петрович. Орловский обращался с ним почтительней, чем с другими, а у Бенедиктова при Иване Петровиче даже пропадала сонливость. Иван Петрович говорил

мягко, но уверенно и властно, подолгу не засиживался, часто уединялся с Михал Палычем в особую угловую комнату и, уходя, сначала заглядывал из окна на улицу. Случилось, Иван Петрович не застал ни Орловского, ни Бенедиктова. Он ждал их, дымя папиросой и шурша газетным листом. Мне не терпелось; я преодолел робость и спросил о Валерьяне. Иван Петрович размашисто бросил газетный лист на койку, положил одно колено на другое, сцепил пальцы и, медленно покачиваясь, точно и ясно молвил:

— В песне поется о народовольце Валерьяне Осинском. Его казнили за борьбу против царя и господ. Только голову с него не снимали: его повесили. Песня сложена сначала про другого, про поляка, позже ее стали петь про Осинского. Осинский хотел, чтобы крестьянству и всему рабочему люду жилось не голодно и не холодно, чтобы не было больше холопов...

И далее Иван Петрович кратко рассказал о террористах, о Народной Воле, об убийстве Александра второго. Вот она, новая вера! Люди, ей одержимые, тоже шли крестными путями, но не за странную праведность и не за рай, а за обойденное человечество здесь, на земле. Я признавал себя уже посвященным в страшную тайну, более таинственную, чем эвхаристия и миропомазание; делался как бы соучастником отважных и самоотверженных бойцов. Жизнь приобретала новый смысл и Иван Петрович на глазах преображался в существо, отличное ото всех, кого я до сих пор видел и с кем встречался... Вот она, новая обетованная земля, земля Ханаанская! Я смотрел на нее детским взглядом с далеких Моавитских гор. Сделалось страшно. Может быть я почувствовал тернии новых путей и их неотвратимость для себя. Может быть я инстинктом предвидел свое будущее и трепетал, и жаждал, и чаял... Иван Петрович вынул часы, поднимаясь, бросил на меня внимательный взгляд:

— А ты, мой друг, не болтлив?

Не зная, чем угодить, заверить, отблагодарить его и чем похвалиться, я поспешно и гордо ответил:

— Туги-душителю не выдают тайн.

— Туги-душителю? Какие туги-душителю? — с недоумением и с заметным беспокойством спросил Иван Петрович.

Я невятно и, сознавая неуместность рассказа, сообщил ему о тугах. Иван Петрович покачал головой, превесело рассмеялся, обнял меня за плечи:

— Занятно! Туги-душителю — кутейники! Чудесно! Пора, однако, этих тугов бросить. Дела поважней есть, друг мой. Заниматься тебе ими, правда, рано; покудова ты больше читай. У Михал Палыча есть превосходные книги... Только отстал он лет

на двадцать. Ну, и страсти у него нету. — Иван Петрович заглянул в окно, ссутулился и, легко ступая, вышел.

Когда возвратился домой Михал Палыч, я долго и длинно к нему приглядывался и ночь провел в мутных и беспрестанных сновидениях. На другой день в бурсе за дровами я собрал туговдушителей. Я дал обещание Ивану Петровичу «тайны» не разглашать, но она меня распирала; да и мог ли я смолчать перед тугами? Я взял с приятелей погибельную клятву и, задыхаясь, выпалил:

— Нигилистов видал, ей-богу!

О нигилистах туги-душители тоже были немного наслышаны. Меня мигом взяли в узкое кольцо.

— И самого главного нигилиста тоже видал, — продолжал я хвастать. Я и вправду решил, что Иван Петрович «заглавный»). Вождь делаверов и дакотов, Бурый Медведь, Серега Орясинов спросил:

— В очках синих и в длинных волосьях?

— Нет, без очков синих и без длинных волосьев...

Делавер убежденно объявил:

— Без синих очков и без длинных волосьев нигилистов не бывает.

Я растерялся. И верно: я и не подумал, почему Иван Петрович не носит очков и не отпустил себе волос. Непорядок. Скрывая смущение, я рьяно набросился на Серегу. Много он знает! Почему каждому нигилисту нужны очки? Неужели нигилисты все подслеповатые?

— Понятно, не все! — поддержал меня Трубчевский.

— А какой из себя главный нигилист? — любопытствовал ревниво оперативный начальник, Митька Богоявленский.

Туги-душители жадно глядели мне в рот. Они ждали потрясающих описаний, подробностей. Я не мог, не имел сил им противиться.

— Здоровенный дядя, — ответил я, будто хотел сказать: не нам чета. — Глазами так и рыскает направо и налево: видать — маху не даст. Лобастый-прелобастый. Волосищи, бородачи, усищи! В руках толстенная палка и книга в черном переплете.

— В пальте? — осведомился деловито Трубчевский.

— В пальте, в шапке, в сером башлыке.

— В валенках иль в сапогах?

— В сапогах, без галош. — Галоши, мне показалось, нигилисту вовсе не подходили.

— А у него плэд был? — осведомился Стальное Тело.

Я не знал, что такое плэд, но почувствовал: плэд главный нигилист обязательно должен иметь.

— Плэд у него был, ей-богу.

— А какой он, этот самый плэд? — спросил Витька Богоявленский.

— Так... вообще, — разъяснил я, не зная, куда деть глаза. Ах, как подводил меня Иван Петрович: все у него было не в порядке!

— Плэд, это — большой шерстяной платок, — пришел мне на помощь неожиданно Петя Хорошавский.

— Да, да, плэд — большой шерстяной платок, — подтвердил я тоном неукоснительным.

Витька Богоявленский вдруг брякнул:

— Никогда не поверю, чтобы нигилисты кутались в платки! Что они — бабы какие-нибудь? Ерунда!

— Нет, брат, бывает, — заметил я неуверенно. — Вон и Петя знает о нигилистячьих плэдах.

— А ты с нигилистом о чем-нибудь разговаривал? — угрюмо вмешался в опрос вождь делаверов и диких дакотов.

Я посмотрел на приятеля с пренебрежением.

— Кой о чем поговорил.

— Врешь! — молвил вождь дакотов и высморкался на снег.

— О Валерьяне Осинском слышал? — спросил я Серегу многозначительно. — Был главарем нигилистов на всю Россию и на границу. Полиция прямо с ног сбилась, никак с ним не могла управиться.

— А поймала напоследок?

— Поймала. Повесили его. О нем запрещенная песня есть: «Где ж преступник? А вот. Он на плаху идет смелой поступью, молодецкою...»

— Карамба, и в бок пику Остроглазой Лисице! — изрек Витька, видно в знак того, что больше у него нет сомнений в правдивости моего рассказа.

— Что же нам делать теперь? — растерянно спросил Петя Хорошавский.

В самом деле, из моего рассказа о нигилистах надо было делать какие-то выводы для сообщества тугов-душителей. Но какие надо было делать выводы, никто не знал.

Туги долго и подавленно молчали.

— Надо всем стать нигилистами, — вымолвил я без внутренней, однако, уверенности.

Еще поговорили. Обязали меня собрать о нигилистах подробные сведения.

Не по себе мне было, что я налгал об Иване Петровиче и нарушил слово, но очень хотелось возвеличить нигилистов и паразитизировать ими воображение игогов-душителей...

...Иван Петрович зашел к нам на квартиру дней через десять.

Михал Палыча он опять не застал. Бенедиктов с простудой отлеживался в семинарской больнице. Иван Петрович заметно был хмур. Он не присел, не снял пальто и шапки; побарабанив пальцами по столу, испытующе оглядел меня.

— Вот что, уважаемый... — он медленно что-то соображал. — Вот что, друг мой... ждать мне Михаила недосуг... Ты передай ему: Владимира взяли, я должен немедленно отсюда уехать. Пусть Михаил почистится и посидит подольше дома. Понял? Не забудь. Повтори... Ну, вот... смотри, никому ли гу-гу.

Иван Петрович подошел к дверям, взялся было за ручку, но замешкался, отошел от дверей, сел рядом со мной на диван, где обычно валялся Бенедиктов.

— Есть, понимаешь, одно дельце, — сказал Иван Петрович таинственно и снизив голос до полушопота. Дельце, того... довольно щекотливое... Сходить нужно в одно место и сказать одной женщине то же самое, что и Михаилу.

— Могу сходить... В один миг слетаю, честное слово!

На улице прохожий захрустел снегом. Иван Петрович прислушался, встал, заглянул в окно. От лампы с матовым абажуром на стол, заваленный учебниками и запачканный чернилами, падал неяркий свет. Какими ненужными показались начатки, октоихи, хрестоматии, руководства. И как захотелось помочь Ивану Петровичу и его друзьям! Я готов был очертить голову делать все, что он приказал бы мне. Иван Петрович опять сел на диван.

— Сейчас надо сходить? — я едва сдерживал дрожь.

— Сходить надо сейчас... Только, видишь ли... прежде всего посмотреть надо: освещено или не освещено крайнее левое окно. Если в окне нет света, заходить в дом не следует. А если свет есть, надо поглядеть дальше, стоит ли на окне горшок с цветами. Понял?

— Все понял, Иван Петрович! Вашей знакомой тоже надо почиститься?

— Ей тоже надо почиститься, — подтвердил он, впадая в рассеянность.

Меж тем я бросился в переднюю одеваться.

— А что будет означать, если в окне не увидишь горшка с цветами?

— Это будет означать, что «ее» взяли, — ответил я без запинки, точно на уроке, уже одетый.

Иван Петрович заулыбался, дал адрес. Итти надо было на Покровскую улицу к слушательнице фельдшерских курсов, Надежде Николаевне. Я готов уже был отправиться, но тут Иван Петрович опять задержал меня.

— Подожди, — молвил он. — Пожалуй, я схожу сам, хотя у меня и нет времени. Чего доброго, еще попадешь в лапы охранникам. Не дело это. Рановато тебе с ними путаться.

Тогда я, едва не плача, стал упрашивать Ивана Петровича, чтобы он разрешил сходить с поручением. Не помню, что я ему говорил, как убеждал его; страстная ли моя мольба или собственные затруднения тому помогли, но только он мне уступил. Он дал еще несколько наставлений; я плохо их слушал.

— Ну, прощай, сынку. Не верь папашкам и мамашкам. Не живи прописными истинами. Остальное приложится... спешу на вокзал...

Было около восьми часов вечера, когда я вышел на улицу. Я закутал голову башлыком, виднелись лишь глаза да нос. Редкие прохожие, казалось, приглядывались ко мне, а мимо будочников я шмыгал, затаив дыхание. Однако собою я владел вполне. Сноровка тугов-душителей пошла на пользу. Я сказал неправду Ивану Петровичу: не все понятно мне было в его поручении. Что означало: надо почиститься? Да... далеко не всегда отличался я догадливостью. Я понимал, что «почиститься» надо было условно, но какие именно действия имелись в виду? Я углубился в догадки и не заметил: на меня прямехонько шествовал Тимоха Саврасов. По шапке округлым плоским верхом, по кожаным галошам, по пальто он легко распознал бурсака.

— Стой! — зычно крикнул Тимоха и преградил мне путь здоровенной суковатой палкой.

Я ужаснулся. Неужто не выполню я поручения? Я втянул сильнее голову в воротник и в башлык, с необычайной прытью и ловкостью проскользнул мимо Тимохи и скрылся за ближайшим углом. Тимоха кричал вдогонку, я бежал что было мочи. Я был уверен, он не успел меня разглядеть.

На Покровской улице нужный мне дом я нашел без затруднений. Дом был деревянный, одноэтажный, уединенный. По обеим его сторонам и напротив тянулись заснеженные заборы. С сердечным колотьем я отыскал крайнее левое окно. Окно было освещено. Стоит ли на подоконнике горшок с цветами?.. Неудача!.. На дворе сильно подморозило, снег и иней запушил стекла. Напрасно заходил я справа и слева, взбирался и старался удержаться на тумбе. Я готов был заплакать. Какую промашку допустили нигилисты! Туги-душители так бы не опростоволосились!.. Вдруг за воротами на дворе послышалось лошадиное ржанье. Я отбежал на противоположную сторону улицы и вновь забрался на тумбу. Лунный свет играл на снегу холодными зелеными блестками. От построек лежали синие тени. У низкого крыльца, обвешанного ледяными сосульками, тоже

зеленовато-зловещими от луны, маячили два конных городских. Забор был невысок и я отчетливо их видел через него. Городовые сидели на лошадях ко мне спинами. Крутые крупы лошадей почти касались друг, друга. Вот оно что! Я мигом соскочил с тумбы, притулился к тополи и не мог отвести от городских глаз. Я понял: в квартире обыск и нужно скрываться, но непонятная сила, странное и болезненное любопытство удерживали меня на месте. Улица поражала пустынностью. Неожиданно сделалось ясным, что значит «почиститься». Надежда Николаевна должна была уничтожить или подальше схоронить запрещенные книги и письма. Ведь я тоже «чистился», когда ожидал обыска в бурсе. Но поручение! Но поручение Ивана Петровича!.. Нужно же было мне запоздать!..

...Дверь на крыльце распахнулась; группа людей, человек восемь или десять, стала спускаться с лестницы. Я зашагал вдоль улицы. Ватага людей тоже вышла за ворота и скоро поравнялась со мной. Люди спешили, точно боялись погони. Штатские, городовые, во главе с приставом, окружали молодую женщину, худощавую, небольшого роста, в полупальто, отороченном по бортам черным барашком, в черной каракулевой шапке и с черной каракулевой муфтой. Фонарь осветил также матовое ее лицо, большие, сильно блестящие темные глаза и тяжелую кипу волос, с начесами на уши. Пряча подбородок в муфту, арестованная шла ровно и спокойно мелкими женскими шажками и словно бы не обращала внимания на конвойных. Пристав, приземистый и узловатый, руки раскорякой, шел впереди, выпятив грудь. Он был при исполнении служебных обязанностей, он вел государственную преступницу. Самодовольство распирало его с головы до пят. Пешие городовые громыхали сапожищами, смотря себе под ноги. Лишь позднее заметил я двух дюжих жандармов, двух молодцов рядом с женщиной — они держали сабли наголо! Конные замыкали шествие. Два человечка, один в поддевке, другой в дубленом полушубке, юлили туда и сюда, давая круги, то забегая вперед, то переходя на тротуары, то семена позади. Во всем этом было нечто роковое, зловещее и таинственное. Было также удивительно, что хрупкую, слабую женщину конвоирует столько людей, к тому же и вооруженных. Вот они какие нигилисты! Я спешил за арестованной и старался в мелочах напечатлеть в себе ее образ. Ни на миг я не усомнился, что арестованная была Надежда Николаевна. Она продолжала итти, наклонив голову, спрятав подбородок в муфту. В худых, заостренных чертах ее лица, затемненных мраком, в наклоне головы, в легкой и точно потерявшей вес фигуре ее, в движениях, в поступи одновременно сочетались женственность, надменность,

сила и слабость. Я шел за ней, зачарованный, со стесненным дыханием. Никогда за всю свою жизнь не смотрел я на женщину с таким преклонением, с восхищением и с лучшим состраданием! Надежда Николаевна была как все; она походила на моих сестер, на знакомых, на тех, кого я встречал на улице, и в то же время она была особая, ото всех отличная. Куда «они» ее ведут? Понятно «они» ее ведут в тюрьму. Может быть в тюрьме ее будут бить, истязать, пытать? Я взгляделся в конвоиров. Я не заметил на их лицах ни ожесточения, ни зверства. Скорее эти лица были безучастны... Сколько времени ее продержат в тюрьме? Я читал, и слышал о пожизненных узниках, умиравших от сырости, от недостатка воздуха, тепла, пищи, сходявших от одиночества, от тоски и скуки с ума! Слышал я, что государственных преступников у нас держат в каменных мешках, куда опускаются полы, разверзаются плиты и где их навеки погребают. Я содрогнулся...

...Я сошел с тротуара, приблизился к конвою, поровнялся с арестованной. Не отнимая от лица муфты, Надежда Николаевна взглянула на меня. Должно быть, она поняла меня: она повела плечом, что-то горячее пролилось на меня из ее глаз, милое и прощальное... Спазма сдавила мне горло...

...Эй, кутейник! Что надо? Иди доедать кутюю свою!

Городовой схватил меня за плечо и отшвырнул в сторону. Я упал около тротуара, а когда поднялся, ватага скрылась за углом. Уже затихли шаги и конский топот, уже прошло еще сколько-то времени, а я все стоял и не сводил глаз с места, где в последний раз мелькнуло матовое лицо и муфта...

Михал Палыч был уже дома. Не развязывая башлыка, я передал ему, что поручил мне Иван Петрович. Я рассказал об аресте Надежды Николаевны. Выслушав меня, Михал Палыч зашагал по комнате и стал неизвестно к чему трогать вещи: возьмет чернильницу и тут же рассеянно поставит ее на прежнее место, повертит в руках карандаш, положит, опять возьмет. Почему-то отметилось, Михал Палыч очень лобастый. Признаюсь, я ждал от него похвал и благодарности, но Орловский вскоре затворился в своей комнате. — Нужно ему почиститься, — старался я себя успокоить; хотел подглядеть в щель около дивана, но что-то меня удержало от подглядывания. Я долго не засыпал. Далекими, чужими и ненужными показались мне герои Майн-Рида, Купера, Буссенара. Общество тугов-душителей тоже больше не привлекало меня к себе. Свою судьбу, свое грядущее я видел воплощенными в хрупкой, но самоуверенной фигуре, окруженной молодцами с саблями наголо... Потом мне представилось, будто с шайкой отважных нигилистов я спасаю Надежду Николаевну из тюрьмы. За нами погоня, мы удачно отстреливаемся и скрываемся

в заповедных лесах у староверов. Я делаюсь атаманом нигилистов. Направо и налево мы сокрушаем жандармов, приставов, исправников, поднимаем на бунт мужиков. Надя со мной, Надя моя, единственная!..

Тимоха на улице меня не узнал. Михал Палыч взял строжайшее слово о происшествиях молчать. На этот раз я слово сдержал. Случилось же все это в 1898 году. Тогда исполнилось мне тринадцать лет...

...Поручение тугов-душителей собрать новые сведения о нигилистах я старался добросовестно выполнить. Я искал ответа в книгах на полках Орловского, но его книги были не по плечу мне. Я расспрашивал о нигилистах Михал Палыча и Бенедиктова. Бенедиктов рычал что-то невнятное, нес околесицу, а Михал Палыч советовал больше читать книг по физике, по химии и биологии. Наклонностей к этим наукам я не обнаруживал, а в математике был я и туповат. Я искал дела, и в деле и знаний, а дела не было. Советы Михал Палыча расхолодили нас и нигилистами объявить мы себя не решились.

После рождественских каникул меня за исправное учение и поведение опять приняли «на казенный кошт». Михал Палыч и Бенедиктов перебрались на другую квартиру, далеко на окраину, и потерялись из виду.

Вместо романов Майн-Рида и Купера я стал все больше увлекаться Некрасовым. Любовь к Некрасову заронил в меня и в некоторых других моих сверстников-бурсаков учитель латинского языка Ефим Никанорыч Спасский. Был он низкорослый, кряжистый, кособокий и кособрюхий; огромную голову с бородищей во всю грудь держал тоже склоненной на сторону; туловище имел длинное, а ноги у него торчали толстыми-претолстыми коротышками. Спасский был обременен семьей — народил пятнадцать сынов и дочерей! — ходил обшарпанный, в сальных пятнах, в перьях и пуху. Он требовал от нас зубрежки, на двойки отнюдь не скупился, поблажек не давал и начальства всякого боялся. Вот этот самый латинист и преклонялся пред Некрасовым. Улучив на уроке свободных от спроса и объяснений десять-пятнадцать минут, что всего чаще выпадало в конце месяца, Ефим Никанорыч откладывал журнал и учебник, косился на дверь — не видать ли Халдея, и из широченных и глубоченных карманов извлекал потрепанную книжку. Тут он таинственно, с виновным и заговорщицким видом глухо басил: — «А не почитать ли нам... того... стишков немного... ублажительных... будто недолго и до звонка...» — Он собирал в комок брадищу с сильной проседью и сначала тихо, а вскоре все отчетливей и громче, все

напористей, тверже и выразительней вычитывал нам, как искали мужики, кому хорошо жить на Руси. Увлекаясь, Ефим Никанорыч держался одной рукой за бородиншу, точно за некий столб и утверждение истины, другой в такт рифмам с силой стучал крепким кулаком о кафедру, притоптывал ногой, хитро шурился, прикидывался простофилей, бойко бросал соленое крепкое простонародное словцо, негодовал, смеялся, — смотря по ходу поэмы.

— Вот это поэт! — говаривал Спасский с сожалением и, с глубоким вздохом захлопывая книгу после звонка и прихрамывая, направлялся к дверям.

В земском складе мне удалось купить Некрасова, и спустя несколько дней я наизусть знал «Размышления у парадного подъезда», «Страду», «Машу», «Рыцаря на час». Я забыл о Пушкине, о Лермонтове, о Жуковском, шептал стихи Некрасова на уроках, в часы занятий, уходил на задворки и там сочинял мотивы, и, нужно ли скрывать, я, оголтелый бурсак и душитель, плакал втихомолку, стыдясь скупых своих слез. И долго в отроческие и юношеские годы не было для меня поэта выше Некрасова. Тогда-то я вспомнил опять и о деде своем — пропойце, и о разбойничьих песнях, какие он мне когда-то певал, и о Кудеяре, о Черном Спасе, о страннице Наталье, об Алексее, о соседях-мужиках, обо всем детском и нужном в жизни, что дала мне деревня и что смяла и заглушила бурса Халдея и Тимохи Саврасова. Я вновь увидел: за стенами бursы есть другая, трудовая Русь, оброчная, голодная, измороженная. Найти ее в те годы помог Некрасов и, как это ни странно, Спасский Ефим Никанорыч, донимавший нас двойками и бездушными склонениями, почитатель чинов и начальства...

Великим постом бурсаков перевели в заново отстроенное трехэтажное здание, пахнувшее известкой и лаком от новых парт. На освящение приезжал архиерей. Вне очереди нам выдали визитные пары. Переход в новое помещение в моей памяти совпадает с переломом в бурсацком быту. Старая, исконная бурса выветривалась новыми ветрами. Стали жить опрятней, меньше и озоровали. Тиранию четвертокласников ограничили. Коринскому архиерей запретил «колдовать». Хабиб ушел в семинарию. Даже Тимоха Саврасов сделался будто обходительней. Халдей мрачно отсиживался в сырой и темной квартире. Новое, освежающее врывалось в бурсу, подтачивало бурсацкие устои. Героические времена бursы миновались безвозвратно. Все это, понятно, еще не меняло совсем бурсацкого обихода. До этого было далеко...

...В третий класс перешел я по первому разряду. На летние

каникулы мать вместе с Лялей взяла меня к дяде-подполковнику. Дядя, вдовец, жил в лагерях под Курском с дочерью Верой, институткой, моей ровесницей, и с сыном Митей, кадетом, года на два меня моложе. Неподалеку занимал дачу генерал, плюгавый старикашка, мышиный жеребчик. По вечерам к генералу приезжали пестро одетые и шумные женщины. Денщики уверяли, что «старого кобеля» навещают «таковские». Потешно было смотреть, как генералишка семенил около «таковских» сухими и тонкими ногами, шамкал, брызгал слюной и тряс лошадиной головой, изъеденной старостью и пороками. Старый селядон галантно протягивал руку-мумию, помогая выйти «пташке» из коляски, и будто вел «пташку», на самом же деле еле-еле волочился за ней. Однажды он растянулся на ступеньках крыльца, его поднимали. Багровый от удушья, мутноглазый и лупоносый, он пытался щериться беззубым, сморщенным ртом, а «пташка» и адъютант отряхивали пыль с широких его брюк в красных лампадах. Порою из открытых, ярко освещенных окон его дачи слышались рояль, шансонетки, смех, визги. Женщин увозили пьяных. Денщики не стеснялись их обирать. При всем этом генерал отличался вздорностью, был заносчив и бестолков, путал приказы и распоряжения, горячился, порол заведомую дичь. Солдаты и офицеры его ненавидели, издевались за глаза, и было странно видеть, как вытягивались они при встречах с ним и делали «во фронт», козыряли и «ели его глазами»; генерал брезгливо жевал губами и солдатам никогда не отвечал на отдавание чести.

Ходил к дяде столоваться сухопарый дылда, штабс-капитан, молчаливый, унылый и до того скучный, что обеденное время при нем тянулось до одурения. Воинские его доблести и геройства были никому не известны, но зато было известно, что он «обожал» землянику с молоком; и верно, когда он лакомился земляникой, то от удовольствия даже хрюкал и пищал. Любитель земляники гордился, что не читал ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Толстого; он называл их бездельниками. Прослышав о каком-нибудь писателе, штабс-капитан прежде всего справлялся, военный или не военный этот писатель и, когда узнавал, что штатский, даже обижался: стоило занимать «шпаком» его внимание!

Рядом со штабс-капитаном обычно сидел поручик Новаковский, тихоня, скромник, большой поклонник Чехова. С рассказами Чехова приходил он и обедать. К столу часто приглашались и другие офицеры; дядя, трудолюбивый законник, отличался хлебосольством. Разговоры велись непритязательные: о перемещениях и повышении по службе, о рапортах и приказах, о маневрах и карточной игре, о скандалах в офицерском собрании

и пьяном дебоширстве, об орденах и парадах, о солдатской лениности и тупости, о мундирах, о разных штабных слухах.

Лагерную скуку разгонял я ссорами с сестрой Верой. К тринадцати годам институт благородных девиц сделал ее истеричкой и сумасбродкой. Из-за ленты, из-за пятна на платье поднимала она целый несудом, топала, кричала, запиралась в спальней, не выходила к обеду. Она притворялась гордячкой, недотрогой, кичилась институтом, болтовней по-французски, называла меня мужиком, «ужасным», презрительно шурилась и отказывалась со мною рядом садиться. Среди ночи Вера будила горничную, принуждала ее ложиться вместе с собой: ей, Вере, приснился страшный-престрашный сон, будто за ней гонялся солдат Филька, она не может спать одна. Утром я уверял Веру, что у горничной паразитов не оберешься, Вера визжала, колотила в дверь ногами, требовала немедленного моего отъезда. Я делал из бузины насос, вернее, большой шприц, подкараулив кузину, пускал в нее струю воды. Вера рвала платье, волосы, и однажды, выведенная из себя моими насмешками, бросилась на станцию; ее поймали, когда она садилась в вагон ехать неизвестно куда. Наступало перемирие. У Веры была незаурядная музыкальная память, слух и гибкие пальцы. У рояля она теряла свои причуды. Лицо ее делалось тогда простым, детским; выпуклый лоб, со взбитой чолкой, разглаживался от капризных и нетерпеливых складок. Я упрасивал ее играть любимые музыкальные фразы. Больше всего я любил восточные мотивы. Я никогда не уставал их слушать. Эта любовь сохранилась во мне и поныне. Вера чаще всего, несмотря на недавние ссоры, охотно и с чувством исполняла мои просьбы. После игры мы мирно стучали шарами в крокет. Вера называла меня милым «братулькой», а спустя час кричала, что никогда, никогда она больше со мной не помирится и никогда, никогда не сыграет мне ничего, ничего, ничего!

Брат Веры, Митя, держал сторону сестры. Жили мы с ним, однако, согласно. Но к Мите приехал гостить Коля Боровицкий, тоже кадет, мой одноклассник, и с ним я не поладил. Боровицкий, черноокий и чернобровый, красивый, способный, первый ученик, уже успел выработать себе твердые правила: «честь мундира» и сословное достоинство запрещают запросто обращаться с солдатами, с денщиками; учиться надо, чтобы получить диплом; лучше служить при штабе, а еще лучше — в гвардейском полку. Люди разделяются на военных и штатских; военные — настоящие, прочих только можно терпеть. О женщинах Коля говорил, точно о лошадях. К нам приходили его приятели, тоже кадеты. Коля стеснялся говорить им, что я бурсак и кутейник, а если ему в том приходилось признаваться, он утверждал, что меня переводят в

гимназию. По утрам он приглашал к нам к комнату горничную Пашу, девушку лет двадцати:

— Паша, помогите мне надеть брюки.

Паша натягивала на него парусиновые брюки.

— Застегните, Паша! — командовал Боровицкий, когда дело доходило до пуговиц в ширинке.

— Что вы, барин! — умоляюще просила Паша, стоя перед Колей на коленях, краснея и оправляя волосы на голове.

— В чем дело? — притворно удивлялся Боровицкий. — Вам не задаром платят деньги, Паша. Я прошу вас застегнуть пуговицы, только и всего.

Паша, пунцовая, дрожащей рукой застегивала пуговицы, меж тем Коля перемигивался с Митей, либо непристойно шутил.

За обедом, случилось, он посмеялся над Некрасовым, заявив, что Некрасов — поэт сопливых мужиков. С раздражением я сказал, что Некрасов не чета разным бездельникам. Коля спросил, кого я считаю бездельниками.

— Считаю бездельниками вас, всех военных, — выпалил я, кажется, неожиданно для самого себя.

Звон ножей, вилок, ложек за столом прекратился. Офицеры, человек пять или шесть, подняли головы, поглядели на меня, переглянулись. Дядя тоже строго на меня посмотрел, взял салфетку, вытер поспешно усы, что-то хотел сказать, но смолчал: был он не из разговорчивых. Мама меня оборвала:

— Не говори глупостей!

— Почему считаешь ты нас бездельниками? — с вызовом вновь спросил Коля.

Я сознавал неуместность своих заявлений, но опять не смог от них воздержаться:

— Военные ничего не делают, не добывают, а живут на мужичьих хлебах.

Скучный штабс-капитан уставился на меня рачьими глазами, жесткие усы у него зашевелились, он фыркнул, отрывисто, точно командуя на плацу, выдал:

— Драть надо... вместе с стихоплетом!..

— Выйди из-за стола, — приказала мать.

Вдогонку мне что-то ехидное бросил Боровицкий.

Спустя дня два я уехал из лагеря к дяде Ивану.

...У него решил я проверить рассказы о привидениях. Меня надоумили в бурсе, что для проверки надо трижды в полночь посетить кладбище. Сельское кладбище за ригой, за ометами и скирдами, на суглинистом пригорке, упиралось в глубокий овраг со студеными ключами. Около полуночи я тихо вышел из амбара, где спал, и крадучись пробрался на зады. Теплая непробудная

ночь нависла над окрестностями. Я дрожал от страха и уже жалел, что покинул нагретую постель. Ничего не стоило возвратиться, укрыться с головой и слушать, засыпая, пение первых петухов, но упрямство толкало меня вперед. Я перелез через кладбищенский плетень. На деревянных крестах ключьями висела темь, могильные холмы походили на горбы неведомых существ, ушедших в землю. Отовсюду слышались шорохи; будто что-то пробегало в траве, шмыгало, сновало и юркало, возилось, выползало, свивалось и тут же исчезало. Шевелились мохнатые кусты, похожие на гигантских пауков, шевелились кресты, точно люди с раскинутыми руками, чтобы поймать и крепко вцепиться; могилы набухали, опадали, кто-то ворочался в самых исподних недрах земли, огромный, неуклюжий, темный. Вспоминались вурдалаки, мертвецы из «Страшной мести», оборотни, нежить. Еще страшнее мне стало. Ноги то делались чугунными и не хватало сил их сдвинуть с места, — то они сами, помимо желания, готовы были нестись куда попало, нестись бешено, ничего не разбирая. Внутренний холод сжимал сердце. Я все ждал: вот-вот случится нечто ужасное: с головы до пят пронзит ледяная молния, потрясет что-то нестерпимое, после чего нельзя жить ни единого мгновения... Сколько времени пробыл я среди могил и крестов, не помню; через плетень обратно перебрался еле-еле и остаток ночи провел дурно, со стонами и с выкриками, от которых сам просыпался.

Днем я томительно ждал ночи. Отступить было стыдно перед собой. В урочный час опять я был на кладбище. Над оврагом спустился туман; внизу журчали ручьи. Мерещилось: кто-то машет лесной, мохнатой ручищей, ворчит, гукает... А вдруг и взаправду раскроется вот эта могила и мертвец с синим, со вздутым лицом, с синими, длинными ногтями потянется ко мне! Я зажмурился и на миг почти потерял сознание. И тут я стал молиться. Я молился без слов, всем моим существом. — Но ведь я не верю больше в бога, — укорял я себя в смятении. Выдержав кое-как искуc, я нарочито медленно пошел меж крестов к выходу. Около одной могилы я оступился и едва не упал. И тогда донельзя перепугался я и бросился бежать. Я бежал обезумев, спотыкался, падал и опять бежал. Я задыхался и ничего не видел перед собой. За мной гнались, хватали, опутывали, преграждали дорогу, мне подсекали ноги, бросали меня на землю; кругом все летело, вихрилось; неистовый шум и грохот бились в уши, что-то облипало, мерзкое, жадное и скользкое... Очнулся я у амбара... Дрожа присел я на деревянную колоду. Кудлатый дворовый пес Салтан, с обрывком веревки на шее, выполз из конуры, лизнул теплым и мягким языком мне руку и стал тереть голову о колено.

Я поднял глаза на небо. Оно раскидывалось необъятным могучим пологом в вечном, неутомимом звездном круговороте. Жизнь бессмертна! Как живо трепещут звездные миры! И после страхов, после ожидания ужасного, после сумасшедшего бегства и небо, и звезды, и черный серебристый тополь с неподвижной спокойной листвой, и темные капли росы на траве открылись вдруг родными и были как дорогая ласка. Мир с нами! Природа не радуется гибели живущих... В великом жизненном потоке смерть только частность. Бояться нечего и некого! Я обнял и прижался к Салтану, он опять лизнул меня в щеку...

В третий раз уже не надобно было ходить ночью на кладбище. Я перестал верить в привидения...

Третий класс припоминается мне туманно. Учился я исправно. Я смирился. Смирились и другие туги-душителы. Мы продолжали дружить; мы братски делились книгами, подарками, гостинцами, выручали друг друга из бурсацких напастей. Жили своей обособленной жизнью и в круг свой не приняли ни одного сверстника. Нередко мы ссорились, но ссоры легко улаживались. Было известно, кто чем живет. Когда съезжались в бурсу после каникул — первые дни не могли наговориться вдоволь. У каждого находилось чем поделиться. Тимоха Саврасов и надзиратели тщетно пытались внести разлад в наше содружество. Нам не позволяли рядом занимать парты, койки, сидеть за одним столом. На нас косились, и Тимоха не раз издевался открыто над «милыми закадычными дружками» и даже поносил нас в речах. Наша дружба и от этого не нарушалась. Только Шурка Елеонский, Хамово Отродье, держался особняком, приглядывался к нам неприязненно, и мы уже жалели, что приняли его в свой круг.

Жилось убого и скудно. Разнообразие внесли новый учитель по церковному уставу Садовский и новый помощник инспектора Фита-Ижица. Садовского сразу прозвали Бараном. У него, сильно лупоглазого, были курчавые волосы на голове в мелких завитушках и длинная борода клином, тоже в завитушках. Скоро про Барана дознались, что он владелец дачки, где с увлечением занимается пчеловодством. Из этого увлечения и стали извлекать пользу. Бурсак, имя рек, запустив занятия по уставу, однажды вызывал в перемену на учительской Барана:

— Василий Иванович! По личному к вам делу. Отец развел в деревне пчел, я тоже помогаю ему... Но... дохнут пчелы зимой. Дайте, Василий Иванович, почитать что-нибудь по пчеловодству!

Баран делался мягким и ласковым. Это верно: пчелы требуют знаний и ухода. Отменно хорошо, что воспитанники духовного училища заниматься стали пчеловодством. Благопотребно,

благопотребно. За руководствами по пчеловодству дело не станет.

Дня через два лентяй торжественно похвалялся перед бурсаками означенными руководствами. Бурсаки с греготом, басами и октавами, в одиночку и хором нараспев, по-церковному, читали о роении пчел, о матке. Хитрые плутишки весело балагурили, и как бы вытянулся нос у Барана, подслушай он хоть раз, что про него говорилось в досужие часы! Но Баран ни о чем об этом не подозревал. Мало этого. Любитель руководств, уловив удобный момент, подкатывался к Барану и выклянчивал у него поблажки; он, Голопятов, утомлен; недавно болел ангиной, увлекся вчера до того руководством по пчеловодству, что, говоря по правде, не приготовил ни одного урока, также и по церковному уставу. Баран благосклонно выслушивал эти разглагольствования, давал отсрочки, спрашивал легко любителя руководств, подсказывал сам ответы, прощал шалости. Тогда за первым балбесом поспешал к Барану второй балбес, третий:

— Василий Иванович! Охота почитать руководство по пчеловодству!

— Василий Иванович! У нас колоды потрескались. Охота почитать!..

— Василий Иванович! У нас матка подохла. Охота почитать...

На уроках к Барану приставали с вопросами о предпочтительности одних сортов меда перед другими и о разных других превосходных вещах, однако, весьма отдаленных от церковного устава. Баран охотно и пылко распространялся о поучительных пчелиных повадках. Курс церковного устава превращался в науку о пчеловодстве. Наконец, пчеловодов в классе плодилось так много, что начинала угрожать опасность «засыпаться». Тогда отдавался приказ «погодить». Бурсаки «годили», руководства возвращались Барану, на уроках меньше допрашивали его о пчелах. Спустя две-три недели опять наступала пора повального увлечения руководствами по пчеловодству.

Удивительно, насколько был незадачлив Баран! Прямо поразительно!

Не то получилось с новым помощником инспектора Фитой-Ижицей. Фита-Ижица отличался хитростью и изворотливостью. Правда, и у него имелись слабости. Он до страсти почитал иностранные слова.

— Ивановский, — говорил он бурсаку, застигнутому им на задворках в часы классных занятий, — Ивановский Степан, ты манкируешь своими официями. С господином инспектором у тебя произойдут кардинальные дебаты... хе... хе...

Даже из русских слов Фита делал нечто, звучащее по-

иностранному. Заметив в классе, что крыша парты после развлечений и забав протяженно-сложенного Аквилонова сорвана и валяется на полу, Фита-Ижица, укоризненно качая головой, изрекал:

— Кхе, кхе... парту надо гвоздивировать...

Рассказывали: два преподавателя заспорили на бутылку коньяку, возможно ли так спросить Фиту, чтобы он ответил, не прибегая к иностранным выражениям. Спросили: далеко ли живет от бursы один из проходящих питомцев. Фита-Ижица не затруднился:

— Интервал преблагорассмотрительствующий...

Иностранные слова он мешал со славянизмами, их часто сочиняя сам.

Эту слабость Фиты бурсакам на пользу себе обратить не удавалось. Фита-Ижица обладал редким даром сыщика и можно пожалеть, что поприще его было настолько неприглядное и узкое: бурса не давала полного развития его талантам. Фита-Ижица являлся ищейкой по призванию. Он любил это дело, им жил, им вдохновлялся. В наше время ему перевалило за пятьдесят. Он горбился, задыхался от кашля, худ был и немощен, не ходил, а семенил длинными подгибающимися ногами, дежурил, обвязанный компрессами, бинтами, украшенный пластырями и чирьями. И за всем тем он отличался неукротимостью. Потирая руки, точно только что вошел в теплое помещение с мороза, Фита-Ижица мелькал во всех бурсацких местах, углах и закоулках. В сыске он обнаруживал даже трогательную самоотверженность. Жалованье Фита-Ижица получал скромное, рублей тридцать пять или сорок. Из скудных этих средств он уделил нужную толику на покупку подозрной трубы. Сидя у себя в комнате у окна на третьем этаже, он из-за занавески целыми часами с помощью этой трубы обшаривал окрестности: не сбежал ли какой-нибудь бурсак без разрешения в город; или, может быть, другой бурсак рыскает около уличных торговек в надежде что-нибудь слямзить с лотка, а третий вступил в единоборство с гимназистом, а пятый имеет просто подозрительный вид. За бурсаками нужен глаз да глаз. Пускай помогает девятнадцатый век, век пара, электричества и техники! В работе сыщика механика первое дело!

На подозрную трубу бурсаки не раз покушались, но успеха в том не имели. Крепко держал ее под замком Фита-Ижица, любитель всего заморского. Даже и туги-душители тут явно сплеховали. Это уже так, никак не иначе.

Заказал также себе Фита-Ижица ботинки с необыкновенными, с мягкими подошвами. Как неслышно, как неожиданно он

подкрадывался к бурсаку, к партам, где питомцы предавались великолепной лени и всякой изнеженности! Подобно привидению появлялся он в самых укромных, в самых потаенных местечках. И какой приятный, прямо ласковый свет излучался из очей Фиты-Ижица, когда «застукивал» он страстных игроков «в банчок», в перышки и иные недозволенные и предосудительные светские игры!

Никого никогда не распекал Фига-Ижица, не повышал голоса, не говорил грубых слов, не поучал утомительно и нудно. Наоборот, он выражался тихо и кратко. И виновные тоже не спорили, не упрашивали Фиту: знали они бесполезность подобных разговоров. Попался, дружок, пеняй на себя. Я тут непричем! Память на бурсацкие грешки у Фиты-Ижицы была изумительная. Утверждали, что Фита-Ижица вел подробные дневники, где трудолюбиво и пространно записывались темные бурсацкие деяния. Надо полагать, Фита-Ижица в своих литературных занятиях тоже испытывал творческие подъемы и высокое вдохновение. Если, в самом деле, Фита-Ижица не чужд был литературных занятий, то, бесспорно, мы многое потеряли оттого, что творения этого Нестора, этого Пимена бурсы не дошли до нас. Сколь много в мире пропадает бесследно наиценнейшего!..

Фита-Ижица жил отшельником и подвижником. Никто не видел, чтобы он принимал приятелей и знакомых. Неизвестно, имелись ли у него родственники. Он редко отлучался из бурсы и то только для одиноких прогулок по набережной, очевидно, для сыска. Охотился он за бурсаками и в свободные от дежурства часы; вставал по ночам несколько раз, утруждал себя обходами по спальням, по классам, по двору, Пугали Фиту-Ижицу дрекольем, камнями, гнилой картошкой, угрожали увечьями, — он был непоколебим в своем рвении, не знал ни отдыха, ни срока, терял на сыскной работе последние остатки здоровья. Тряся реденькой, седой бороденкой, похожий на Кашея, неустанно, словно сразу во многих местах маячил Фита, являя собою вид почти мистический.

Кружок наш боялся Ижицы. Пожалуй, отчасти благодаря ему мы так присмирели и даже стали подзубривать. Искали мы случая свести с Фитой счеты, но он был осторожен. Говорили, что его побаивается даже Тимоха. Таким слухам в бурсе не удивлялись.

Все чаще и чаще шептались мы о женщинах, о тайнах пола. Мы не доверяли теперь простодушно рассказам Витьки Богоявленского о любовных его победах и одолениях, но слушали эти рассказы с жадностью; после них у нас увеличивались синяки под глазами. Следуя примеру Витьки, я также стал хвастать

своими успехами среди епархиалок. Из повествований моих можно заключить было, что успехи эти куда как велики: завел я немало знакомств с «девчонками», назначаю им в епархиальном саду свидания; они вздыхают по мне, я вздыхаю по девчонкам. Подробностей об этих свиданиях я не излагал, но по некоторым небрежным намекам следовало, однако, догадаться, что дело не ограничивалось одними невинными вздохами. Затрудняюсь сказать, насколько серьезно принимались эти и подобный рассказы приятелями; вид приятели имели ко мне расположенный и Витька Богоявленский даже подробно советовал, как надо вести себя, дабы одержать решительные и бесповоротные победы.

Епархиалок парами водили гулять по Большой улице. Воскресными днями, когда я с друзьями проходил мимо этих пар, некоторые из епархиалок мне улыбались, как своему знакомому: ведь я был сыном их учительницы. Понятно, я стал еще более уверенно говорить о своих похождениях и успехах. Я даже указывал тугам-душителям епархиалочку лет четырнадцати, волоокую брюнетку, называя ее своей возлюбленной. Мне завидовали, по крайности, на словах. Чорт возьми! Недурная подвернулась девчонка!

Кое-что я, правда, старательно от тугов скрывал. Я заставлял у матери иногда ее знакомых с дочерьми, подростками моих лет. Угрюмо и потупившись подавал им руку «лодочкой», спешил засесть подальше за стол и оторопело с гнусным видом уничтожал слоеные горячие пирожки, притворялся, что в то же время очень занят чтением, тупо молчал, а на вопросы отвечал грубо, краснея, невпопад, совсем по-дурачки.

— Какой он у вас дичок! — говаривала матери иная Вера Петровна, самодовольно оглядывая свою Оленьку, спокойно и мило сидевшую за чаем со сливками, между тем как я после подобных замечаний делался еще больше неприступным.

Бурса развивала нездоровую мечтательность. Женщина считалась запретным, греховным созданием, существом другого мира. Искусственность, застенчивость, неумение просто и естественно себя держать соединялись с грубостями, с ухарством, с непристойными разговорами, в сущности наивными. Правда заключалась в том, что мы были не настолько испорченными, насколько могло это представиться, если кому привелось бы послушать нас со стороны...

...Летние каникулы провел я у дяди Николая Ивановича. По соседству жил дьякон, от худобы похожий на сухой стручок. Подрясник болтался на нем, западал на животе, а на постном,

изможденном от разных болезней лице проступал явственно череп, туго обтянутый тонкой синей кожей. Дьякон держался тишайше. У Николая Ивановича он боялся переступить порог гостиной, стоя обычно у притолки, в дверях; при этом он все складывал руки в горстку и дул на них с осторожностью. Детей у него не было и в доме у него стояла тишина, если только хозяин не «забавлялся» на гитаре, которую он крепко любил.

Летом к начальнику станции приехал двоюродный брат, молодой казак, чернявый и статный парень. Он недурно играл на скрипке, познакомился с дьяконом и стал бывать у него. Вечерами я присаживался в саду на скамью и слушал дуэты. Казак однажды окликнул меня. Он был покладистый, веселый малый, и с ним я, несмотря на различие в возрасте, сдружился, как со старшим братом.

На базаре несколько раз я встречал казака с племянницей Елочкой, дочерью начальника станции, гимназисткой, и бегал от них. Но случилось, после всенощной под воскресенье меня, казака и Елочку притиснули к стене при выходе из церкви. Казак представил меня Елочке. Я мрачно буркнул: «Очень приятно», сделал нелепое движение ногой, в давке, впрочем, неприметное. Однако, вид я имел неправдоподобный, Елочка не удержалась, фыркнула и для деликатности прикрыла рот ладонью. Мы выбрались на паперть.

— Совсем отдавили ногу! — промолвил я, отважно обращаясь к Елочке.

— Какая жалость! — ответила Елочка с притворным сочувствием.

— Даже вспотел весь от духоты, — усиленно поддерживал я разговор.

— Какая жалость! — прежним тоном молвила Елочка и спрятала в платок порозовевшее лицо.

Нечаянно я толкнул жену купца Федорова, хрупкую и жеманную.

Она оглянулась на меня:

— Какие невежи! Того и гляди задуют!..

Румяный и полнощекый муж ее сердито на меня воззрился.

— Еще учатся в заведениях разных, а наповерку растут олухами.

Я даже зажмурился от стыда и оскорбления и не знал, что делать с собой. Но тут казак заслонил собою Федорова и спросил меня о трудностях усвоения древних языков. С излишней горячностью обнаружил я свою осведомленность. У Елочки на щеках играли обворожительные ямки; в тот момент показались они мне предательскими. Расставаясь казак пригласил меня

вечером на прогулку к полотну железной дороги.

Долго размышлял я дома, итти или не итти на прогулку, но в конце всех концов было решено, что надо исправить невыгодное впечатление, какое, видимо, произвел я на Елочку. Старательно начистил я ваксой сапоги, надел новую сатиновую голубую рубашу, даже втихомолку намадился в спальной тети Анюты: один вихор никак не приглаживался. С собой на прогулку я взял младших братьев, Володю и Колю, не то «для храбрости», не то для того, чтобы похвастаться своими успехами среди женщин.

Мы миновали кусты, осинник, выбрались на полотно и пошли вдоль него по направлению к станции и к базару. Вечернее солнце плавало в жидкой позолоте. В дальних озерах и болотах крикали дикие утки и на все лады заливались неистово лягушки.

— Идут, идут! — прошипел Коля, самый из нас дальнзоркий.

От станции нам навстречу приближались: казак, Елочка, реалист Хозарович и две его сестры, гимназистки. Над селом висела тонкая золотая пыль и фигуры людей, в ней расплываясь, казались очень большими. Я храбро двинулся вперед, но скоро решимость меня покинула, я дернул Володю и Колю за рукава, — мы стремглав сбежали с насыпи и залегли в кустах. Мы боялись даже приподнять головы. Позор, позор! Мне стыдно было и пред собой и пред братишками... Эх, была не была! Я шепнул Володе и Коле, чтобы они за мной не ходили на насыпь, и вышел из-за кустов с видом обреченным, но решительным.

Гулявшие подходили к заброшенной будке, когда я приблизился к ним. Я громко откашлялся, дабы обратить на себя внимание.

— Ах, это вы, — сказал казак, играя хлыстом. Он познакомил меня с реалистом и с его сестрами. Реалист был курчавый юноша с приплюснутым носом. Сестер звали Соней и Рахилью. У Сони, постарше, зеленые глаза будто немного косили, а младшая, Рахиль, лет двенадцати, еще совсем по-детски раскрывала губы.

Я пошел рядом с Елочкой и все отводил от нее глаза: какой-то подвох таили они против меня. Преважно затеял я разговор о Короленко, о Писареве и Добролюбове; я щеголял словечками: тенденция, матерьялизм, атеизм.

— А я не люблю читать ученых книг, — беспечно и откровенно призналась Елочка.

Пришлось просвещать Елочку дальше. Я сказал ей положительно:

— На науке основано предвидение, на предвидении действие. Эту фразу Огюста Конта я вычитал, должно быть, у Писарева.

— Скажите, какой вы ученый! — лукаво заметила Елочка и

пристально на меня поглядела. — Это не вы у мостков шли нам навстречу и спрятались в кустах?

Недаром я не доверял глазам Елочки!..

— Нет, это не я шел у мостков, — ответил я несвойственным мне басом.

— Вы втроем шли..

— Никого со мной не было! — пробурчал я грубо. — И ни в каких кустах я не сидел!

Елочка кусала былинку и щекотала щеку со славным и нежным загаром. У ней появились ямочки и начали превесело играть.

— А нам всем показалось...

— Ничего подобного...

Слева раздался пронзительный свист и из-за кустов на насыпь вылезли Володя и Коля. Ах, пропади они пропадом, каналы!

У Елочки ямочки так и прыгали.

— Не понимаю, откуда они взялись! — пробормотал я, наклоняясь и притворяясь, что мне надо стряхнуть сор с коленок.

Пропал мой Огюст Конт, пропали матерьялизм, атеизм, прахом развеялись мои старания! Охотно сбежал бы я с насыпи в кусты и уж не вылез бы из них, будь неладны все эти Елочки, Рахили и Сони! Я посмотрел, насколько от нас отстали казак, реалист и его сестры. Они шли шагах в тридцати, они не видели моего поражения. Это меня ободрило. Да и Елочка, видимо, сжалилась надо мной и стала премило болтать. Из болтовни этой я узнал: Елочке исполняется скоро четырнадцать лет и она еле-еле перешла в пятый класс. Она пригласила меня на завтрашний пикник.

...Ну и досталась дома братишкам! Это уж да!

...На другой день я пришел в сторожку, когда там хлопотали Елочка, Соня, Рахиль, казак и реалист. Солнце село и небо отцветало нежнейшим перламутром. Ни к селу, ни к городу стая я рассказывать, насколько трудно учиться в бурсе: чего стоит один церковный устав, а древние языки, а катехизис! Меня слушали невнимательно, я догадался об этом слишком поздно. Елочка заметила, что семинаристы — все философы. Я не был еще семинаристом, но елочкиной ошибки не исправил. Я очутился рядом с Соней. Соня сказала:

— Священники не любят нас, евреев. Ваш дядя не знает, вероятно, о вашем знакомстве с нами?

— Он знает о нем, — солгал я Соне, нимало не смутившись.

— А у вас дома нас называют жидами?

— Нет, никогда не называют, — солгал я опять, солгал на этот раз искренно: хотелось, чтобы евреев никто не называл

жидами.

Соня тихо промолвила:

— Это нехорошо так называть нас.

Я поглядел на ее сведенные брови, на зеленые лесные глаза, на умное и серьезное личико, горячо и поспешно вымолвил:

— Да, это отвратительно.

В ту минуту я дал себе слово никогда не называть евреев жидями. Почудилось, Соня уже прошла длинный и тяжкий житейский иску́с и уже знает многое, что мне еще неизвестно, и перед ней я, как ребенок перед взрослым человеком.

В дверях появился высокий, худущий дьякон с гитарой в парусиновом чехле. Я был удивлен. Дьякон тоже поглядел на меня с недоумением и как будто недовольно.

Сели за стол. С шутками и прибаутками казак достал три бутылки вина. Мне пришлось занять место рядом с Рахилью. Меня распирала гордость. Я имею знакомых женщин, я сижу на пирушке! Жалко, что всего этого не видят славные иоги. Порадовались бы они за своего Верховного Душителя! После каникул будет чем потщеславиться. Пожалуй, Витьке Богоявленскому придется стать скромнее в своих непомерно-лживых баснях! Но далеко мне до реалиста и казака! Разве могу я так просто и непринужденно балагурить, смеяться, шутить, говорить любезности Елочке, Соне! Но и я, чорт возьми, не лыком же шит!.. Неожиданно я вообразил себя в средневековой таверне. Таверна скудно освещена факелами. Низкие своды потолка расписаны веселыми, непристойными картинами. Старые, заплесневелые бочки с вином, рога, тяжеловесные кружки, бокалы... Плащи, шпаги, пищажи, собаки. Усы за ухо; черные перчатки!.. Эй, старый хрыч, кривоглазый горбун! Вина из самых старых бочек! Вина и девочек!.. Тут взял я храбро со стола бутылку портвейна, налил себе добрых полстакана.

— Рахиль Моисеевна, не хотите ли вина?

Рахиль посмотрела на меня и точно меня не поняла. Да, не хочет ли она вина? Нет, она не хочет вина. Рахиль покачала головой. Почему она не хочет вина? Она не хочет вина потому, что ей не позволяют его пить папа и мама; и взаправду, ей еще рано пить вино: ведь не исполнилось ей и двенадцати лет. Карамба и Сакраменто! Девчонка еще зелена, чорт побери, девчонка еще не обучена! Ничего, все придет в свое время! Да здравствуют юные жены и нежные девы, любившие нас! Девчонка не может пить. Хорошо! Но я-то прополощу простуженную глотку! Хлоп!..

Вино, надо признаться, того... Откуда ты, старая образина, достал такой, хе, хе, дьявольски крепкий напиток? Прямо

обжигает адовым пламенем. Вот это вино! Да, немного кружит голову и даже мутит! Весело кругом, но не совсем понятно, кто и что говорит. Надо взять себя в руки. Вот это вино в старой таверне!.. Ах, это вы, Рахиль? Вы спрашиваете, что со мною случилось? Со мною ни-че-го не случилось! Понимаете... Я побледнел? Это вполне возможно. Не лучше ли мне освежиться? Пожалуй, лучше мне освежиться... Какая темь, Рахиль! Можно сломать голову. Я чуть-чуть не упал. А все же отлично, превосходно... Акации!.. Отлично, превосходно! На небе звезды, много звезд. Они сегодня в кулак величиной... Звезды сверкают во мраке их глаз... Но... веселей молодецкая воля!.. Отлично, превосходно!.. Где вы, Рахиль? Вы здесь, Рахиль! Отлично, превосходно... Немного закружилась голова. Я, пожалуй, присяду вот на этот пенек... Мне что-то хочется сказать вам, Рахиль, но я ничего не скажу вам, Рахиль! Я подумаю только про себя: вы нравитесь мне, Рахиль. Да, вы, черт возьми, нравитесь мне, старому гуляке и зоилу. У вас заботливые руки, Рахиль! И когда вы прикладываете их к моему горячему лицу, отрадна мне их прохлада бывает!.. Спасибо, спасибо. Стало лучше. Болит голова, но и головная боль скоро пройдет...

Все это я больше говорил про себя, чем вслух. Я и Рахиль сидели за сторожкой, у кустов акации. Рахиль махала носовым платком перед моим лицом. Опыянение быстро проходило, но меня еще сильно мутило, я ослабел, клонило ко сну. Рахиль тревожно спросила:

— Раньше когда-нибудь вы пили вино?

— Понятно, раньше я пил вино.

— Вы много пили?

— Да, приходилось...

— Это нехорошо — пить вино, и так рано! Вы сделаетесь пьяницей. Я в первый раз вижу пьяного мальчика! Это очень некрасиво!

— Бурсаки все пьют горькую. От бурсы непременно сопьешься.

— И вы тоже сопьетесь?

— И я тоже сопьюсь.

Рахиль нагнулась, чистыми и честными глазами заглянула в мои глаза, торжественно и проникновенно от всего сердца промолвила:

— Дайте мне слово, что вы больше не будете пьянствовать.

— Не знаю, — пробормотал я мрачно. — Впился... привычка... очень трудно...

Рахиль решительно перебила:

— Нет, вы дайте честное слово, что не будете больше пить.

— Попробую, — заявил я неуверенно. — Боюсь, не выйдет дело... Привычка...

— Нет, дайте честное-пречестное слово...

— Не знаю... Честное-пречестное слово...

— Теперь домой. У вас слипаются глаза. Не боитесь один идти в кустах?

Я-то боюсь! Ах, не знает еще Рахиль, что я Верховный Душитель!

Дома старый потаскун и залихватский гуляка заснул мертвецким сном.

...Спустя несколько дней мы опять собрались в сторожке. Пришел и дьякон. Я сильно стеснялся, памятуя недавнее происшествие с вином. Никто о нем мне не напомнил, Только Елочка смотрела на меня чуть-чуть насмешливо. С Рахилью я встретился еще раньше на насыпи. Рахиль спросила, верен ли я честному слову. Да, я ему верен, я не запивал, но дается мне воздержание трудно. Искушение велико. Не уверен, смогу ли в дальнейшем оставаться трезвым. Привычка... Наследственность... дед — алкоголик, да и отец выпивал. Рахиль вздыхала всей грудью и теребила золотистые косы. Хотя и трудно мне держать данное слово, но я не должен его нарушать. Пить водку или вино в мои годы нехорошо. Да, это — верно.

Мы вошли в сторожку. Там чаевничали. Дьякон держал блюдце на растопыренных костлявых пальцах, выпив, стакан опрокинул, замусоленный кусок сахара бережно положил на донце и торопливо взялся за гитару. Заиграли старинный вальс. Я смотрел на Елочку, на Соню, на Рахиль: они казались мне теперь совсем другими. Точно б них что-то спало, какая-то житейская, обыденная пелена... Зачем я обманывал Рахиль? И она, и Елочка, и Соня — правдивые и невинные, а я нечестно веду себя... Дьякон и казак уже играли «В глубокой теснине Дарьяла», отрывки из «Кармен», андалузские и испанские романсы, мазурки, русские песни. Казак водил смычком, улыбаясь Елочке, Соне, Рахили с веселым и победным видом. Дьякон сидел в затемненном углу; лица его почти было не разглядеть, в согбенной спине застыла горечь; пакли волос спутанно и сиротливо лежали редкими прядями на плечах; из подрясника торчали заскорузлые пыльные сапоги. Захолустный отправитель треб, собиратель по хатам грошей и подаяний вызывал из прошлого легендарную грузинскую царицу Тамару; своенравная цыганка пела про свободную кочевую любовь, трещала кастаньетами, обольщала торреадора. Под цветущим небом Италии в великую древность уводили развалины Колизея, обломки форума; в узких улочках шныряли веселые, беспечные, черноглазые итальянцы, облитые

солнцем, пели пьяные песенки, а вдали сияло вечно юное, вечно прекрасное море... Мечетями, минаретами вставал Восток... звучала древняя заунывная песня, колыбель всех песен, о человеческой судьбе, о горах и любви, о счастье, о сказках тысячи и одной ночи. Было странно и трогательно, что все это требовалось жалкому церковному служке, окруженному непроходимыми болотами и трясинами. Даже ему нужен был целый обольстительный мир!

Я задичился Рахили, Сони и Елочки и простился с ними неуклюже.

Возвращался я домой вместе с дьяконом. У наших огородов он глухо сказал:

— А вы... того... не рассказывайте... Пойдут суды и пересуды: дьякон, мол, с евреями якшается. Оно и вправду: не подобает духовному лицу. Да что же поделаешь, пристрастие к музыке имею. Одна отрада и есть. Боюсь я: всего боюсь. Отца Николая боюсь, старосты церковного боюсь, купцов наших боюсь, помещиков боюсь, мужиков — и тех боюсь. С чужим, незнакомым человеком где встретишься — и то боязно делается. Думаешь: как бы не вышло чего да не случилось. Это с самого детства у меня. От запуганности и страха и учился в семинарии без успехов, из второго класса исключили. О. ректор сказали — «Ты, семинар, главою скорбен... Вот... А музыка даже храбрым меня делает. Слушаешь эдакое... душевное, торжественное, и охота самому что-нибудь свершить, на себя не похожее. Ну, и жизнь музыкой украшается тоже. Жизнь наша даже совсем неинтересная... Какая там жизнь... Помрешь — и через год никто о тебе и не вспомнит. Дай вспоминать-то, по совести, будто нечего... А музыка... она цену человеку поднимает... Нет, уж вы, пожалуйста, там у себя не проговоритесь... А то и поиграть не придется. Дьяконица моя тоже об этих похождениях не знает... Я в будку-то все задами пробираюсь: не доглядел бы кто ненароком».

...Почти ежедневно по вечерам выходил я теперь на полотно железной дороги. Я влюбился сразу в Елочку, в Соню и в Рахиль. Елочка привлекала девичьей лукавостью, ямочками, румянцем. Глядя на нее казалось, что воздух кругом розовеет. У Сони отмечались лесные глаза, разумность, умение тихо и прелестно беседовать. В Рахили, хотя она и была всех моложе, находил я заботливое, уютное, материнское. Я не знал, кому отдать предпочтение, и старался поровну делить меж тремя свои чувства. Неверность очевидна была и Елочке, и Рахили, и Соне. Мои измены всех легче переносила Елочка: не огорчалась она, когда я начинал больше, чем за ней, ухаживать за Соней или за Рахилью. Она утешалась реалистом, а еще чаще казаком. Почему

я думал, что я неотразим для Елочки, неведомо, но я твердо в то верил. Соня принимала меня дружески, снисходительно и ровно, напоминая больше старшую сестру. Нередко она меня журила за бурсацкие повадки, за плохо одернутую рубашку, за фуражку на затылке; я подчинялся ей тем охотнее, что свои замечания она делала для меня неоскорбительно.

Рахиль меня смущала. Она наблюдала порой за мной молча, исподтишка, как бы меня изучая и осуждая.

— Вы к Соне? — спрашивала она меня, когда я приходил к Хозаровичам. — Где вы были вчера? У Елочки? Ходили ко всенощной? У вас большой сегодня праздник? Поздравляю. А я думала, вы с Елочкой провели вечер. Вы дружны с нею. Елочка почти совсем взрослая, скоро будет носить длинные платья... — Мы усаживались в палисаднике на скамью... — Интересно, за кого Елочка может выйти замуж, — любопытствовала Рахиль и раскрывала пухлые, пунцовые губы.

Пауза...

— После семинарии вы сделаетесь священником. Священники все женятся.

— Я никогда не сделаюсь священником: я не верю в бога...

Рахиль улыбнулась, снисходительно на меня поглядела. У нее были крохотные ноги, в коричневых туфельках. Она ими слегка болтала, не доставая немного до земли.

— Все так говорят, а потом все женятся и выходят замуж. Вы тоже женитесь.

Я смолчал. Она искоса поглядела на меня, ожидая ответа; не дождавшись, сильнее заболтала ногами, мускулы на лице у нее задрожали.

— А я, по-вашему, красивая?

— Очень красивая, — сказал я помедлив, угрюмо и грубо, давая, должно быть, понять, что не склонен продолжать сомнительный разговор.

Рахиль покраснела, губы у нее задрожали. Она еще сильнее стала задыхаться. Я не знал, куда деться, что делать с собой.

— А чем я красивая? — выговорила Рахиль еле-еле, с трудом шевеля губами и вся сжимаясь. Она зажмурилась.

«Зажмурюсь и я», — решил я с отчаянием, зажмурился и мрачно пробормотал:

— Не знаю; всем красивая...

Открыть глаза или еще посидеть зажмурившись? — Открыла «она» глаза или не открыла?

— А я красивее Сони и Елочки? — едва расслышал я лепет Рахили.

Она сидит зажмурившись, и я буду сидеть зажмурившись.

— Пожалуй, вы красивее их.

Мы одновременно открыли глаза, но притворились, будто не заметили, что каждый из нас зажмурился... Уже с более спокойным видом Рахиль сделала гримаску.

— «Пожалуй»... Очень вы уж важный...

С балкона в палисадник спускалась мать Рахили.

— Что же вы, дети, не отзываетесь? Пора ужинать...

...Я решил, что я влюбился в Рахиль. Смущали ее годы...

Можно ли влюбляться в двенадцатилетних? Припомнились прочитанные романы. Утешительного ответа я в них не нашел. Но вот Витька Богоявленский влюблялся и в десятилетних и даже имел с ними предосудительные делишки. Витька привирает. Это верно, но есть же и доля правды в его рассказах. Я подумал о тайне пола и о Рахили и даже вздрогнул, до того невозможным, немыслимым представилось мне то, что бывает между мужчиной и женщиной, если «это» отнести к Рахили. Было обидно и за себя и за Рахиль. И в то же время я чувствовал смущение, томление, трепет. Какая-то властная сила, сильнее меня, меня не спрашивая, заставляла мучиться, раскидывала обольстительные и жаркие картины, и в них Рахиль являлась грешницей. Потом я каялся перед собой: воспитанный в духе христианских начатков и правил, лишенный в бурсе естественного, простого общения с другим полом, я осуждал себя и за увлечение Рахилью и еще больше за свои нечистые помыслы, хотя «это» и представлялось мне нездешним счастьем, выше, сильнее которого нет и ничего не может быть на земле.

С трудом преборол я себя, но, преборов, опять задичился и Рахили, и Сони, и Ёлочки. Несколько дней я не выходил на прогулки, а когда, не выдержав, вышел, то при первом же разговоре с Рахилью был до того невежлив, угрюм, груб, ненаходчив, что она отошла от меня.

Скоро мы помирились. Спустя неделю нас застала во время прогулки гроза. Ёлочка, Соня, казак и реалист укрылись в сторожке. Рахиль и я спрятались под небольшим железнодорожным мостом. Слева за роцей во тьме гневно блистали лиловые молнии с гигантскими вспыхами. Гром грохотал и низвергался грузными и мощными раскатами. Пошел крупный черный дождь. Рванул одичалый ветер, закрутился, засвистал в ушах, застонал в проводах, сгинул бандитом в мокрых кустах и неприветных полях... Дождь прекратился. Тяжелая глухая тишина повисла над землей. Рахиль куталась в легкую шаль; волосы у Рахили растрепались, она наспех их оправляла. По щекам скатывались крупные темные капли. Вдруг хлынул ослепительный грозный свет, над самой головой треснул

бесноватый удар, раскатился, шарахнулся, разбился, рухнул грудой глыб и осколков. Рахиль вздрогнула и бессознательно прижалась к моему плечу.

В непрерывных вспыхах молний, в новых неистовых раскатах грома мы молча, зачарованные, смотрели друг другу в глаза. Что-то непередаваемое, погибельное, прекрасное и обольстительное, что-то пронзительное, смертельное, упоительное и восторженное сковало все тело. Неизвестно, сколько прошло так времени. Дождь хлынул сразу косым ливнем, под ногами захлюпала вода. Я пришел в себя, выбрал два камня, стал на один, другой предложил Рахили. Сверху кое-как нас защищал настил из бревен. Мы прислушивались к шуму ливня.

— Вы в одной рубашке; у вас мокрые плечи... — Рахиль распахнула шаль.

— Ничего, не холодно, — сказал я, но от шали не отказался.

Мы прижались друг к другу. Волосы Рахили касались моих щек, они пахли свежей сыростью... Так прошло минут десять. Ливень стал уставать.

— Через месяц я уезжаю учиться.

— И я тоже уезжаю учиться в Воронеж, — ответила Рахиль.

Я освободился от рахилиной шали.

«Нужно объясниться в любви», — решил я и испугался. Еще ни разу я никому не объяснялся в любви... Да, сейчас объяснюсь ей в любви. Искоса я поглядел на Рахиль. Вот сейчас, сосчитаю до десяти и объяснюсь. Я сосчитал до десяти, раскрыл даже рот, но язык сделался стопудовым. Опять я считал, и опять язык тяжелел. Подбадривая, я корил себя за трусость. Наконец, оторопело выговорил с трудом;

— Пожалуй, если придется мне жениться, я женюсь, Рахиль, только на вас одной.

Я взглянул на Рахиль и понял: то страшное и прекрасное очарование, какое я недавно пережил, было моими слова-ми испорчено. Рахиль быстро прошептала:

— Не говорите глупостей... все это неправда... вы считаете меня неумной девчонкой.

— Нет, я вас такой не считаю, — возразил я с поспешной горячностью.

Рахиль глубоко вздохнула.

— Очень хочется быть совсем взрослой.

— Тоже и мне хочется быть совсем взрослым, хотя я и без того уже взрослый...

— Вы не сделаетесь священником?

— Никогда не сделаюсь. Я это твердо решил.

Рахиль дотронулась до моего локтя. Гром рокотал реже на

краю горизонта. Вспыхивали зарницы. Почти совсем неслышно Рахиль промолвила:

— Подождите меня... мы подростем... это недолго... шесть-семь лет!..

Она стучала зубами. Заражаясь ее состоянием и еле сдерживая дрожание челюсти, я невнятно выговорил:

— Подожду... — Я не знал, что дальше говорить, что делать... — Пойдемте в сторожку... дождь прекратился...

Я не посмел больше взглянуть на Рахиль ни дорогой, ни в будке. Поспешно я попрощался со всеми.

Разговор с Рахилью представился невероятным. Я дал Рахили обещание, я связал себя с ней! Для чего, зачем? Это же неправда, что я женюсь на ней!.. Приду домой, напишу письмо, попрошу освободить меня от обещания. Или, может быть, лучше все это превратить в шутку, в шалость, в болтовню? Не уехать ли к дяде Ивану?.. Вместе с тем я гордился: да, я уже «как-никак» объяснялся в любви, «как-никак» у меня есть возлюбленная; «как-никак» я — настоящий мужчина; будет чем похвастаться перед тугами-душителями. Мужское тщеславие надувало меня индюком... А в итоге я находился в сумятице. Я чувствовал также: в моих злоключениях повинна бурса; она — в моей крови. Проклятая бурса! Ни к Рахили, ни к Соне, ни к Елочке не могу я подойти по-человечески: все шиворот-навыворот... «В поле чорт нас водит, видно, да кружит по сторонам» ...Но... я люблю вас, Рахиль. Я люблю вас, милая, славная Рахиль! Я люблю вас, Рахиль. Вот я готов даже заплакать... Ах, что же делать? Что же мне делать? Кто научит, кто поможет, кто освободит меня от ненавистной бursы, от бursы под моей кожей?!

...На горизонте трепетали огромные зарницы, вестники грядущего!..

Я больше не выходил на полотно дороги... У меня хватило сил преобороть искушение. Я убеждал себя, что не подстать мне, тугу-душителю, иметь дело «с девчонками», бабиться, распускать нюни.

В отдалении, из-за кустов, наблюдал я иногда за казаком, за Елочкой и Хозаровичами, как гуляли они. Показалось, Рахиль все поглядывала на тропу, по какой я обычно ходил... Казаку на его вопросы, почему я не гуляю, я отвечал, что занимаюсь по арифметике. Дни шли за днями и все более невозможной представлялась встреча с Рахилью.

...В те дни я вспомнил разговоры и беседы Михал Палыча, встречи с Иваном Петровичем, вспомнил Надежду Николаевну, опять взялся за Некрасова, прочитал Решетникова и Засодимского и стал внимательней приглядываться к деревенской жизни.

Многое забытое и полузабытое из раннего детства по-новому представилось мне тогда.

...Еще при отце слышал я на кухне рассказы о борзых, о гончих в имениях Унковских и Петрово-Соловово. На своры тратились крупные суммы. Покупались, продавались, менялись необыкновенные, чудовищные волкодавы. Собаки имели древнейшие родословные, более разработанные, чем история целых округов. Знаменитые кобели и суки гремели на губернии. Окрестным крестьянам от них не было ни прохода, ни проезда; собаки рвали одежду, терзали, увечили, на владельцев их негде было искать управы. Однажды спущенная свора набросилась на стадо овец и перегрызла добрую их половину. В селе то-и-дело передавали: Ивана Беспалых собаки у имения сильно потрепали, а у Плотниковых чуть-чуть не загрызли трехлетнего Петяшку. Немудрено, что мне тогда казалось, будто барские собаки — главная напасть на селе.

Голодный девяносто первый год тоже я не забыл. Над родным селом, над соседними деревнями в ту пору нависла хмарь. Черная оторопь бродила по полям, по хатам, по гумнам. Избы стояли с раскрытыми верхами, в распахнутые, кривые ворота виднелись пустые дворы. Дырявые плетни повалились. Изможденная скотина еле передвигала ноги. Почти ежедневно мимо нашего дома проносили в церковь гробики с детьми. Мужик нес гроб, охватив рукой и подвязав его через плечо полотенцем; шел спокойно, истово, без шапки, изредка движением головы или черной от работы рукой сбрасывая с глаз ветром тронутую прядь волос, остриженных в скобку. Убивалась, причитала мать; плелась древняя старуха. В буруны, во व्यюжные ночи на колокольные тревожно и низко гудели от ветров колокола; сторож отбивал часы, а на другой день истощенных, изморенных голодом людей находили окоченевшими где-нибудь поблизости у омета, около гумна, в нескольких шагах от большака. Заносило целые обозы, а хаты засыпало до печных труб.

Пришел холерный год. В селе у нас холерных случаев было немного, но опять я видел, мимо нас все носили гроба, большие, длинные, от них веяло ужасом. Рассказывали: «утречком» в деревне Вознесенске Пахомовна вышла полоть гряды, а ее и схватило, зачало корежить. Помучилась Пахомовна да тут же, между гряд, и преставилась. Говорили о, вымерших семьях, о заколоченных хатах, о целых опустошенных деревнях, о «дохтурах» и «скубентах», отравителях воды в колодцах. Появилось множество бесприютных стариков, старух, детей. Ночью во сне мерещились кладбища, могилы, залитые негашеной известкой, скрюченные, сведенные в страшных судорогах тела...

Припомнилось: по дороге к родным мы проезжали деревней. Вместо хат торчали печи с почерневшими трубами, подобные верблюдам. Валялись бревна, слегы, доски, все обгорело, было черным-черно. Деревня пустовала.

— Что это, дядя Иван? — спросил я возницу.

Иван помахал кнутовищем, равнодушно ответил:

— Известно, стало быть погорели. Дочиста, дотла.

— А мужики где?

— Кто помер, а кто по людям пошел... Свет велик...

Я удивился спокойному тону Ивана.

...Во всем, что виделось мне теперь в деревне, было вымороченное, обреченное, донельзя тоскливое и незащищенное. Повсюду чувствовалась эта беззащитность. У Петровых сынок Ванятка заболел и умер от каких-то необычайных нарывов на всем теле. У Сеньки «захватило» горло, и тоже его уже стащили на погост. У Дуняшки в ухо «авчерась» заползли тараканы и она ревмя-ревет, а ее братишка Васятка лежит в огневице. Где же справедливость? Как бог допускает все это? И я все больше и больше терял в него веру свою.

Но также я видел: беззащитность господствует не у всех. Я, мои сестры и братья, мои родные жили не столь беззащитно. Мы жили куда лучше мужиков. Еще лучше нас жили купцы на базаре, хлебные торговцы, а лучше нас и купцов жили помещики.

В лавке купца Федорова, куда я заходил купить безделицу, заставлял я плюгавого мужичонку в рваном полушубке, с торчащими клоками грязной шерсти. Мужичонка, низко подпоясанный грязным кушаком, мямлил шапку, упрашивая Федорова сделать «божескую милость», подождать «с деньжонками» «самую малость», иначе ему, хозяину, приходит «прямо зарез» — однова дыхнуть. Федоров по «хозяину» скользил холодными голубыми глазами и ничего не отвечал. Приходил покупатель, приказчик отпускал товар. Федоров, если покупатель из почтенных, вел с ним неторопливую беседу и, казалось, совсем забывал о мужичонке.

— Чего тебе? — обращался наконец Федоров, словно впервые его увидев.

— Насчет послабленьица... Явите...

— Уговор помнишь?.. Денежки счет любят... Прикрой за собой дверь-то со двора... Со двора, говорю... Эх, непонятливый какой...

Мужичонка брел по базару с серым лицом.

Насчет понятиев у них не ищите, не полагается, — говорил покупатель в чуйке, подлаживаясь к Федорову.

Федоров не спеша полными пальцами в кольцах и перстнях

стучал на счетах.

Купцов наших я возненавидел с детства. Противны были их долгополые кафтаны и сюртуки, суконные поддевки, дубленые тулупы, расчесанные бороды, сквалыжничество, елейность, вздыхания, поминования, продажа гнилого товара.

Наперекор купечеству, хлебным торговцам вставал передо мной величавый и спокойный образ Назара Пашкова. Жил он от нас верстах в трех, в небольшой деревеньке, было Пашкову за семьдесят, но выглядел он еще крепким. Кряжистый, дородный, высокого роста, плечистый, с окладистой во всю грудь бородой, всегда чисто одетый, он подчинял себе людей ладной, в себе уверенной осанкой, неторопливой, рассудительной речью, размеренными движениями. Он был женат в третий раз и, указывая на четырех рослых ядреных и работающих сыновей, добродушно шутил:

— Еж-е, переживу их всех, с последней хозяйкой в придачу.

Жил он небогато, но в достатке. У него не делились, семья насчитывала около сорока душ.

— Густо, еж-е, густо...

Приветливый и гостеприимный, он ни перед кем не заискивал, ни у кого не одолжался; начальство недолюбливал, с купцами не дружил, а помещиков считал непутевыми. Только добро людское мотают.

В саду Пашкова от наливных румяных яблоков в два мужицких кулака ломались ветви; груши-баргамот были прямо объядение, пасека, парной сотовой мед — всего хватало. Мед подавали гостям в расписных чашках вместе с душистыми ломтями хлеба, выпеченного на поду.

Казалось, Пашков все испытал, все узнал, ему нужное, нечем удивить его, все он обсудил, взвесил, правдивый, честный и мудрый. Он заставлял почтительно себя слушать, и я иногда замечал, что даже Николай Иванович, человек самолюбивый и гордый, с Пашковым обращался, как со старейшим, и даже благословлял его по-особому истово.

Пашков был обломком старого натурального деревенского уклада. «Чугунка», базар, хлебная ссыпка этот уклад разрушали. Базар с каждым годом отстраивался, протягивались новые «концы», появлялись новые люда, оборотистые, дошлые, с бессовестными глазами, с наглыми взглядами. Чуйки, поддевки, старомодные сюртуки до пят, похожие на лапсердаки, сменялись пиджачными парами, шубами на лисьем меху. Мелкая торговля уступала место крупным оборотам. С завистью рассказывали, как в уезде хлебный торговец Урюпинов за одну осень на пшенице, проданной за границу, схватил «куш» около ста тысяч, а торговец

Финогенов тоже изрядно набил карман на овсе. Один стал торговать баскунчакской солью, отправляя ее вагонами, другой скупал лес на корню, третий выгодно, за бесценок приобрел помещичье имение, четвертый «обладил» в соседней округе кирпичный завод.

— Ого-го... — гоготал купчина Рундуков с арапником в руке и в каких-то особых чуть ли не сафьяновых сапожках.

Детей обучали в гимназиях и в реальных училищах. Они приезжали на каникулы и радовали родительские сердца мундирчиками, светлыми пуговицами, кантами, позументами. Заводили кровных рысаков и на катаньях старались друг друга обогнать с присвистом, с гиканьем, с оскаленными зубами.

В домах появились рояли, персидские ковры, дорогая утварь, серебро, хрусталь, картины в золоченых рамах. Отечественное, православное купечество требовало выселения евреев, посылало челобитные и ходатаев в губернию. Пускали слухи про мацу, замешенную на детской крови, про то, что все жида в тайном сговоре против престола и церкви, опутывают страну всякими хитросплетениями и являются агентами не то «англичанки», не то «немчуры», не то «французишки». Стали наезжать темные дельцы, частные поверенные, необыкновенные говоруны, вояжеры...

...А поля попрежнему, как и встарь, в крепостную пору, томили мужика страдой; по колена в грязи мужики вязли с сохой, орали, непотребно ругались на сивок, на саврасок, на весь мир, «испивали» мутной и теплой «водицы», обедали «картохой», луком, квасом, куском черного черствого хлеба, считая селедку, тарань редким лакомством. На окраинах села плодились убогие, хилые глиняные мазанки, без единого деревца и даже без огорода; избы дряхлели, уходили в землю; рядом же вдруг по щучьему веленью вымахивала железная крыша кулака. Пахло разогретой смоляной стружкой; в стороне раскорякой плотно усаживался поместительный амбар с громадным замчищем...

Я видел и крестьянское разорение и рост базара. А тут еще книги, Михал Палыч, Некрасов. Зазвучали опять дедовские разбойные песни; злая неправда крестьянской жизни мозолила глаза, да и свое, бурсацкое житье-бытье не внушало радости. И я все больше убеждался, что нигилисты правы. Смутно я слышал о Чернышевском; он пострадал за мужиков, и его сгноил царь на каторге.

Новое слово нужно было претворять в дело. Прежде всего я попытался ближе сойтись с деревенскими ребятами, со сверстниками в раннем детстве. Но деревенские ребята выглядели солиднее и положительнее меня. Они рассуждали, точно взрослые, и все о вещах, связанных с трудовым сельским

бытом. И верно: они вставали вместе со взрослыми, на заре, или даже затемно, помогали в поле, на сенокосе, убирали рожь, овес, задавали корм скотине, запасали из рощи хворост на зиму, ездили на станцию, на базар, на мельницу. Я не замечал в них зависти к тому, что чище их был одет, был свободен от деревенской работы, но я чувствовал, учение мое они считают делом пустым. Они принимали меня в свою среду, но как-то насмешливо и снисходительно. Слова мои о богатых и бедных, о том, что крестьяне кормят своим трудом помещиков, чиновников, церковь, купцов, кулаков, — оставались без ответа. Ребята почесывали спины и переводили разговор на разные деревенские происшествия, на девок. Это меня обижало, я умолкал.

Неудачны были и попытки убедить взрослых, что им живется худо и что у них много разных нахлебников и захребетников. Больше всех меня огорошил церковный сторож Яков, безлошадный бедняк.

— За такие брат, речи в кутузку представляют, — объявил он мне решительно, щурясь и доставая кiset. — За таких смутьянов, друг мой ситцевый, награждают, ежели представишь по начальству. И то сказать, барам выгодно мужика мутить. Он намотит мужика, сам в сторону, втегулевку, поминай, как звали-прозывали, а мужику взащей, мужику — вшей в тюрьме кормить, мужику — цепями звенеть. Слыхали... знаем...

После Яковлевой отповеди я решил уйти в подполье. Я добыл копировальной бумаги и уединился в болоте. На кривых ветлах, в камышах, одолеваемый мошкаррой, смастерил я из досок неприхотливое логово. В поте лица, изловчаясь так и эдак, — стола у меня не было, — я вдохновенно сочинил пламенное воззвание к труженикам. Воззвание не должно отличаться велеречием, и оно, действительно, получилось у меня краткое. — Вставайте, крестьяне, поднимайтесь. Довольно спать... — так начиналось оно безо всяких околичностей. — Бейте всех живодеров — помещиков, купцов, чиновников, офицеров, кулаков (духовных я, должно быть, покривив душой, пожалел). Бейте их чем попало. Устраивайте сами, без них, свою жизнь, как хотите. Свобода или смерть! Долой тиранов!.. — В таком, примерно, духе составлено было мое кровожадное воззвание.

Призыв устраиваться по усмотрению показался неопределенным. В каком смысле устраиваться, на каких началах? Поразмыслив я пришел к заключению: если свобода — пускай и будет полная свобода. При свободе народ ни в каких предписаниях не нуждается; свободный народ бесспорно меня умнее, он разберется, какие ему завести себе порядки. Так убедив себя, я уже больше нимало не беспокоился ни за народ, ни за

свободу, ни за порядки. Воззваний было заготовлено с дюжину. Для грандиозного мятежа их словно бы и не хватало, но, известно, от копеечной свечи Москва сгорела. На первое время хватит. Дальше посмотрим.

Предстояло решительное объяснение с Рахилью. Забыл упомянуть: с ней к тому времени я уже стал опять встречаться. Первая встреча произошла невзначай, около станции. У обоих у нас дрожали губы и голоса, но Рахиль овладела собой, да и я скоро освоился. Теперь я решил ее привлечь к потайному «общему делу» и назначил ей свидание в кустах. Отправился я на свиданье с предосторожностями, старательно избегал встреч и даже обошел пеструю корову; она показалась мне подозрительной. Я приседал, пригибался, делал стойки, прислушивался, приглядывался и то-и-дело проверял в кармане наличие своих выразительных воззваний. — Нет, Якову меня не поймать...

Рахиль запоздала явиться, и я сурово отметил ей опоздание. Рахиль оправдывалась: она не могла раньше притти: мама усадила ее перебирать малину для варенья. Объяснение нисколько не подходило к моменту. Поморщившись я рассказал Рахили про нигилистов и про страданья мужиков. Жизнь мужиков я изобразил по Некрасову. Ждать нечего. Время пришло. Общее дело требует самоотверженных работников. Согласна ли Рахиль помочь мне в опасной борьбе против помещиков, купцов, кулаков, против солдат, чиновников? В ближайший базарный день раскидаем мы воззвания.

Рахиль меня слушала с ошеломленным видом. Припухлые губы у нее раскрылись. Для окончательной убедительности я показал Рахили заготовленные воззвания. Читала их она так долго, что терпенье мое стало истощаться. Наконец, Рахиль подавленно спросила:

— Торговцев хлебом тоже надо всех перебить?

— Жалеть не приходится. Они все кровопийцы.

— Значит, моего папу тоже мужики убьют? Папа ссыпает и продает хлеб.

Этого осложнения я не предвидел. Рахиль ждала разъяснений. Призвав на помощь все свое соображение, я разъяснил ей:

— Так рассуждать нельзя: у одного — папа, у другого — мама, у третьего бабушка или дедушка. На это нельзя обращать внимания.

— А если я не могу не обращать внимания? И папа, и мама, и Соня, и Мося, и все наши мне очень дороги...

Я непреклонно и сурово разъяснил:

— Надо выбирать между ними и общим делом.

Рахиль провела рукой по виску, стирая с него пот.

На открытой шее у нее трепетала жилка. Я ждал, Рахиль долго не давала ответа, заплакала и вынула из-за пояса платок с розовой каймой. Она сдерживала слезы, как могла, но они обильно мочили платок.

Имей дело с девчонками!

— Не плачьте, — промолвил я угрюмо, глядя на ближний куст, облитый вечерними лучами; там беззаботно чирикали неугомонные птицы.

— Не буду плакать; это я так, — прошептала Рахиль и действительно плакать перестала. — Хорошо, я согласна; давайте ваши воззвания.

Вот я и обратил в новую веру одну душу! Для начала и то недурно. Общее дело подвигается вперед. Я передал Рахили несколько воззваний. Рахиль просила дать ей еще. Хорошо я, значит, воодушевил ее. Тут я заметил, воззвания мои никем не подписаны. Да, я опростоволосился. Какой смысл имеет распространение их, если неизвестно, от кого они исходят? Сомнениями я поделился с Рахилью, Она согласилась со мной. Как же подписать воззвания? Подпишем: союз кровавых мстителей. Предложение подействовало на Рахиль, видимо, неважно, но она почему-то не возражала и только сказала, что подписи она сделает сама дома.

— Будьте осторожны, Рахиль, — учил я ее подпольным навыкам.

— Буду осторожна.

— Непременно измените почерк, подписывая воззвания. Жалко, что вы не умеете твердо писать левой рукой. Впрочем, я тоже не умею...

Мы уговорились встретиться здесь, на прежнем месте, после свершения общего дела...

Утром я отправился свершать общее дело. Базар собрался на славу. Вozy ржи, яблок, дынь, арбузов, картофеля мешались с палатками красного товара, с ларьками; манили к себе игрушки, пряники, глиняные свистульки, лубочные книжки. Много добра лежало и просто на дерюгах. Пахло пылью, дегтем, сеном, человеческим потом, ситным хлебом, кумачем. Ржали лошади, блеяли овцы, мычали коровы, высоко взмetyвался пронзительный пороссячий визг. Пестро, шумно, весело, людно.

Надо было незаметно раскидать воззвания. Дело это раньше представлялось мне легким, но на поверку сразу обнаружились трудности. Оставить воззвания на земле? Но бумажки затопчут ногами. Раздать их по рукам? Но за раздачей могут поймать и

представить уряднику или самому становому. Огорченный, растерянный толкался я повсюду. Где-то моя Рахиль? Чудесная Рахиль. Я люблю вас, Рахиль. Я очень люблю вас, Рахиль... А если ее арестуют? Мне стало жалко Рахиль. Не рановато ли втянул я ее в общее дело? Но... свобода жертв искупительных просит... Воззвания отягощали карман. Пора было действовать... Не хватало еще одного: Рахиль распространит воззвания, а я не сумею.

Я стал вертеться возле телег. Улучив сходную минуту, сунул бумажку в одну из них, между кулями ржи. У телеги стоял широкоплечий мужик с кнутом в руке, без шапки, босой; ноги у него были до того грязны, что, казалось, мой их целый год — не отмоешь... Подсунув листок, я зашел спереди лучше разглядеть, кого я хотел поднять на грозное восстание. Мужик с грязными ногами не спеша вертел цыгарку, провожая спокойными глазами проходивших мимо. На запыленном его лице недавний пот оставил следы в виде засохших ручьев. Густая, соломенного цвета борода сильно свалялась, в ней застряли крошки черного хлеба. Не таким представлялся мне крестьянин, готовый к восстанию. Решительно в нем ничего не указывало, что он отзовется и поднимется громить помещиков и полицию. Слишком простецкий был у него вид, простецкий и мирный... Едва ли примкнет он к кровавым мстителям! Едва ли!

Должно быть я слишком пристально разглядывал боевые свойства селянина.

— Что ты, милай, глаза на меня распылил? Или я с того света явился? — Мужик показал ряд ровных и сильных зубов.

— Я ничего... Очень ты мне нужен, — ответил я упавшим голосом, стараясь прикинуться беззаботным.

— Ничего... — заметил добродушно мужик; он вынул из кармана спички. Закурив, продолжал: — Ничего!.. Иной пошныряет, — глядишь, с воза полушубок упер, поминай, как звали... Да... постой... Ты чых будешь-то?.. Я тебя, будто, в церкви анамеднясь видел, ей же ей.

— Ничего ты меня не видел... — растерянно пробормотал я, пятясь.

— Видал... верно слово, видал... у правого крыльца ты стоял...

Я поторопился скрыться в толпе. Неудача и неудача. И дело-то словно бы простое, а не повезло. Понятно, мужик с грязными ногами на воззвание не отзовется, но дело может и того хуже обернуться. Листок, возможно, попадет ему в руки; он прочтет листок или даст его прочитать кому-нибудь другому, если сам неграмотный; тут он вспомнит, как я вертелся около его воза,

догадается, кто подsunул листок, и донесет. Хотел же сторож Яков на меня донести... Листок надо взять обратно... Я стал опять вертеться около воза. К беде моей мужик уселся на кулях и, свесив ноги, безмятежно созерцал базар, видимо, безотчетно радуясь погожему солнечному дню. Решительно он никуда не торопился. Было даже непонятно, для чего притащился он на базар с возом. Другие едут прямо к хлебным скупщикам и там ждут очереди; иные ищут покупателя, выглядывают, приглашают, торгуются, божатся, ругаются, требуют надбавки, а этот лентяй, этот мужлан навалил на телегу кулей и сидит себе на них, точно и впрямь ему незачем их продавать. О, русская обломовщина!.. Долго вертелся я около телеги. Наконец, к возу подошел скупщик в парусиновом пиджаке. Мужик неторопливо слез с воза и так же неторопливо повел со скупщиком разговор. Был момент: и скупщик, и мужик обернулись к телеге спинами, и я, дрожа от напряжения и страха, подобрался к кулям, схватил листок, смял его в руке.

— Ты что же это делаешь здесь, дуй тебя горой, непутевого?.. — гаркнул мужик, оглядываясь на телегу.

Я со всех ног бросился от телеги, стараясь сгинуть в толпе.

— Держи его, держи, лопоухого! — услышал я за собой и прибавил ходу.

Кто-то попытался схватить меня. Кто-то растопырил руки. Я рванулся изо всех сил, юркнул между людьми, обогнул лавку со скобяным товаром, опять замешался в толпу. Никто больше не гнался за мной.

Удрученный неудачей, опасаясь вновь повстречаться с мужиком, которого я поднимал без успеха на восстание, я отложил «общее дело» до времен неопределенных и более благоприятных...

...Но что с Рахилью, с моей славной помощницей? Обошлось ли у нее «общее дело»? Где ты, моя верная подруга?..

Вечером произошло нетерпеливо ожидаемое свиданье в кустах. Увидев Рахиль на дорожном полотне, я хотел было поспешить ей навстречу, но подпольные правила, мною придуманные, заставили меня сдержаться. Рахиль тоже, кажется, мне обрадовалась. Желтые лучи вечернего солнца искрились в ее волосах, и вся она казалась пропитанной ими. Полевой легкий ветер трогал пряди над ушами.

— Как сошло общее дело?

Рахиль помедлила ответом. Отбросив прядь от глаза, промолвила:

— Удачно сошло.

— Распространили?

— Распространила... А у вас как сошло общее дело?

— Тоже удачно сошло... — Я сказал это без заметного смущения. Не признаваться же в неудачах перед девочкой. — Воззвания распространил... вел среди мужиков беседы... ничего... Слушали внимательно... соглашались...

Вдруг Рахиль вспыхнула вся разом, опустила голову и отвернулась. Потом она выпрямилась, приподняла покатые и худенькие плечи, решительно на меня взглянула и твердо вымолвила:

— Я сказала вам неправду... я... на базар не ходила... ваши листки я все разорвала...

— Почему же? — спросил я в смятении.

— Ничего этого не нужно... Мы не доросли еще до общего дела. Я ничего в нем не понимаю. Вам тоже им рано заниматься... я почти всю ночь не спала... все думала... вы на меня не обижайтесь...

Солнце у края горизонта вышло из-за тучи и брызнуло густейшим пучком лучей, отразившись в глазах Рахили. В них плавилась золотистые искорки. Глаза были честны, правдивы и чисты... Тогда и я признался:

— Я тоже вам сказал неправду... На базаре я был, но у меня ничего не вышло.

И я поведал ей без прикрас, что случилось со мной около воза. Румянец не сходил со смуглых щек Рахили, когда она слушала мои признания. Выслушав, она лукаво пошутила:

— Хотела бы я поглядеть, какой вы были около кулей...

Она рассмеялась. Я тоже рассмеялся... Заря багровым пологом объяла запад.

Возвращался я домой довольный. Никогда раньше я не предполагал, что иные признания приносят отраду и успокаивают.

...Пора было в бурсу. Накануне отъезда, прощаясь, Рахиль чуть чуть задержала мою руку в своей.

— Большой был тогда ливень под мостом... — Она взглянула на меня и тут же отвела глаза.

— Да... ливень и гроза были большие, — смущенно ответил я Рахили.

Молчание...

— Вы пожалуйста не пейте... — сказала Рахиль глуше.

На мгновение мне хотелось признаться, что о своем пьянстве я налгал ей, но я в том не признался ей; я сказал угрюмо:

— Очень трудно отвыкнуть... привычка и компания... постараюсь...

На другой день я проезжал через мост, где укрывались мы от

дождя. Сделалось очень тоскливо...

...Мама и Ляля нашли, что я заметно изменился: стал обходительней и внимательней, а угловатость сгладилась. Тугамдушителям о Рахили я ни словом не обмолвился.

II. Утраты

Я ПЕРЕШЕЛ в последний, четвертый класс. Любвин, Стальное Тело с чугунным гашником, дознался, что в семинарии, со времен стародавних, существует подпольная библиотека из книг, разрешенных общей цензурой, но запрещенных духовным начальством. Почему бы нам тоже не обзавестись библиотекой?

В осенний воскресный день мы собрались на Успенском кладбище, верстах в трех от города. Я настоял на кладбище для таинственности. Залитое нежарким солнцем кладбище багрянело увядшей листвой. Прохладное чистое небо манило запрокинуть голову, глядеть и впитывать в себя глазами опьянительную густую синь. А кресты, а памятники располагали к молчанию, к мыслям о равенстве перед природой счастливых и несчастных, знаменитых и безвестных, к признательности и к чувству превосходства, что вот тут, под тобой — мертвые, а ты молод и жив; они располагали также к грусти: придет время и кто-нибудь, тоже молодой, будет радоваться своей жизни над твоей могилой.

Но как бы то ни было: хорошо четырнадцатилетним в осенний прозрачный день побывать на кладбище, полежать на поздней траве, поглядеть в небо, потосковать, последить, как плывут в воздухе длинные паутинки... Хорошо!..

Открыть библиотеку решили без прений. Дальше надо было обдумать, на какие средства это сделать, как пополнять, где хранить библиотеку. Я располагал двумя-тремя десятками книг. Их я великодушно пожертвовал. У Пети Хорошавского и у Трубчевского тоже кое-что имелось. Они охотно отказались от своих книг.

Начало было положено, но оно слишком выглядело скромным. Вождь диких дакотов, Серега, без обиняков предложил:

— Будем воровать где попало: у знакомых, у родных, в книжных лавках.

— Удобно ли воровать для «общего дела»? — спросил Петя Хорошавский.

Мы переглянулись. И вправду, начинать «общее дело» с воровства ровно бы неудобно.

— Ерунда, — уверенно перебил его Главный Начальник, Витька Богоявленский, и гневно поглядел на Петю. — Удобно... неудобно. Всегда ты лезешь с дурацкими мнениями. Надо тибрить — вот и вся недолга...

Здесь Главный Начальник прибавил ненаписуемые словеса,

отчего Петя Хорошавский опустил глаза. Он один из нас все никак не мог привыкнуть к живописному витькиному языку.

Доводы Главного Начальника прозвучали непрерываемо, но не совсем убедительно. Стальное Тело глубокомысленно изрек:

— Собственность есть воровство. Это сказал Прудон.

— Кто этот твой Прудон и откуда ты о нем знаешь? — спросил я Любвина.

— Откуда я узнал, это мое дело, — загадочно промолвил Стальное Тело в чугунном гашником. — Прудон — анархист. Ни во что не верит; писал в своей одной книге, что всю землю нужно дотла пожечь.

— Ну, это, брат, он шибко загибает, — заметил даже Главный Начальник, на все готовый. — Какие, чорт побери, мы стали ученые, — прибавил он и оглядел всех победно и самодовольно.

— Собственность есть воровство: это по-моему верно, — вставил словечко Трубчевский-Черная Пантера. — Нахают, вот и собственность. На хапуг глядеть нечего.

Участники совещания согласились с Пантерой. Почему, в самом деле, нельзя красть краденное? Положение облегчалось. Решили обогащать библиотеку посильными кражами.

— А как же мы назовем ее? — спросил я собрание.

— Назовем библиотекой тугов-душителей, — без раздумий предложил Главный Начальник.

Предложение встретили молчанием. Мы старались не глядеть друг на друга. Стальное Тело лежал на животе и издавал носом странные звуки. Черная Пантера тонкой щепой подгонял рыжего муравья. Верховный Душитель кусал ветку березы, а Петя Хорошавский сидел неподвижно, мечтательно глядя на верхушки деревьев, между тем как вождь диких гурунов, дакотов и делаверов валялся на спине и следил, как в небе плыли легчайшие серебристые облака. Они разрешил стеснительное молчание.

— Не подходит, — молвил тихо и неуверенно делавер.

— Не подходит, — согласился осторожно и Верховный Душитель.

— Не подходит? — грозно переспросил Главный Начальник, взором готовый испепелить и Верховного Душителя и делавера. Увидев однако, что никто больше не вступился за тугов-душителей, начальник поник головой и потерял самоуверенность.

Так погубило славное сообщество тугов-душителей, таинственная секта иегов, премного досадившая Халдею, Тимохе Саврасову, Фите-Ижице и клевретам ихним. Прощайте, Верховный Душитель, Стальное Тело с чугунным гашником, Черная Пантера! Прощайте, Главный Начальник, Хранитель

Печати, и вы, Бурый Медведь, несравненный вождь делаверов, команчей, ирокезов! И ты прощай, Хамово Отродье! Все проходит! И от самых великих деяний не остается даже и следа в памяти человечества! О суета! О тщета, о гибельная самонадеянность!

...Я предложил заимствовать название из библии. Скажем: библиотека Исуca, сына Сирахова. Преимущество наименования: библиотеку можно называть открыто, никто не догадается, о чем ведется речь. Любвин заметил: название слишком церковное, а библиотека светская, вольная и должна иметь касательство даже к страшному анархисту Прудону; не лучше ли ее назвать «Взрыв», «Поджог», «Бунт»? Что и говорить, привлекательно, но я, уже умудренный в некоторых подпольных действиях, настоял на своем: церковное название больше подходит к нашему бурсацкому обиходу.

Со мной согласились...

...За дело взялись с бурсацким рвением. Месяц спустя у нас набралось около двухсот книг. В библиотеку включалось только запрещенное: Тургенев, Гончаров, Некрасов, Короленко, Писемский, Лесков, песенник лубочного вида, выдранная из библии «Песнь песней», Надсон, Плещеев, «Записки из мертвого дома», «Преступление и наказание», «Саламбо» Флобера. Часть книг ходила по рукам читателей, другая часть пряталась в шкафах, в сундуках, в комодах, в партах; библиотеку невозможно было «накрыть» целиком. Каталог хранился у Пети Хорошавского. Книги переметили: на сотой странице под текстом ставились три буквы: И-эс-эс — Исуca, сына Сирахова. Если бурсак зачитывал книгу и утверждал, что книга его собственная, мы, библиотекари, находили наш тайный знак, наш экс либрис, и уличали преступника. Знак был известен только избранным.

Собирали пожертвования и книгами и деньгами, но главный прибыток получался от покраж. Я обокрал приятельницу и сослуживицу мамы, Агриппину Тимофеевну, стащив у нее трилогию Алексея Толстого и Фауста в кожаных переплетах. Любвину удалось стянуть у родственников-семинаристов том сочинений Добролюбова. Им мы премного гордились: у нас есть даже «сам» Добролюбов. Очень нам хотелось иметь «Что делать» Чернышевского и «Очерки бурсь» Помяловского. Имя «Чернышевский» и название романа его произносились зловещим шопотом, Чернышевского достать не удалось, но однажды Трубчевский явился из города веселый и показал из-под полы Помяловского в одном томе: он «упер» его с прилавка земского книжного магазина. Была устроена разухабистая пляска. В поощрение и в помощь Трубчевскому отрядили Витьку Богоявленского. Они славно поработали в пользу «общего дела».

Прибавились Чехов, Станюкович, Решетников, Левитов, «Детство и отрочество» Толстого.

О Толстом было известно: он знаменитый писатель, не признает ни церкви, ни обрядов, стоит за мужиков, но между прочим своего поместья им не отдает. «Детство и отрочество» нас охладило: ничего запрещенного в нем мы не нашли. Притом же детство Толстого и его близких показалось нам тусклым и лишенным значительных и занимательных событий. То ли дело подвиги Трунцева! Да и туги-душителю тоже чего-нибудь стоят. Мы недоумевали, почему «Детство и отрочество» считается классическим произведением. Помяловского мы ставили несравненно выше Толстого, На помощь пришел Любвин. Он начал толковать Толстого, подобно тому как Филарет толковал тексты священного писания в своем катехизисе: трояко и иносказательно. Предварительно Любвин пустил слухок, якобы достоверный, будто цензура искалечила повесть Толстого и «главного» печатать не разрешила. Но будто бы Толстой во многом цензуру перехитрил. Надо только умеючи его читать. И Любвин учил этому искусству. Приятель, например, читал о Сереже Ивине:

— «Он чувствовал свою власть надо мной и бессознательно, но тиранически употреблял ее в наших детских отношениях...» — Здесь Любвин многозначительно гмыкал и по обычаю своему мрачно спрашивал: — Понимаешь, куда загибает?

— Не понимаю, — признавался я чистосердечно и с недоумением глядел на приятеля.

Любвин снисходительно вразумлял:

— ...Тиранически... — догадывайся, на что он наменивает. Он на царя, бесов сын, наменивает. Прямо про царя нельзя сказать, что он тиран, ну, Толстой и пишет словно про Ивина, притворяется одним словом, а сам в царя метит, власть ругает... — Тиранически... это, брат, слово запрещенное. Попробуй найти его в наших хрестоматиях или в книгах из казенной библиотеки. Нипочем не найдешь.

Последний довод звучал убедительно: в учебниках о тираническом что-то не слышать было.

Открывал Любвин главу о князе Иван Иваныче. Толстой вспоминал о князе:

«Он прочел все, что было написано во Франции замечательного по части философии и красноречия в XVIII веке, основательно знал все лучшие произведения французской литературы, так что мог и любил часто цитировать места из Расина, Корнеля, Буало, Мольера, Монтеня, Фенелона».

Любвин торжественно объявлял:

— Ловко запущено... Лучше некуда... Понимаешь, в чем тут загвоздка? Тут, брат, такая загвоздка, что только ахать надо... Франция... Да ведь это самая безбожная страна. Революция у них была. Царю голову отрубили. За милую душу. И писатели там — таковские, безбожные, властей не признают, пишут прямо чорт те што такое. Понятно, говорить о них открыто у нас нельзя; ну, Толстой и запускает туры на колесах, про князька рассказывает. Очень ему нужен этот заштатный князек; он про князька рассказывает, а сам, промежду прочим, перечисляет этих самых запрещенных писателей. Ежели ты, мол, читатель, не дурак, не дубина стоеросовая, соображай, добывай себе всеми правдами и неправдами этих Мольеров, Корнелей, не зевай... Цензура-то глядела-глядела, да и проглядела...

Иносказательные толкования Любвина пришили нам по нраву, и мы вкривь и вкось стали объяснять прочитанное. Во всем нам чудился скрытый, тайный смысл, нападки на устои и порядки, тайнопись, обличения, издевки. Сплошь и рядом у писателя вычитывали мы такое, что ему наверное никогда и в голову не приходило. Колдун из «Страшной мести» превращался в Николая первого. Материна олицетворяла замученную Россию, Вий — Аракчеева; нежить в церкви — исправники, жандармы, чиновники. Мы находили обличение отечественных порядков в кафизмах и с особым сочувствием повторяли: «Не надейтесь на князи, на сыны человеческие, в них же несть спасения».

Судите после этого о судьбе книг среди читателей!

От нас скрывали настоящего Пушкина и настоящего Лермонтова. Мы не знали, что они ссылались, что Пушкин писал оду «Вольность», был близок к декабристам, да и о декабристах слухи были смутные. Но в «Дубровском», в некоторых стихах Пушкина и Лермонтова, в сказках, по-своему нами истолкованных, мы подозревали строптивость, протест. Кривотолки приводили к верным догадкам.

Лишенные руководства, поддержки, мы брели ощупью, наугад, оступаясь, путаясь. Каждая истина добывалась с боем, после тщательных и трудных поисков, после сомнений и споров, после ошибок и новых заблуждений. Надо было откинуть тьму тем всяких суеверий, предрассудков, лжи, коварной и наглой, вековых хитросплетений, изворотливой казуистики; надо было побороть тайну, авторитет, традицию, то, что долбилось с детства, твердилось повсюду, ежечасно, без отдыха и срока... Немало было положено на это труда, немало ушло и здоровья.

В большом ходу была у нас «Песнь песней». Открыл ее Любвин. В полутемном и пыльном углу, на задворках с упоением зачитывались мы страницами, вырванными из библии. Было

непонятно, почему эта песнь плоти, страсти и греха включена в книгу смерти, юдоли и покаяния.

...«Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные...»

Любовь представлялась непреложной и грозной точно судьба древних.

В ходу были и книги пророков. Их обличения звучали и для нашей современности.

Я был избран председателем библиотечного комитета. Я работал вполне добросовестно, по-моему.

Петя Хорошавский, составитель и хранитель каталога, отличался необычайной аккуратностью. Все записи у него были всегда в порядке; он следил за каждой книгой, зная, у кого она на руках, кто из нас за нее отвечает. Он краснел и делался совсем молчаливым, когда книгу возвращали в пятнах, истрепанной, с вырванными страницами.

Трубчевский, как было упомянуто, обогащал библиотеку довольно ловким воровством. Тайком отлучившись из бursы, шлялся он по торговцам старыми книгами, вертелся в книжных магазинах, не брезгуя и налетами на квартиры родных и знакомых.

Сергея Орясинов предавался изысканной лени где-нибудь на баке в уборной или между гардеробами, где он неторопливо читал книгу за книгой. Книги точно падали в пропасть: Серега редко-редко когда говорил о прочитанном, а если и говорил, то выражался настолько односложно и туманно, что обычно на него палили глаза, махали рукой.

Любвин философствовал, воровал и продолжал выступать истолкователем прочитанного. Читал он медленно, с натугой, уставясь в книгу по-бычьей, потел и делался багровым, оглушительно сморкался и в особо важных местах мычал, а иногда брался за вихор и с такой силой тянул себя за него, что казалось, он задает себе задачу.

Трогательнее всех к библиотеке относился Витька Богоявленский. Книг он почти не читал и чтение недолюбливал. Он утверждал: только дураки читают книги, умному человеку книга не нужна.

— Пишут книги люди умные, но пишут их для дураков, — любил он говаривать, предпочитая слову живое дело.

Но в деле он середины не знал. Убедив себя, что библиотека должна процветать, Витька всеми силами содействовал ее благосостоянию. Он был ревностен. За пропажу, за утайку, за порчу он круто расправлялся. Мигом засучал он рукава и начинал

бутузить виновного бурсака с должным прибавлением обычных своих выражений. Означенный бурсак ходил с синяками и шишками, наглядно внедряя уважение к станку Гуттенберга. Понятно, было не совсем удобно кулачными расправами насаждать уважение к печатному слову, и кое-кто из нас это неудобство Витьке Богоявленскому отмечал, однако без ощутительных последствий.

— Лупцовка, и больше никаких! — кратко возражал Витька, и глаза у него сразу вспыхивали гневом. — Я их, чертей, обучу!

Да, горяч был на руку наш друг и приятель!

Надо еще отметить: Витька справедливо считался одним из первых поборников и энтузиастов пополнения нашего каталога при помощи краж. Но кто бы мог подумать, что уворованную книгу он будет защищать с кулаками и вплоть до волосянки?.. Как бы то ни было, расправ витькиных побаивались, и бесспорно Витька содействовал осторожному и бережливому обращению с книгой. И так уже завелось: на виновного бурсака жаловались Витьке, и он не заставлял себя долго ожидать.

С особой гордостью выделял Витька писателей бурсаков: Помяловского, Добролюбова, Решетникова, Левитова и иных. Едва ли он удосужился их прочитать, но попытался бы кто-нибудь о них неблагоприятно и непочтительно отозваться! Хотелось бы увидеть такого смельчака!

— Наши... Бурсаки... — с гордостью расхваливал Витька семинаристов-шестидесятников. — Ловко пишут, черти лиловые... И где только насобачились?.. Смотри, какой томище нагрохал... А говорят, пьянчуги были. Ты пей да дело разумеи. Они разумели дело... Башковитые. Они, брат, о бабах зря не разлимонивали, не рассусоливали. Я, мол, люблю вас по гроб жизни. Позвольте вам цветочек преподнести. Вашу ручку!.. Ах, какая луна!.. Ах, ах!.. Они прямо ломились в гостиную в сапожищах, смазанных дегтем. С дубинкой... Вы здесь, голубчики?.. Вздыхаете?.. Ручки прижимаете?.. И — бац в морду! Не хотите, не нравится? Может, еще прибавить?

— Все у тебя, Витька, бац и бац. В этом у тебя и критика вся.

— Я там не знаю, какая такая критика. А по мне, если уж писать книгу, так писать с лупцовкой. Нечего иначе канитель разводять.

Витька был уверен, что семинаристы-шестидесятники выше, талантливее всех, что они «утерли нос» и Пушкину, и Толстому, и Гоголю. Но их не оценили по-настоящему: известно, сколь несправедливо отношение к бурсакам, к кутейникам.

...Как приняла нашу затею бурса? Бурса к тому времени сильно изменилась.

Миновались легендарные времена. Миновалась пора, когда бурса выпускала попов-чудаков, забулдыг, философов, буянов, силачей, октав, мрачных пьяниц, своевольников. Цельные самобытные характеры переводились. Бурса мельчала, бурса приспособлялась к житейскому. Дух нового мещанства проникал в нее все сильнее и сильнее.

Бурса делилась прежде всего на тех, кто не хотел после семинарии итти в духовенство, и на тех, кто с этим мирился. Число первых все увеличивалось. Не хотели итти в духовенство почти поголовно все «приходящие»: сыновья городского причта, чиновников, состоятельных деревенских батюшек. Достаток их родителей, жизнь на частных квартирах у «светских» направляли желания и помыслы таких бурсаков в университеты, в техникумы, в институты. Мечтали сделаться инженерами, врачами, архитекторами, агрономами, управляющими. Для огромного большинства это было верх благополучия, удачи, вольнодумства. Такие бурсаки прилежно учились, преуспевали, вели себя примерно, одевались опрятнее и составляли свой круг приятелей и друзей. К ним примыкали и те из «казеннокоштных», которые тоже решили итти по «гражданской линии». Поражала их осмотрительность, дальновидность, прозорливость, благоразумие. В четырнадцать, в пятнадцать лет подобные «отроча млада» нисколько не уступали любому взрослому стяжателю и искателю обеспеченных мест. Все продумано, взвешено, учтено. Все благонаравно, благонамеренно. Никаких завиральных идей, никаких отклонений в сторону, ошибок. Ничего страстного, сверхмерного. Средняя, нормальная жизнь, как у всех, гладкая, прямая, рассудительная. Терпение, труд, послушание. За это награда...

— Пойду в медики...

— Охота резать мертвецов да путаться с больными!

— Теперь доктора хорошо зарабатывают. Иной за день до четвертного нагоняет.

— Сказал — до четвертного! По сотням кладут в карман. Вон Боголюбов, смотри, какой домину отстроил себе, палаты...

— Доктора ничего живут, а до инженеров им далеко. У нас в уезде инженер Запольский два имения купил. Пятьдесят тысяч, как копеечку, выложил.

— Но!..

— Вот тебе «но»...

Бурсак даже губы облизал; между тем его собеседник мечтательно глядел в окно: ему мерещилось будущее.

— Жрать всем надо... Даже во время обедни упоминается: пожри, владыко...

— Да... пару рысаков... бабеч... Заложил после вечернего чая гнедых или буланых, натянул вожжи и пошел, и пошел... а рядом с тобой эдакая... в шляпке... головкой и ленточкой трясет...

...В четвертом классе говорили усиленно, кто куда метит. Надо было решать, переходить ли в семинарию, или держать экзамен в гимназию, в реальное училище. За последние годы многие после духовного училища в семинарию не шли...

«Казеннокоштным» думать об этом не приходилось: в гимназиях и в реальных училищах учиться надо было «за свой счет», а «своего счета» у сирот не имелось. Ими пополнялся другой разряд: разряд будущих батюшек. Ими да еще лентяями, скорбными главой, тугими на науку. Их дорожка проторенная прадедами, дедами, отцами. Среди будущих батюшек разговоры и беседы велись тоже положительные:

— Со взятием-то теперь все реже и реже женятся.

— Со взятием больше на кривых да на залежалых женятся.

— Не говори: у меня старший брат взял приход в четыреста дворов, дом шесть комнат, а жена — тетя, хоть воза на ней вози. Грудь во, зад во, глаза с поволокой... малина с молоком...

— А по мне большого прихода не надо... Теперь в малых приходах казенное жалованье платят... Забот меньше, а жить можно.

— Жалованье триста целковых в год. На них не больно разживешься...

— Ты еще вытяни здесь, а потом в семинарии шесть лет отдежурь... Не говори гоп пока не перескочишь... Мне вчера Коринский кол вляпал. Вызвал к доске. Говорит, пиши:

Однажды медник, таз куя,
Сказал себе тоскуя:
Задам же людям таску я,
От них познал тоску я...

Ну, я и запутался... Он мне и дал таску. Ежели так колы будут сыпаться, дальше дьячка не уйдешь...

— Мне тоже кол недавно всадил, тоже запутал. Только предложение задал другое, на ять:

Шли странники, долго не ели,
Сели у ели,
Кое-что поели;
С ели птицы слетели,
Крошки все съели,
Уселись на ели...

Ели, у ели... съели... дьявол пучеглазый!..

— Эх-эх, братцы, и нажрусь же я, если лафа выйдет... Кажись, цельный год только и буду делать, что жрать... Ей-ей... От нашей кормежки у меня чирьи по всему телу пошли.

Бурсаки разом проглотили набежавшую слюну.

— Теперь не очень-то жирно подают в приходах. Все норовят грошом медным отделаться.

— У нас молокан развелось много... Хоть плачь от них.

— Кто-нибудь подбивает... Теперь разных мазуриков много повсюду шляется... (Очевидно, со слов старших.)

— Ребята, а что мне говорили! Будто священник по гражданской службе — полковник... Правда это?.. Ловко...

— И личный еще дворянин, а дети — потомственные почетный граждане...

— Я бы сейчас поросенка схряпал... (мечтательно!)

Будущие батюшки охотно отправляли службы, помогали в стихарях: священнику при выходах, дежурили в кухнях, составляли кружки по церковному пению, знали лучших басов и теноров в архиерейском хору и по «церковным» предметам учились исправно. Среди нас в четвертом классе был некий юноша Псалмопевцев. Он отлично знал лучшие приходы по всей епархии, так что у него даже взрослые справлялись о них.

Недовольных, протестантов чаще всего можно было встретить среди «казённокоштных»; учиться «на свой счет» в гимназиях, в университетах они не могли, но и рясу надевать не хотели. Будущее их было незавидное: после десяти-одиннадцати лет бурсацкого обучения богословским и иным наукам семинарист мог рассчитывать на место сельского учителя, либо застревал писмоводителем в канцелярии с окладом не свыше сорока рублей. Такие бурсаки пополняли ряды подпольщиков, нелегальных организаций, шли к народникам, иногда к марксистам, сидели в тюрьмах и на каторге. Протестантов, понятно, было меньшинство. Никогда не следует забывать, что бурса тех лет выдвинула и революционеров, но также и самых неугомонных деятелей черной сотни и разных союзов.

...Кружок наш вокруг библиотеки сплотил кое-кого из сверстников. Книги брали охотно, иногда давали немного денег, кое-что жертвовали, но ближе иметь с нами дело боялись. Четвертоклассникам оставалось всего несколько месяцев до окончания духовного училища, и они уже видели себя семинаристами в мундирах с синими кантами и со светлыми пуговицами. Боялись «красных шапок», солдатчины, боялись быть

выброшенными на улицу. Большинство не догадывалось о хранителях библиотеки, а кто догадывался, держался в стороне, избегая даже играть с нами в лапту, в городки, сидеть за одним столом и тем более с нами дружить. Мы были одиноки и уже тогда постигли ту истину, что свой путь всегда тернист.

Одни нас сторонились, другие смотрели на нас и совсем враждебно. Они видели в нас опасных смутьянов; мы могли повредить не только себе, но и всему классу, всей бурсе.

— Не доведут до добра эти книги, шут с ними совсем... Беспокойно, а толку никакого...

— Нет, ты сначала выучись, чему следует, получи аттестат, а потом и читай, что только твоей душе угодно. А сейчас занимайся делом пожалуйста...

— От этих книг крикунов да вертопрахов разных не оберешься... Писатели. Пишут от нечего делать, деньгу только даром зашибают...

— Про каких-то там идеальных людей набрешут, каких никто не видал. Про идеальных людей пишут, а сами готовы любого ободрать, как липку!..

— А ну их, эти книги... С ними, брат, упрятавают так, что и дороги назад не найдешь!..

Четвертоклассник Морковников, пьяный, несколько раз лез драться: орал, что мы дразним его за глаза и что он выведет крамолу. Трубчевский утверждал: Морковникова с нами расправиться подговаривали — для острстки: пусть не распространяют запрещенных книг. Любвин и Витька изрядно изувечили Морковникова.

Доносить на нас, однако, видимо, не решались, к доносам бурса попрежнему питала отвращение и доносчиков бурсаки выбрасывали из своей среды.

В разговорах теперь постоянно упоминался Иус, сын Сирахов. Мало-по-малу имя это вошло в бурсацкий обиход: — Пошел к сыну Сирахову, — бросал всердцах бурсак приятелю. — Эй ты, Сирах! — Надзиратели и Тимоха заметили злоупотребление библейским именем. Тимоха произнес после утренней молитвы поучение. Речь успеха не имела, сын Сирахов не забывался.

...Работали мы осмотнительно. За библиотеку грозило увольнение с тройкой или с двойкой поведения. Труднее всего приходилось от Фиты. О библиотеке он что-то подозревал. Иногда ему удавалось производить удачные налеты на шкафы, на гардеробы, занятые под книги. С неподдельным огорчением глядели мы вослед Фите, когда он, покашливая и семеня ногами, довольный, тащил в учительскую подмышками пачку наших книг.

Опять надо подвергать себя в книжных лавках и магазинах опасности быть пойманным за руку! Опять надо усиленно кланчить и копить двугривенные.

Мы гордились своим «общим делом», старались походить на опасных заговорщиков. Мы хранили некую тайну, вели подкоп под устои. Нередко мы говорили друг другу: не миновать нам тюрьмы и ссылки и уж, само собой разумеется, долго мы не будем обучаться, если даже и перейдем в семинарию...

...Рождественскими каникулами я поехал на родину. В первый раз там на озере расчистили каток. Постаралось купечество. Я догадался взять с собой коньки и, едва отдохнув с дороги, отправился кататься. Хотелось скорее увидеть Рахиль. Уже успел я дознаться, что она приехала из Воронежа и ежедневно бывает на катке. За зиму я заметно на коньках преуспел.

Был полдень. Густой серебряный иней осел на деревья, на избы и риги. Мохнатый снег, недавно выпавший, лежал легким, неглубоким слоем. И небо, затянутое белесыми облаками, и село, и поля, и рощи, и ометы тонули в туманной изморози, точно в распущенном жидком жемчуге. На ветках деревьев, на крышах, повсюду висела зимняя сказка, превращая окрестность в особый полупризрачный, лишенный тяжести мир. Вот-вот все тихо, беззвучно тронется, как на плотях, поплывет куда-то. И как тихо, как все застыло кругом, как строго и благородно и погружено в себя, в седую быть-небыль! И белое повсюду. И в душе — белое, чистое, спокойное, ровное. Нет ничего отраднее, успокоительнее этих жемчужных зимних дней, да еще в деревне, когда — безветрие, легкий славный морозец, когда медленно падают с ветел пушистые мягкие хлопья, и ворона изредка каркнет с ближней березы, а березка стоит в белых серьгах, и тянет дымком кизяковым, и пахнет еще конским навозцем...

...Около училища я встретился с Елочкой. Она тоже шла на каток. За время разлуки Елочка похорошела и стала совсем похожа на взрослую барышню. Расспрашивая друг друга об ученическом житье-бытье, мы спустились с пригорка к озеру. Еще издали угадал я Рахиль по каракулевой шапочке. Рахиль каталась с неизвестным мне реалистом. Елочка сказала: реалист — сверстник Моти, брата Рахили. Зовут его Гришей.

— Поглядите, какой он красивый. В Воронеже от него гимназистки сходят с ума...

Шагах в двадцати откатка я поклонился Рахили. Она ответила легким наклоном, мельком оглядела меня и Елочку. Я ждал, она задержится, но она не задержалась. Я сразу задичился.

Не хочет, не надо...

Гриша и правда был не чета мне: стройный, со смуглым и нежным лицом и с бархатными, большими глазами. Черные волосы правильными завитками лежали на открытом и чистом лбу, выбиваясь из-под фуражки с короткими полями. Мой соперник был легок, подвижен, но на коньках — я это сразу себе отметил — держался, пожалуй, неважно. Бегло оглядел я и других конькобежцев. Катались: телеграфист Дружкин, три сестры Балыклеевы, два купеческих недоросля, неизвестная мне девица, очень курносая, еще две-три пары.

Я приладил Елочке коньки. У нее были совсем крохотные ноги, и я им подивился. Несколько раз Рахиль пробегала мимо нас, но я притворялся, что, занятый коньками, ее не вижу. Мне было чем похвалиться: новые американские коньки я старательно наточил наждачной бумагой. Лед блестел, крепкий и ровный. Ну, бурса, ну, кутейник, покажи свое искусство! Рахиль предпочитает Гришу! Сейчас увидят, что стоит он на коньках...

...Замечательное это дело — коньки! Едва их наденешь, едва сделаешь несколько шагов — и вот уже совсем пропала и природная неуклюжесть, и косолапость, и сутулость, и многое множество иных бурсацких недостатков. Тело делается гибким, ловким. Ноги с наслаждением режут блестящий лед, и бег надо тормозить, чтобы из-под ног летела серебряная пыль. Где так прекрасно румянятся щеки, розовеют уши, а глаза наполняются небом и сочными делаются губы? Только на катке. Где так звонко смеются, весело болтают, радостно бросают восклицания, где так полно, так свободно дышит грудь, поет кровь и где, наконец, столь желанным является отдых? Только на катке. И еще нескончаемо много счастливого, отличного таит каток. Можно лишь пожалеть людей, ни разу не надевших коньки. Эти люди жалки.

Я сделал несколько кругов с Елочкой. Надо быть осмотрительным и хитрым. Нельзя сразу показать себя. Елочка держалась на коньках нетвердо, приходилось выправлять ее движения. Мы катались следом за Рахилью и Гришей, я намеренно старался с ней больше не встречаться; пусть Рахиль не воображает, что я ищу ее расположения. Она больше ценит Гришу. Это ее дело. Сказать по правде, сильно хотелось подбежать к Рахили. Я чувствовал: если не сделать этого сейчас, время совсем уйдет. Но я не подъезжал к ней.

Елочка присела отдохнуть. Время показать себя. Я сделал несколько кругов, задом: фигура обычная и славы конькобежцам не доставляет, но я был на сельском катке, где катались хуже меня. К катку подошли братишки, Володя и Коля. Они одобрили,

как я катался, непосредственными замечаниями. Елочка тоже благосклонно следила за мной. Обратили на меня внимание, и сестры Балыклеевы. Одна из них, впрочем, шлепнулась. Я не замедлил галантно к ней подлететь, поднять и отряхнуть с нее снег. Все шло превосходно... После первой фигуры я показал гигантские шаги. Я сделал широкий и плавный круг с одной ноги, сделал еще более широкий и еще более плавный круг с другой ноги и стал чертить лед во всех направлениях. Притворяясь, будто я нисколько не слежу за Рахилью и Гришей, но не теряя их из виду, я катался теперь или впереди них, или от них в стороне, но с таким расчетом, что они волей-неволей должны были видеть меня. Можно признать, гигантские шаги я делал лучше обычного для меня и превзошел себя...

Я подъехал к Елочке; Елочка промолвила:

— Вы недурно катаетесь...

Я пренебрежительно пожал плечами: экая невидаль! Мимо пробежали Рахиль и Гриша. Они слышали замечание Елочки. Рахиль мельком взглянула на меня, отвернулась и что-то негромко сказала Грише. Она была очень хороша со склоненной немного на бок головкой, с незаложенными косами и милым детским ртом. Откуда это звенит в ушах строка: — «Но где же вы, снега прошедших лет?» — Рахиль предпочитает иметь дело с Гришей. Это совершенно очевидно. Хорошо. Говоря начистоту: не хорошо это, а даже очень, даже весьма худо. Но что делать?.. Делать остается одно: показать еще несколько фигур. Гигантские шаги можно делать и задом. Выходит будто вполне сносно. Телеграфист Дружкин сел на скамью и стал за мной следить. Когда конькобежец садится отдыхать и начинает следить пристально за другим конькобежцем, это означает, он признал себя побежденным... Рахиль и Гриша тоже направились к скамье. Этого я и добивался. Победа!.. Я почти один катаюсь. Только в правом углу топчутся на месте дьячковский сын с приятелем из ремесленного училища. Не считает ли, однако, Рахиль, что я уже выдохся, что мне больше нечего показать? Правда, знаменитой восьмерке я еще не научился, но опытные конькобежцы знают, сделать на льду «пистолет» тоже чего-нибудь да стоит. Со всего разбега надо присесть на правую ногу, вытянув левую ногу и обе руки, и так проехать шагов сорок-пятьдесят. Не очень-то легко сохранять на одном коньке в таком положении равновесие. Приговляясь к «пистолету», я украдкой поглядел на Рахиль. Рахиль слушала, что говорил ей Гриша, и, повидимому, не обращала на меня внимания. Я разбежался, и все видели, как легко, свободно и отлично сделал я присест. Чистая работа! Одна Рахиль не полюбовалась моим «пистолетом». Эти девчонки —

непомерные лгуны и ломаки. Несносный у них норов. Все с ужимками, с кривляниями... Как бы то ни было, но я не просто волочу ноги, точно любезный ее Гришенька, а являюсь настоящим фигурантом, и мне не стыдно показать себя даже и на городском катке. Равнодушный и немного снисходительный подъехал я к Елочке. Согревая дыханием пальцы, Елочка сказала:

— Вы должны научить меня лучше кататься.

Рахиль сидела с Гришей на другом конце скамьи. Я громко ответил Елочке: готов приходить каждый день, мы будем вместе кататься. Думает ли Елочка завтра быть на катке? Она думает быть на катке. Превосходно. Мы встретимся завтра.

Рахиль поднялась: натягивая перчатки, четко спросила:

— Чьи это галоши? Смотрите, какие смешные галоши! Ха! Ха! Ха!

Она указала Грише на мои кожаные глубокие галоши. Галоши мирной парой стояли в сторонке, около скамьи; они решительно никого не трогали. Они держались скромно. Они были неуклюжие, с задранными кверху тупыми и рыжими носками. Изяществом галоши не отличались. Об этом не могло быть и речи. Темными впадинами туповато они поглядывали, неподвижные, убогие, сморщенные. То были самые обыкновенные, казенные бурсацкие галоши. Только и всего.

На галоши оглянулась Елочка и улыбнулась. На галоши оглянулись девицы Балыклеевы, три сестры, три базарных купеческих грации, и тоже улыбнулись, и даже телеграфист Дружкин, отягченный барышней с необыкновенно красными и пухлыми щеками, даже и он оглянулся, заулыбался и покрутил носом.

Гриша на замечание Рахили с притворным удивлением покачал головой, перекосил плечи.

— В этих галошах можно переплыть целый океан.

Рахиль засмеялась бездушным смехом. Она надо мной издевалась. Нисколько я не был виноват, что казна выдавала глубокие галоши, производившие такое шорканье на улицах, что их обладатели невольно думали — ну и галоши! чорт их возьми совсем! Я не был повинен в моих галошах. А Рахиль надо мной смеялась. Это отвратительно! Смеяться над тем, что я, бедняк, получаю неуклюжие вещи от казны! И это после нашего «общего дела»! К чему же я так старательно обучался на бурсацком катке, столько раз падал, столько имел синяков, нашлепков? Для чего отравлял я себя мечтаниями о рождественских каникулах?

...Я был посрамлен. Я пылал изнурительным огнем стыда, негодования, отмщения. Беда была еще и в том, что я не отличался находчивостью. Да, я часто терялся, когда иметь дело

приходилось с девчонками. Надо было немедленно ответить Рахили и Грише, а я все еще молчал, мучительно хмурил лоб. Наконец, покрываясь, несмотря на мороз, испариной, задыхаясь, я пробормотал:

— Некоторые думают, что они остроумны... Эти галоши приготовлены для ихнего остроумия.

Ответ получился дрянным. Я это понимал. — Некоторые думают... — никуда не годится. Ну, и о галошах тоже пресно. Новый позор... Рахиль презрительно скривила губы. Гриша прищурил глаза. Ах! нельзя выразить, как ненавистны показались мне его длинные черные ресницы!

Я забыл даже пригласить Елочку и оторопело отбежал от скамьи, распахнул пальто, размотал на шее башлык и стал резать коньками лед без отдыха, не жалея ни ног, ни сердца, ни легких. Хорошо! То есть, совсем не хорошо, и даже до последней меры скверно!.. Я не замечал, что на деревьях, на озере застыла белая прохладная песня, наша родная, пушистая, что пахнет почему-то арбузом, — настолько я был рассеян...

Местами лед был темный, почти черный. В этих косяках переливались серые, плененные льдом, кружки воздуха, Они походили на глаза водяных чудовищ. Они следили за мной скользкими, холодными взглядами. Почему-то они притягивали меня к себе... Я поравнялся с Рахилью и Гришей, стал их обгонять... «Трах!..» Я пребольно ударился правым коленом, грудью и лицом об лед. Лед бороздили трещинки. В одной из них я застрял коньком на всем бегу. Конек отлетел далеко в сторону. Что-то горячее охватило подбородок... Кровь!.. Я рассек себе верхнюю губу. Кровь падала частыми черными каплями на лед... Я увидел над собой склоненное и испуганное лицо Рахили и рядом Гришу.

— Что с вами?.. Вы больно ушиблись?.. У вас кровь!..

И тогда знакомое «бурсачье» чувство грубости, упрямства, оголтелости, отрешенства, злобы потрясло меня до судороги. Точно в бреду мелькнули длинные, просвечивающие, с паучьими прожилками, уши Халдея, его мертвая спина, и я, не отнимая руки от губ и подбородка, между тем как с них все капала черная кровь, изо всех сил, задыхаясь, с отвращением не то простонал не то промычал:

— Что вам нужно? Уйдите от меня!.. Уйдите!

...поднялся, схватил конек, прихрамывая отошел в угол катка, унял снегом кровь, снял с ноги второй конек и, ни на кого не глядя, не простившись с Елочкой, ушел домой. Злосчастные галоши доставили Володю и Коля.

Губа была рассечена сильно. Не приходилось и думать о

катке по крайней мере с неделю. Я и не хотел больше думать о нем. С оказией я уехал к дяде Ивану, где и провел невесело каникулы. Дорогой, под неторопливый, добродушный звон колокольчиков я старался понять, что случилось. Как непрочны людские отношения!.. Как легко они разрушаются!.. Проклятая бурса!

...Но где же вы, снега прошедших лет?..

...Рахиль, я люблю вас! Я очень вас люблю, Рахиль!..

А колокольчики все звенели и звенели, теряя звон в ветряных просторах...

...В училище я вел себя смирно и даже несколько отошел от приятелей. Я упросил маму купить резиновые галоши.

...Наш кружок давно уже не ладил с Шуркой Елеонским, Хамовым Отродьем. Шурка все чаще и все больше подсмеивался над нами зло и ехидно. Затею обзавестись библиотекой из запрещенных духовным начальством книг Хамово Отродье встретил как бы даже с ожесточением:

— Умненькими хотите сделаться? Может потом и университетский значок нацепите?.. Мне ваших книг не надо. Я в ученые не собираюсь, над книгами сохнуть не хочу... Без них проживем. И так всяких книжников развелось видимо-невидимо; ну их к чортовой бабушке!.. Хуже этих книжников и на свете нет никого... Недаром у нас мужики всех очкастых готовы в прорубях перетопить.

Эти и подобные шуркины речи были настолько решительны, что само собой получилось: мы не стали приглашать его на наши тайные библиотечные заседания. Хамово Отродье об этом нисколько, кажется, не пожалел и стал только держать себя дальше от нас. Витьке Богоявленскому он однажды признался:

— ...Думал, вы люди деловые, аховые... А напроверку жидковаты вы. Фантазиями разными себя тешите, книжками... Пустяками... Мне это не с руки... Я люблю настоящие дела...

Настоящие шуркины дела скоро обнаружилились. После ужина, темной ночью Хамово Отродье напал за кухней на нянюшку Парашу, лет тридцати, служившую у Тимохи Саврасова. Парашу он пытался изнасиловать, но она кое-как от Шурки отбилась, и Шурка только успел у нее растерзать кофту и изрядно ее помять. Об этом рассказал Витька, которого Хамово Отродье звал с собой. Витька, хотя и продолжал изображать из себя охальника, приглашения не принял. Параша пожаловалась Тимохе, но не могла указать, кто нападал на нее, и Тимохе пришлось ограничиться обычной своей речью. На этот раз он подробно разъяснил заповедь: не прелюбы сотвори.

Не успело, однако, отзвучать тимохино поучение, как явилась к Халдею его кухарка Маланья и тоже пожаловалась, что от этой жеребьячей породы прямо нету никакого прохода. «Авчерась» на нее «в сенцах» набросился какой-то «окаянный паскудник», какой-то «оглашенный», и она насилу от него отбилась, но, жаль, не разглядела в харю. Халдей вызвал Фиту-Ижицу, пробубнил и прогундосил ему, по слухам, выговор, после чего Фита-Ижица утроил свою бдительность, пока, впрочем, без наглядных последствий. Мы-то догадывались об «окаянном паскуднике». Любвин имел с Шуркой разговор по поводу этих вечерних происшествий. Хамово Отродые ответил Любвину немногословно:

— Очень интересно... — сказал он, щурясь, и прошел из коридора в класс, тем самым давая понять, что дальнейшую беседу он отклоняет.

Все мы заметили в Шурке перемены. Способный и неглупый, он совсем перестал готовить уроки, забросил занятия и теперь получал двойки и единицы. Карцеры его нисколько не вразумляли. И от нас и от других товарищей он все больше и больше отходил. В одиночку бродил он на задворках, в закоулках, по-волчьи оглядываясь, осторожно ступая, и будто что-то высматривал, подстерегал, от кого-то скрывался. Его точил тайный недуг. Он высох, похудел, вытянулся, глаза глубоко запали, в них плавали рыжие колючки; Шурка облизывал красные губы и глотал слюну; со стороны казалось, что ему постоянно хотелось пить; голосу него сделался сильным, надтреснутым, и весь Шурка стал жестким, жестоким. Из-за забора он часто наблюдал проходивших мимо бursы женщин, и было что-то зловещее, что-то безжалостное и поганое тогда в этом разглядывании. Шурка кривился, щурился, около рта обозначались резкие складки, он бледнел, а ноздри трепетали, он кусал губы и хрустел пальцами. Говорил Шурка о женщинах редко, он не был речист, — но говорил он о них со странными, нехорошими и невеселыми ухмылками. В словах его звучала гадливость, и в то же время женщина непрестанно влекла его к себе и себе подчиняла. Женщина его мучила. Все помыслы Шурки, все желанья его были теперь сосредоточены на женском. Он тосковал, одиночествовал, презирал, домогался, алкал. Он переживал переломную пору пробуждения мужчины, но переживал с издержками, переживал, как несчастье, как рок.

Шурка стал скрываться из бursы. Сначала он это делал в часы, свободные от занятий, но потом он отсутствовал и в классные часы. Наши бурсаки видели его в кругу заливчатских городских парней с окраин. Парни ходили в картузах, сдвинутых на затылок, со свинчатками и кистенями, задевали прохожих,

гоготали, орали непристойности, привязывались в городском саду к женщинам, не давали прохода девицам в платочках.

А между тем Фита-Ижица давно уже рыскал вокруг Шурки. Впоследствии выяснилось, он, Фита, исправнейшим образом отмечал шуркины отлучки, но до поры до времени о них помалкивал. Пору и время Фита-Ижица, однако, ждал не долго. Перед масляницей Шурку вызвали к Халдею, и от Халдея он вышел уже с увольнительным билетом и с двойкой по поведению. За что уволили Шурку, в точности узнать не удалось. Духовное начальство выбросило Шурку из бурсы с поспешностью и в объяснения не вдавалось; на этот раз даже и Тимоха был странно молчалив и не произнес ни одного поучения. Шурка тоже ничего путного не рассказал и в бурсе задержаться не пытался. Слухи ходили такие: Шурку в сообществе ребят из слободы Фита-Ижица «застукал» в доме терпимости. Как, зачем туда попал Фита, осталось неразъясненным. Другие передавали, будто означенные парни и Шурка пытались изнасиловать горничную в овраге, что против уткинской церкви; в овраге их «накрыла» — по утверждению одних — полиция, а по утверждению других их поймал Фита-Ижица. Опять было непонятно, почему и каким образом ночью Фита-Ижица очутился в овраге, куда обычно солдаты водили возлюбленных своих для короткого любовного разговора. Имелись, повторяю, лишь непроверенные слухи. Достоверно и несомненно было почти внезапное исчезновение Шурки навсегда из стен училища. О судьбе его бурса сведений больше не получила никаких...

...Петя Хорошавский однажды зачитался на вечерних занятиях Решетниковым и не заметил, как подкрался к нему Фита-Ижица. Решетников незамедлительно был отобран, причем Фита предложил Пете показать свои вещи в шкафу и в сундуке. На беду в сундуке у Пети по оплошности хранилось еще несколько книг, в том числе и Добролюбов. Книги из сундука, понятно, тоже были изъяты. Фита-Ижица держал себя с Петей тихо и ласково и даже пошутил: вот, мол, мы какие: Добролюбова и Решетникова читаем, а еще говорят, бурсаки — неотесы и знают только гомилетику да риторику да церковный устав. Словом, Фита удалился в отличном расположении духа. А вечером Хорошавского вызвал в учительскую Тимоха и совместно с Халдеем продержал больше часа. Пете объявили: за чтение и хранение Добролюбова и Решетникова полагается увольнение с тройкой поведения. Известно также Тимохе и Халдею, что отобранные книги — из запрещенной библиотеки. Но бурсацкое начальство милосердно, бурсацкое начальство понимает, что Хорошавскому осталось всего четыре месяца до «окончания

курса» и до перехода в семинарию. В науках Хорошавский преуспевает. Хорошавский должен себя спасти, должен сказать, где хранится означенная библиотека и кто в библиотекарях состоит. Петя заявил: книги его собственные, о библиотеке он ничего не знает. Тогда Тимоха и Халдей дали ему двухдневный срок для спасительных размышлений, пригрозив сделать решительные выводы, если он не поможет открыть и искоренить крамолу.

Было нами созвано тайное совещание. Петя держался скромно, спокойно, он только побледнел немного. Больше всех бушевал Витька Богоявленский. Витька предлагал на короткое время возобновить деятельность тугов-душителей и в частности атаковать камнями квартиры Фиты-Ижицы, Тимохи и Халдея. На вопрос, что это нам даст, спасет ли дебош Петю, Витька угрожающе ответил:

— Посмотрим. Пусть неповадно будет таскать Фите чужие книги. За них деньги платили.

Витьке можно было возразить, что деньги за книги платил кто-то другой, не мы, но спорить с ним не хотелось. Ответ его, однако, никого не убедил и отклика не встретил. Любвин предлагал написать письмо и пригрозить бурсацкому начальству кровавой расправой от имени объединенного революционного комитета учащихся всего мира. Но и это предложение не одобрили. Спросили Петю, что он думает. Петя помедлил, грустно поглядел на нас и негромко сказал:

— Надо выбрать, кто будет хранить каталог.

Тогда мы поняли: мы лишаемся нашего Пети Хорошавского; помешать этому мы не можем. Собрание долго и тягостно молчало.

— Ничего, Петя, — вымолвил осторожно. Трубчевский, — ты первый, мы за тобой. Знали, за что брались.

— Я ничего, — заявил тихо Петя и провел по лбу рукой, точно что-то от себя отгонял.

Петя был круглый сирота, каникулы проживал у дяди, священника, человека вздорного, донимавшего Петю попреками и заставлявшего его работать на дому и в поле. Я спросил Хорошавского:

— Куда ты пойдешь? Дядюшка тебя теперь заест...

— Не знаю... Кроме него итти мне некуда...

Спустя несколько дней Петя был исключен из духовного училища с четверкой поведения. Лишили казенного кошта и бурсака Антропова; Антропов сидел с Петей за одной партой. Дядя к себе Хорошавского не принял, а определил его на выучку в Усмань к хлеботорговцу. Великим постом окольными путями

дошло известие: Петя Хорошавский простудился и умер. Любвин утверждал, что его извел хлеботорговец, а Витька Богоявленский оказался из нас самым чувствительным: узнав о смерти Пеги, он забился между амбарами, пробыл там больше часу и вышел оттуда с распухшими глазами и носом. И даже не ругался.

Фита-Ижица предовольно покашливал.

На время мы нашу библиотеку схоронили...

...Масляницу провел я у Николая Ивановича. На первой неделе великого поста я отказался говеть. Николай Иванович о говении не сказал ни слова, но дня за два до отъезда затеял со мной разговор. Я отвечал осторожно. Мы пили вечерний чай. Дядя отложил книгу, запахнул подрясник, провел гребнем по волосам, поиграл скулами.

— Тебя смущают разные вольности. Вера древнее вольностей и, что бы ни случилось, их переживет. Вера — уповаемых извещение. Она — вся в надежде. Бóльшего и лучшего хочет человек, чем может он. Отсюда и вера.

— Лучшего хотят и неверующие. Я читал и слышал о людях, которые ради народа, ради его более справедливой жизни идут на каторгу. Их даже вешают. У них есть свой идеал, но воплотить его они намерены здесь, на земле.

Николай Иванович закрыл на мгновение глаза.

— Ты о социалистах говоришь? Их идеал — смел: сообща устроить жизнь — увлекательно... Но подобные ожидания и домогательства жалки, если их сравнить с христианством.

Николай Иванович немного выпрямился в кресле.

— Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века... Вот это, сказал бы я, даже дерзновенно. Никакой человеческий помысел не может сравниться с этим «чаю». Здесь — предел мыслимого, надежда надежд, последняя возможность... Этого нельзя уже постигнуть нашим ограниченным разумом, это дается только в откровении, во внутреннем, а не во внешнем опыте. И покуда живо человечество, оно неизменно будет повторять: чаю воскресения мертвых. В этом закон и пророки и вся суть христианства... И если тебя увлекают мечтания и фантазии социалистов, то ведь эти фантазии и мечтания, повторяю, ничтожны в сравнении с верой в воскресение мертвых, то есть с верой в торжество высочайшей справедливости, гармонии и величайшей вселенской мудрости. Но воскресение мертвых возможно только при божестве, в божестве. Оно есть оправдание всего. Подумать только: из праха, из тлена, из жалкой юдоли, в болезнях, в неминуемой смерти человек, несмотря на все это, вопреки очевидности, вдруг воззвал: а я верю, что все живое, все живущее не погибает и не погибнет! В духе и истине, и только в

них могла родиться такая надежда...

Николай Иванович говорил, взвешивая слова, со сдержанным возбуждением. Он покрылся красными пятнами, глаза блестели. Я ответил:

— Люди, которые сейчас гибнут за народ, за лучшую жизнь здесь на земле, живут больше в духе и истине, чем сторонники воскресения мертвых. Социалисты не занимаются стяжательством, не ищут теплых, обеспеченных мест, не обманывают, не обвешивают, не обирают, не дерут с мужика, с рабочего последней копейки, не заставляют их на себя работать, а верующие в самую дерзновенную, как вы, дядя, утверждаете, человеческую мечту, в воскресение мертвых, все это сплошь и рядом делают, да еще эти свои делишки воскресением мертвых прикрывают и оправдывают. В конце концов, Христос в одном несомненно прав, он, между прочим, сказал: «По делам их узнаете их»...

— Может быть, народолюбые тоже не совсем такие, какими они тебе представляются. Один из величайших в мире художников и тайноведцев сердца, Федор Михайлович Достоевский изображает их весьма отрицательно. А он сам сидел в тюрьме за народ, стоял на эшафоте, отбыл каторжные работы. Он свою истину выстрадал и знает народолюбых не хуже нас с тобой.

— У Достоевского много злобы. Его каторга сломила...

— Если даже допустить, что Достоевский не прав, то и это ничего еще не означает: одни чтут бога устами, а сердце их далеко отстоит от него; другие устами его не чтут и даже не признают, а сердце их с богом.

— А я думаю, что сердца социалистов не с богом, они — материалисты и не случайно.

— Вот это «я думаю» и есть самое легкомысленное и опасное: Экклезиаст тоже много думал, а что нашел в конце жизненного своего пути... — И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость; узнал, что и это томление духа, потому что во mnogой мудрости много печали; и кто умножает познания — умножает скорбь... — Молодость бродит в тебе... Молодость всегда верит в гордый человеческий ум, а ум без веры ничто.

— Молодость всегда права...

Дядя ничего не ответил...

...Весна пришла ранняя. На пасху я остался в бурсе: перед выпускными экзаменами надо было заняться по арифметике. Из приятелей в бурсе скучал со мной Любвин. Я часто уходил на задворки. Там у забора росли старые ветлы. На одной из них я

приладил две широких доски и лежа читал запрещенные книги. Весенний ветер качал логово; ветла скрипела; наливались почки; тишина, небо окутывали меня дремой, книга выпадала из рук, и однажды в предвечерний час я крепко уснул. Проснулся я от окрика. Я протер глаза, свесил ноги, осмотрелся. Внизу, раздвинув голые кусты, стояла девушка.

— Хорошо выпались? С вашего сидения сонному легко сломить шею... Но зачем вы, бурса, забрались в чужой сад?

Логово, действительно, свешивалось над соседним садом.

Спросонья я хрипло ответил:

— В ваш сад я не забирался. Я — на своем дереве...

Девушка тронула стеклянное ожерелье.

— Дерево — ваше, а спали вы в нашем саду. — Покачиваясь и держась за кусты, она спросила: — А скучно, должно быть, в бурсе?

— Скучно, — признался я, приводя в порядок костюм. — Почти все разъехались; говеть приходится, задачи решать.

— Мне тоже скучно, — простодушно призналась незнакомка. — А почему вы не поехали домой?

— У меня нет дома. Я — сирота.

Незнакомка выпустила из рук кусты.

— Это не вас я вчера слышала в церкви?

— Да, я вчера читал шестопсалмие.

Девушка расправила плечи и грудь, провела указательным пальцем правой руки по верхней губе вправо и влево, будто приглаживая усы, и по-церковному, нараспев прочитала:

— Слава в вышних богу и на земле мир, в человецех благоволение... Слава в вышних богу и на земле мир, в человецех благоволение...

Лукаво поглядев на меня, молвила:

— Похоже, как вы читаете? Могу поступить в дьячки? То-то, — с притворной строгостью прибавила она. — Ну, слезайте с дерева; будьте у меня гостем: чаем напою.

Я спустился с ветлы, подал девушке руку.

— А зовут меня Дашей, — заметила она, почему-то вздохнула и стала вдруг совсем простой.

Мы поднялись по темной лестнице на второй этаж старого каменного дома. Дашина комната, невзрачная, помещалась рядом с чердаком. Стояли: деревянная кровать, покрытая байковым одеялом, с горкой старательно взбитых подушек, — некрашенный стол, два венских стула. Рыхло развалился диванишко, не обещающий уюта, пузатился у кровати пыльный комод с незатейливыми безделушками и дешевым зеркальцем. Один угол занимала ножная швейная машина; в другом углу висели платья, блузки,

кофты, небрежно завешенные простыней.

— Ну вот, мое золотце! Садитесь. — Даша поместилась против меня, мельком взглянув в разрез платья на груди, оправилась. — Небогато живу. Переехала сюда недавно.

На миловидном дашином лице лучше всего запоминался рот. Был он уголками своими немного приподнят. Когда Даша смеялась, слева, у резца, выделялся зубок: он рос неправильно, боком, был острее и меньше других, но он не портил лица Даши, а, наоборот, сообщал ей что-то милое, веселое и приятное; и рот и губы ее от этого зубка только оживлялись. Густые пепельные косы Даша закладывала в прическу, спадавшую позади на полную шею к спине, прямой, мягкой и податливой. Глаза у Даши светились тихо, спокойно.

Поставив внизу в кухне самовар, Даша возвратилась с засученными рукавами и с пальцами, вымазанными углем.

— Вы что читаете? — спросил я Дашу почти сурово.

— А ничего, мое золотце, я не читаю, — ответила Даша, оправляя волосы. — Некогда, да и неграмотная я почти. Письмо в десять слов по два часа пишу, вся измажусь в чернила и даже вспотею. О книгах лучше всего со мной не говорите. Я ведь дурочка большая. Я глупенькая. Такая уродилась.

— Жаль, — заметил я поучительно. — Без образования теперь трудно жить. — Спадая с тона, я прибавил: — И потом это интересно — читать книги. Про разных людей узнаешь, про далекие страны. Иной раз совсем забываешься...

— Я больше сны люблю, — задумчиво сказала Даша. — Сны часто мне снятся. Приснится страшное-престрашное, а иногда такое хорошее, — ходишь весь день и все сон свой вспоминаешь, будто редким подарком матушка тебя одарила. Недавно приснилось: плыву я на большом корабле по синему морю, а куда — неизвестно. На воде солнце лежит, с синим морем мешает свет свой, и волны теплые-теплые. И нет у меня никакого горя, а одна только радость, и никаких забот тоже нету. А кругом люди, приветливые, обходительные, и говорят разные приятные слова — Даша... Дашенька... Ну, и все такое... всего не перескажешь. Есть сны в руку...

— Сны — это полный и низкий предрассудок. Снам верить нельзя, — вставил я веско и с явным желанием просветить Дашу.

Даша улыбнулась, показала зубок, чуть-чуть насмешливо молвила:

— Вам лучше знать: на то вы и ученые.

Говорила Даша, растягивая слова, немного лениво; выговор у нее был наш, средне-черноземный, на «а» и на «я»; и весь облик Даши напоминал простенькие полевые цветы, скромные березы,

села с незатейливой, тихой приветливостью, с русской женской податливостью и участием.

Мы пили чай с ситным хлебом и копченой рыбой. Даша управлялась неторопливо, но споро. Она подробно хотела знать, когда я лишился отца, какая у меня сестра Ляля, что делает мать, куда я уезжаю летом на каникулы. Эти мелочи о неизвестной семье были, видимо, ей интересны и чем-то нужны.

— Да вы, мое золотце, оборвались совсем, — сказала она, — приглядываясь и качая головой. — Пуговицы болтаются, — левый карман почти отпоролся. Хорош кавалер! Пришить надо.

Не дожидаясь согласия, Даша взяла с комода нитки, иглу, наперсток, пересела ко мне на диван.

— Сходное мне дело: белошвейка я.

От Даши шло тепло, пахло миндалем. Я бормотал, что завтра буду у матери, она зашьет. Даша быстро перекусила нитку зубами и еще быстрее замелькала у нее игла...

Пора было уходить в бурсу, а уходить не хотелось. В первый раз чувствовал я себя с «девицей» по-свойски. Прощаясь, Даша пригласила в гости на второй день пасхи... Если есть приятель, и его можно взять с собой, втроем веселей.

...Я рассказал Любвину о новой знакомой, не пойдет ли он со мной к Даше. Любвин засопел, от приглашения отказался; охота связываться «со всяким бабьем». Бабы ни до чего путного не доведут, а времени отнимают много, временем же приходится дорожить. Он, Любвин, изучает биологию. В книге триста страниц; урок двадцать пять страниц в день, не менее. Для «бабья» у него решительно нет ни единой секунды... Это наверняка...

...Великопостная, медлительная служба, гулкие пустынные коридоры повергли меня в тоску. Одиноким, сумерничал я в классе, перечитывал «Евгения Онегина»:

...Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всячески,
Что обманула нас она,
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели острой чередой,
Как листья осенью глухой...

...Скоро минется шесть лет бурсацкой жизни... Шесть лет твердил я тексты, катехизис, церковный устав, тропари, кондаки, кафизмы, латынь, греческий язык, исключения из правил и

исключения из исключений. Все это не нужно в жизни. Все это я забуду и многое уже забыл. И ничего я не знаю, что надо знать теперь. Я — невежда в физике, в химии, в истории, не могу ни слова прочесть по-немецки, по-французски; отрывочные сведения добыты вопреки бурсе. Бурса... Мертвая спина Халдея, оттопыренные, просвечивающие уши с паучьими жилками. Тимохин язык. Ехидное покашливание Фиты-Ижицы. Грязь, вонь, грубость... Манили призраки; болотные огни. Живая жизнь! Я почти еще не жил ею... Только в детстве она мне брезжила... Деревня, скирды, ометы, риги, овины, дедовские разбойничьи песни — древние, сумрачные, роковые, голос преданий... Зеленые приволья, ветряные мельницы, скворцы весной, ночное в июле, странница Наталья, Алексей, сказки, игры, летние вечера, когда уляжется пыль от стада, затихнет село, а небо в лиловых печальных и прекрасных полосах; в открытое окно, положив мягкие локти за подоконник, глядит, задумавшись, мама, а Прасковья несет в ведре парное молоко, и клонит голову дрема, назавтра же ранним утром надо удочкой ловить язей, красноперок, окуньков, пахнущих тиной, скользких и трепещущих в руке, и босыми ногами мять траву в теплой и светлой росе... Да... это хорошо было...

Но дальше, но что ждет меня дальше?.. В семинарии придется опять зубрить священную историю, церковную историю, гомилетику, риторику, пасхалию, догматическое и нравственное богословие, обличение раскола и ту же латынь... После двенадцатилетнего обучения всем этим наукам, при благонравном поведении, при всяком прислужничестве можно дотянуть до плешивого столоначальника... Есть другие пути. Пути страшные, кровавые, ведущие с неизбежностью в темные подвалы... Готов ли я к ним? Хватит ли меня?.. Я этого не знал. Да и во что я верю, я тоже не знаю как следует...

Я поднялся на третий этаж, откуда из сундучной виднелся дом, где жила Даша. Ее окно темнело. Стало еще тоскливее. А Рахиль? Но образ Рахили потускнел.

...Вечером на второй день пасхи я надел новую суконную пару, сшитую мамой, а не казной. Неожиданно подошел Любвин, мрачно пробубнил:

— Пожалуй, и я с тобой пойду посмотреть твою белошвейку.

Домохозяйка-старуха проворчала что-то вослед, когда мы, громыхая сапогами, поднимались по лестнице в дашину комнату.

— Христос воскрес! — сказала Даша, принимая нас, обняла меня за плечо, весело, крепко и звонко поцеловала в губы. — С приятелем пришли. Вот это славно! Христос воскрес!

Любвин засопел, надулся и притворился, будто не расслышал

дашиных слов и будто он ищет, куда положить фуражку.

— Христос воскресе, мое золотце! — повторила Даша, подходя к нему вплотную.

— Воистину... — свирепо и отчаянно проворчал глухо Любвин и судорожно откинул голову; дашин поцелуй пришлось ему в подбородок.

— Что это вы, дорогой, в самом деле... Так не христосуются, — объявила Даша. — Да не смотрите на меня бирюком. Ну, христосуйте!

— Христос воскресе... — деревянно пробубнил Любвин, выпучил на Дашу глаза и, наконец, поцеловал ее, точно очертя голову бросился в пропасть.

Даша пригласила к куличам и пасхе, внесла самовар. Угощая, говорила:

— Посмотрю я на вас, какие вы еще молоденькие. Даже пушка на губах настоящего нет.

— Вы тоже не старая, — осмелился вымолвить слово Любвин. Издалека, откуда-то из-за реки плыл вечерний звон; небо было низкое, теплое.

— Хочется мне выпить сегодня, — сказала Даша.

Она поставила на стол графин с водкой.

— Может и вам по рюмке налить? Или еще рано этим делом заниматься?

— Мы выпьем, — объявил вдруг необыкновенно решительно Любвин и к моему удивлению вынул коробку папирос.

— Покуриваете? — спросила Даша, расставляя рюмки.

— Покуриваем, — преважно ответил Любвин. — Прошу, — предложил он папиросы Даше. Даша отказалась. — Прошу, — сказал приятель и протянул мне галантно коробку, точно человеку, с которым он только что свел знакомство. Я никогда не курил, но почему-то папиросу взял.

— Со свиданьем, — молвила Даша, чокаясь.

Меня уже замутило от первых затяжек, я с готовностью отложил папиросу и с отвращением выпил водку. Что-то горячее охватило горло, грудь, живот, голову, ноги. Я вновь затянулся табаком. Комната поплыла в сторону, я потерял ощущение тела, будто расширился, сделался необъятным и стал во всем, и все стало во мне. Дашин голос звучал совсем чуждо и в странном отдалении, но чрезвычайно четко. Все стало приятным, доброжелательным. И зрение и слух сразу воспринимали много мелочей и держали их в памяти. Я еще затянулся. Меня затошнило, сознание затуманилось. Точно сквозь сон увидел я Любвина. Он сидел прямой, боясь пошевелиться, синий, надутый.

— Позвольте выйти, — пробурчал он глухим голосам, словно

отпрашиваясь в классе у учителя.

Даша, — или мне это померещилось? — не естественно засмеялась, проводила Любвина по лестнице.

Я оглядывался и удивлялся: зачем я в этой комнате, зачем графин, рюмки, кулич? За окном сквозь голые ветки рябины выступали: кирпичный угол бурсы, часть крыши, — и тоже непонятно, зачем лезли в глаза. Вот возвратилась Даша, она что-то говорит, я что-то отвечаю, и это тоже непонятно, зачем.

Любвин появился черный, молчаливый, не получил ли он внизу заслуженный нагоняй? Почему-то он угрюмо все косился на Дашу. Даша налила чаю. Захмеление стало проходить. Убрав графин и рюмки, Даша вытерла крепко губы рукой.

— Чтой-то мне грустно сегодня. От грусти и выпила. Ходила днем к знакомым, а у них сын глухонемой — урод слабоумный. Рядом квартиранты в услужение взяли деревенскую девку, брови дугой, расписные, рот вишней выкрашен. Урод и влюбился в девку. Ему, пожалуй, лет шестнадцать будет. До того влюбился, даже поумнел, соображать стал лучше. Куда она, туда и он. Девка на двор, в лавку, по домашности в кухне что-нибудь делает — и он около нее увивается, в глаза заглядывает, мычит, пряники, гостинцы сует, руки к груди прижимает: досмерти, мол, люблю тебя, Прося. — А она, дурища бесстыжая, над ним потешается; соберет подруг, сидят на лавке во дворе, семечки лускают, кобылами ржут, поднимают на смех уroda. Он, не ровен час, осерчает на них, начинает кидать камнями, а чаще забьется в угол и воем оттуда по-звериному, прямо слушать страшно... На другой же день опять около Проськи, души в ней не чаёт. Похудел и все на землю показывает: не жилец я, помру скоро от Проси... Вот она жизнь-то какая!.. А кругом, поглядишь, ничего не заметно: улица сонная, тихая, сады, заборы, ворота, калитки, куры копошатся, лежит хавронья в грязи, шелудивая собака одурела от жары и скуки... только и всего...

Рассказывая, Даша собирала складками скатерть и разглаживала их. Руки у нее были короткие; кожа на них выше кисти атласилась. За окном погас закат. Небо покрывалось пеплом.

— Не пойму я, что делается в жизни, — продолжала говорить Даша, больше беседуя особой. — Никак не пойму. И образованные мало в ней понимают. Наговорят, наговорят, — и все ни к чему. Одного из ученых я при случае спросила: есть такая наука, чтобы знал человек, из-за чего он мается на земле и как ему жить, чтобы не было горя-злосчастья и чтобы всем хорошо было. Нет, — отвечает он мне, — такой науки еще никто не придумал. — И засмеялся, дурной. — Какая ты, мол, глупая! —

Я-то глупая, конечно. Да и ты не больно умен, если все глаза проглядел, очки напялил, а о самом главном не подумал...

— У вас родные есть? — спросил неожиданно Любвин и завоzilся на стуле.

Даша пересела на диван, покусала верхнюю губу.

— У каждого человека есть родные. Отец в борисоглебских железнодорожных мастерских работает. Пятеро у него, я самая старшая. Чем могу, помогаю. Жила раньше у дяди, портного по дамским нарядам. Ушла, не стерпела: измывался и работой досаждал. Теперь самостоятельно обхожусь.

— Так-с! — с неожиданной наглостью крикнул Любвин, но сразу осекся и поднялся прощаться.

Даша предложила зайти к ней завтра.

— Очень приятно, — ответили мы оба в один голос, изображая кавалеров, а Любвин шаркнул сапожищами и даже сделал губы сердечком.

В бурсе мы едва не поссорились. Я заметил приятелю, что ему незачем было щеголять папиросами; курить мы не умеем, и поделом его вырвало. Любвин утверждал: у Даши ему сделалось только дурно, папиросами щеголял не он, а я, именно я не умею курить, он же, Любвин, давно начал курить, но в бурсе, понятно, от табаку воздерживался. Мы разошлись в некоем взаимном ожесточении.

На другой день, забыв распрю, мы гуляли с Дашей по городу. Гуляя, мы решили подняться на колокольню Казанского собора. Там на подмостках любитель церковного трезвона, видимо, из мещан с базара, вдохновенно работал ногами и руками. Он походил на игрушечного паяца, которого неистово дергают. Звонарь склонил голову к плечу и зажмурился в забытии, между тем его пальцы, локти, ноги работали, как только могли. Под большим тысячепудовым колоколом раскачивал язык здоровенный дядя в поддевке, без головного убора, с волосами, стриженными в круг и жирно смазанными маслом. Дядя бил в колокол деловито, истово. Колокол низко и мощно гудел. Густые звуки переполняли колокольню; казалось, их можно было видеть, вдыхать, осязать. Они гудели не только в ушах, но и в голове, во всем теле, а сверху мелкие трезвоны, заливаясь, куда-то спешили наперегонки. Мы поднялись выше, под самый купол. Лестница туда от колокольни, очень крутая, совсем обветшала. Мы помогали Даше. Под куполом крестообразно лежали толстые, аршина в полтора ширины, дубовые брусья, окованные железными полосами для поддержки большого колокола. Горланно ворковали голуби, били крыльями, подолгу возились, устраиваясь под крышей. Затопленный могучим весенним

солнцем город горел на крышах и окнах. Листья еще не успели распуститься, но деревья уже выглядели бурыми. Река стыла в голубых и крутых извивах. И город, и весна, и небо, и пасхальный трезвон сливались в одну чудесную песню без слов, молодую, желанную, какую слышишь только в ранней юности, да и то изредка.

Мы долго стояли молча у пролета, два бурсака и ситцевая Даша-белошвейка.

Любвин обнаружил свои познания места.

— Здесь, — сказал он положительно, — собираются пьянствовать семинаристы. Во-первых, сюда никакие субы, никакие начальники не решаются забираться, а во-вторых, упившись, семинаристы на спор спускаются пьяные вниз; ступенек многих нету, надо сойти и не сломать себе шеи или ноги.

— Какие отчаянные! — молвила Даша.

— Еще бы, — с гордостью подтвердил Любвин.

Вдруг Даша подалась назад, схватила меня за руку и вскрикнула. Побледнев, она запрокинула голову, глаза ее закрылись, потом на миг открылись, блеснув тускло и мертво. Даше сделалось дурно. Мы оттащили ее от окна. Даша пришла в себя, но смотрела на нас незнающим взглядом, наконец, прошептала:

— Голова закружилась... Потянуло... Будто лежу на мостовой... вся в крови... помираю... и день такой же... трезвон... солнце... голуби... одна... и никому не нужна...

Успокаивая Дашу, мы медленно спустились. Все еще бледная, она взяла меня и Любвина под-руки. Мы пошли около собора, по саду, где помещались архиерейские покои и духовная консистория. Неподалеку от ворот показался высокий монах, в клобуке, с посохом. Монах двигался нам навстречу с плотным человеком в мундире. В монахе мы узнали архиерея, а в плотном человеке — Халдея, но узнали мы их, когда отступать или свертывать в сторону уже было поздно. Я хотел освободиться от дашиной руки и даже сделал невольное подловатое движение, но упрямство, гордость, стыд удержали меня. То же самое, видимо, испытал и мой приятель.

У Халдея при взгляде на нас вспыхнули оттопыренные уши.

О новом архиерее, сменившем любителя церковного трезвона, известно было по епархии, что он страдал обычной архиерейской болезнью: от неподвижной жизни архиереи жирели и страдали запорами. Новый архипастырь, подверженный чрезмерной тучности, любил гулять по соборному двору и даже, по слухам, для здоровья пилил и колол дрова. Поровнявшись с

ним и с Халдеем, мы почтительно сняли фуражки и посторонились. Архиерей, с заплывшими глазами, с седой, обширной бородой, пожевал вялыми губами, приподнял посох.

— Подойдите ближе, — приказал он нараспев однотонно.

Вместе с Дашей мы приняли благословение. Архиерей томительно долго нас оглядывал, покачивая головой, спросил:

— Воспитанники духовного училища?

— У нас учатся, — глухо и угодливо ответил Халдей, держа руки по швам.

— А отроковица сия? — допытывался монах, перебирая медленно четки.

— Родственница, ваше преосвященство, — поспешно ответил я архиерею.

Архиерей лукаво усмехнулся, провел рукой по бороде.

— Не похоже, саге амісе, не похоже. Не гуляют в садах и в городских скверах с родственницами под-руку. Из молодых, да ранние... Чем занимаетесь, девица красная? — обратился он к Даше и прищурил глаз, любуясь ее смущением.

— Работаю на дому, — пролепетала Даша, опустив глаза.

Архиерей перевел глаза на нас.

— В котором классе?.. В четвертом?.. — Любину: — Что воззрился на меня, аки скимен рыкающий?.. Значит без году неделя семинаристы... Так... Однако и семинаристам не пристало гулять с барышнями в садах... да... да... Неподобно, друзья мои, неподобно... Ишь, фендрики какие...

Архиерей, похоже, пребывал в благодушии, выговаривал не строго, скорее несмешливо. Осенив нас крестом, он грузно двинулся вперед. Халдей последовал за ним, но зловеще на нас оглянулся.

— ...Что же они теперь с вами сделают? — спросила Даша, когда мы вышли за ворота.

— Могут уволить, — мрачно заявил Любвин.

— Да неужто они такие бессердечные? — всполошилась Даша. — Что же в том плохого, что погуляли с девушкой? А все я виновата: зачем с вами пошла? Принесла их нелегкая!..

Лицо дашино выражало такую тревогу и заботу, что мы наперебой стали ее успокаивать. Даша взяла с нас слово ее известить, как с нами поступит Халдей.

Халдей вечером вызвал нас к допросу в учительскую. Первым он принял меня. Он был краток:

— Прогулки с девицами прекратить. Общий балл по поведению при окончании будешь иметь четверку. С началом занятий отсидишь в карцере! Иди!

Я поднял на Халдея глаза. Он глядел на меня бессовестными

оловянными лупетками. Вдруг он почудился мне огромным; плечи заняли всю комнату, голова с оттопыренными ушами, в прожилках, вспухла чугунным шаром, волосы надвинулись на лоб душной шкурой, квадратная челюсть растопырилась, расперлась, ноздри зазияли черными дырами... Я задыхался... Ноги, точно от колдовства, приросли к полу...

— Иди! — повторил Халдей и уткнулся в журнал.

В дверях я пропустил Любвина. Он вышел от Халдея спустя две-три минуты с потемневшим лицом.

Из-за выпускной четверки поведения нас могли не принять в семинарию, тем более, на казенный счет. Стоило шесть лет, тянуть ляжку!

...Каникулы окончились. Надо было готовиться к экзаменам, а готовиться не хотелось. Зеленели нежно березы с тонкой японской прорезью веток на вечернем небе, нежно зеленел дальний поемный луг за рекой. Весенние утра тоже были нежны, свежи и росисты. Ночами небо всходило золотыми посевами. Земля дышала мерно, живая, теплая, в благоуханных произростаниях. И земля, и небо, напоминали о вечном круговращении, о неисчерпаемых силах, о расточительности матери-природы, о том, что ей ничего не стоит все живое одарить лаской, радостью и счастьем. Я познакомил с Дашей приятелей, и тайком, чаще вечерами, мы пробирались и сиживали у нее всем нашим кружком. Приносили орехи, пряники, конфеты «Дюшес». У Даши появилась гитара. Играли на гитаре Даша или Трубчевский, мастер на все руки, до всего переимчивых!. Несложные мотивы роднились с Дашей, с незатейливой, убогой ее комнатой, с уездным захолустьем, с сумерками и с нами, безотцовщиной-бурсаками. Недаром гитара воспета русскими поэтами, начиная с Пушкина. В ней есть что-то домашнее, грустное, что-то от бедности нашей, от немых и необъятных просторов и раздолий, от песен и тоски нашей. И неудивительно, что столько неглупых и хороших людей под звон гитары топили в горькой нескладную свою жизнь... А сколько гитара скрасила скучных часов в глухих, в забытых углах!..

...Даша нас привечала...

— Мне с вами легко, — говорила она, разливая чай, либо склоняясь над шитьем. — Корысти в вас еще нет никакой. Иные в ваши годы выглядывают, где потеплей да посытней примазаться, а у вас еще беспечности много. С вами не думается, не загадывается.

— Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную, — гудел из самого темного угла бывший Чугунный гашник, старательно пряча меж

коленями красные и потные руки.

— Пошел ты со своими текстами ко всем!.. — кричал на Любвина Витька Богоявленский, но во-время удерживался от своих обычных словес, взглядывая на Дашу смородинными глазами, смущался, от смущения захватывал с тарелки полную пригоршню орехов и только тогда поправлялся:

— Пошел ты со своими текстами ко всем жаворонкам...

Сергеа толкал Витьку в бок и неумолимо его разоблачал:

— Ругаться, брат, не годится... А все орехи забирать и того хуже. В третий раз тянешься ты к ним своей жадной лапищей.

— Пожалуйста... не жалко... — мирно заявлял Витька и делился с Сергеей орехами.

...За последний год мы заметно изменились. У каждого из нас что-нибудь выглядело не в меру. Витька раздался вширь, а ноги у него попрежнему оставались тонкими, короткими и немного кривыми, нос с загогулиной расплющился. У Серёги Орясинова болтались длинные руки и сильнее вытянулись губы. Трубчевский обращал на себя внимание худобой и талией. Любвин порой покрывался прыщами и угрями, безжалостно и свирепо их давил и ходил, испачканный кровью. Хуже всех подрастал я, и это меня омрачало. Говорили мы неправдоподобными голосами: начинали басить, но тут же голос взлетал вверх, откуда столь же стремительно и срывался. Мы обзавелись зеркальцами, гребешками и даже — в бурсе невидаль! — зубными щетками. Серёга Орясинов по воскресным дням потел и душился в гуттаперчевом воротничке. Перегнавшие в третьем классе второгодничали, и теперь все мы разом переходили в семинарию.

Каждый из нас старался угодить Даше. Немного мы ревновали ее друг к другу и исподтишка следили, кому отдает она предпочтение. Понятно, Витька Богоявленский нисколько не усомнился в своих успехах, но правда, кажется, была в том, что больше всех Даше приглянулся Трубчевский, хотя Трубчевский уверял, будто Даша мирволит ко мне. Серёга Орясинов это оспаривал: туманно он намекал на себя, но тут Витька поднимал его насмех, и Серёга погружался в свою обычную лень. Любвин действовал по-своему. Он решил из Даши сделать дарвинистку, длинно и путанно бубнил ей о происхождении видов. Наслушавшись его, Даша признавалась, что «ничегошеньки не поняла» и что разные ученые вещи не ее ума дело. Любвин загадочно и мрачно умолкал.

...Очень проста была Даша. Ни к кому не питала зависти, ничем не кичилась, ни перед кем не заискивала. У ней была сметка; обнаруживалась эта сметка чаще всего тогда, когда

требовалось чем-нибудь помочь другому, оказать услугу, выручить из беды. Помогала и услуживала Даша людям без расчета, так же естественно, как летает птица, как светит солнце. Участливость была ее свойством. Себе она не требовала наград и не любила жаловаться на свою горе и на свои неурядицы.

Даша иногда рассказывала о своем невзрачном и голодном детстве, о жизни и быте рабочих, о труде их в мастерских, на фабриках и заводах, о хозяевах, о том, как некуда бывает податься рабочему человеку, как перебивается с хлеба на квас ее, дашина, семья, хотя отец и был работяга. Возможно, Даша впервые стала занимать мои помыслы рабочими. До нее я о них думал мало.

В ту пору Фита-Ижица подверг нашу библиотеку новому сокрушительному разгрому. Из-за экзаменов бурсаки почти не брали книг, и поневоле их собралось в наших тайных местах, в никем не занятых шкафах и гардеробах больше обычного. Фита-Ижица, должно быть, от наушников пронюхал об этом и очистил несколько ящиков. Урон нанесен был тяжелый: Фита арестовал больше сотни книг, почти половину всей библиотеки. Угрожала опасность и совсем ее лишиться. Нам пришла в голову мысль спрятать книги у Даши на чердаке.

— Что же с вами поделаешь, — сказала Даша, когда я изложил ей нашу общую просьбу. — Не рано ли только заниматься вам такими делами?..

Вечером под куртками, под пальто перетащили мы книги к Даше на чердак.

...Изредка к ней заходила подруга Маруся. Маруся выглядела старше Даши, красила щеки, пудрилась, но вела с нами себя просто и даже сердечно. Однажды мы — я и Витька — застали ее у Даши в истерике. Маруся билась головой о спинку дивана. Мы пытались ее успокоить, она оттолкнула нас. Скрюченными пальцами царапала она обивку. Она задыхалась, рыдала, но слез у нее не было. Ее потрясали острые колотья, и порой из груди ее вырывались сдавленные крики. Наконец Маруся затихла. Она лежала неподвижная, все реже и реже всхлипывая. У нее хлынули слезы... Даша подала мне знак... Мы поспешно ушли.

Марусино горе было так велико, что мы пристали к Даше с просьбами рассказать нам о Марусе. Даша поддавалась уговорам.

...Маруся родилась в бедной чиновной семье. Отец ее, судейский, страдал от запоев и умер рано, лет тридцати пяти. Мать, женщина неприспособленная к жизни, училась шитью и кройке, плетению кружев, нанималась к немцу в колбасное заведение, но работа валилась у нее из рук. Воспитание она получила в местном институте благородных девиц, муж приучил

ее к вину, и она все чаще и больше выпивала. Была она совсем недурна собой и сделалась содержанкой подрядчика по строительству, человека грубого, жестокого и скупого. Подрядчик отнюдь ее не баловал, дочь свою и сына, малолеток, она еле кормила. В хмельные часы, да и в трезвые, холуй напоминал, что он хотя и благодетель, но не обязан содержать «цельную ораву», у него не бездонные карманы и на всех добра не напасешься. Попреки и измывательства, а иногда и рукоприкладства волей-неволей приходилось переносить. Любовь свою марусина мать сосредоточила на сыне Митеньке; уделяла ему лучшие куски, исполняла по возможности прихоти и прочила в кормильцы. Кормилец, однако, рос пока балбесом: учился в городском училище, но в науках не преуспевал; из училища был изгнан, несколько лет шлялся, покоря сердца горничных и окраинных мещанок. Подрядчик рассудил: как веревочка ни вейся, а и ей приходит конец; и без того он осыпал щедротами сирот. Братца марусина через знакомого столоначальника он определил в духовную консисторию с месячным окладом не то в восемь, не то в двенадцать целковых. В неусыпных заботах своих о сиротах не забывал он и Маруси. Тогда минуло ей шестнадцать лет. Шестнадцать лет сами по себе чего-нибудь стоят, к тому же Маруся выглядела хоть куда. Подрядчик продал Марусю знакомому старику-скототорговцу. Мать получила три или четыре сотенных, приношения натурой и освобождение от лишнего рта. Скототорговец поселил Марусю у старухи-сводницы, держал ее в черном теле и поучал от священного писания с вожжением лампадок и с сокрушением о грехах своих, а больше о чужих. Поучения, лампадки и сокрушения нисколько не мешали любовной проказливости старца, а скорее питали оную проказливость. Два года старец, подобно библейскому Давиду, забавлялся марусиной молодостью, а на третий год обрел новую утеху в обладании приезжей артисткой, женщиной бойкой, жадной и сообразительной. Богобоязненный владелец скотобоен в ту пору располагал во рту единственным клыком, брызгал зеленой слюной, в ноздрях у него разметались густейшие кусты волос, похожие на вторые усы, и кожа морщилась в великом изобилии. Тем не менее, к разбитной артистке вспылал он столь вулканическими страстями, что ей, дотошной крале, ничего не стоило прибрать дряхлого селадона к цепким своим рукам. Со стенаниями, с медоточивыми изъяснениями, с великим сокрушением пораженный Эросом старец предоставил Марусю божьему провидению в христианских упованиях, что без означенного провидения ни единый волос не упадет с головы человеческой, ниже слабой женщины, ибо все покоится в руце

всеблагого создателя. Упования скототорговческого старца вполне соответствовали соборным решениям и разъяснениям отцов церкви и святителей, но Марусю от земных бедствий и кручин не избавили. Скотий истребитель прогнал Марусю, вручив ей билет четвертного достоинства и великодушно к сему пожертвовав в марусину пользу три платья, потертую шубейку и некое исподнее бельишко.

Пример благочестивого старца разрешил последние сомнения и друга его, строительного подрядчика. Именно в те самые дни пришел подрядчик к неуклонному заключению, что и без того слишком он долго поил и кормил марусину мать. Благодеяния прекратились. Марусина мать запила еще сильнее. Увядавшие ее прелести больше никого не прельщали. И она, и ненаглядный сыночек ее Мишенька требовали от Маруси помощи, и Маруса пошла скоро по рукам; в недолгом времени полиция вручила ей желтый билет и обязала в урочные часы являться на врачебный осмотр.

Принимая от Маруси помощь, мать, а всего сильнее братец Мишенька стали ее гнушаться и отказались от совместной с ней жизни. Братец утверждал: пребывание его под одной кровлей с Марусей, гуляющей девицей, даже очень может повредить ему по службе. Соображения эти являлись тем более разумными, что за несколько лет этой службы и посильных консисторских трудов уважаемый Михаил Николаевич Чистосердов по двадцатым числам продолжал получать все те же не то десять, не то двенадцать целковых, причем всякие гадания и прозрения в чреватое будущее ничего отрадного не сулили. Уважаемый Михаил Николаевич неудачи свои относил к проискам консисторских ябедников, крючкотворцев и строчил: строчилы, крючкотворцы и ябедники, будто бы не могли простить ему и снести его, чистосердовой, пленительности и неотразимости, коими пользовался он в кругу местных дам и барышень. Барышни и дамы — хотя и пленялись, как теперь принято выражаться, «в доску» ловеласом из недр духовной консистории, но в то же время настоятельно требовали расходов, отнюдь не покрываемых консисторскими доходами, более чем умеренными. Да, духовенство вело себя прижимисто и скупердяйски. Михаилу Николаевичу потребно было «хватить пивка» с приятелями, «сразиться в картишки», блеснуть запонкой с фальшивым изумрудом. А повертеть в руках тростью с серебряным набалдашником, а натянуть особым таким манером перчатки на руки, а блеснуть желтыми ботинками, взбивши хохолок чорт тебя побери, — нужно было все это или нет? Понятно, расходы провинциального щеголя совсем даже не то, что мотовство

светского столичного льва, но кошелек всегда имеет странное свойство бальзаковской шагреновой кожи. Марусе приходилось содержать и братца, и мать, и себя, даже выходя иногда на угол Большой улицы и Гимназической. Мудрено ли, что силы и терпение ее истощались...

Дашину повесть о Марусе передаю я сейчас своими словами. Даша ее рассказывала спокойно, без иронии. В саду по деревьям пробегал легкий ветер, мягко шелестели листья, пахло березой. За рекой вспыхивали зарницы. В бурсе спевшимися голосами исполняли трио: — Дивный терем стоит и хором много в нем. — Сновидениями над землей проносились облака; меж ними реяли редкие звезды... Дивный ли терем, однако, стоит кругом и много ли в нем хором? Я не мог опомниться от дашина рассказа... В ушах звучали сухие, судорожные рыдания Маруси... Так вот они какие бывают, проститутки! Много о них я читал и слышал о них не однажды, но видел проститутку впервые. Маруся была такая же, как все, не хуже и не лучше других; скорее даже была она лучше, потому что она продавалась, чтобы кормить мать и брата... А они, проститутки, представлялись мне существами хотя и обойденными и обездоленными, но особыми: наглými, жадными, всегда пьяными, вздорными. Я был сбит спанталыку. Я не понимал, что я чувствовал, а чувствовал я, кажется, одно: проституция и «все это» очень обыденно, и в этом-то и есть самое страшное...

Разумеется, мы «спасали» Марусю. Витька Богоявленский предлагал «выяснить личность» марусиною брата, подкараулить его и «набить ему харю», пригрозив вдобавок «звиздарезнуть» его еще посильнее, если он после набития «хари» возьмет у Маруси хотя бы копейку.

Предложение отвергли: ничего этим не достигнешь.

Любвин настаивал на пропаганде и на обличении Михаила Николаевича. Предложение отвергли: обличай, не обличай — такого остолапа не переделаешь.

Трубчевский, я и Серега Орясинов заявили: надо выпустить тайное воззвание и раскидать по городу.

Предложение отвергли: глупо, — объявил кратко Витька.

...Подоспели выпускные экзамены. Мы вставали в три, в четыре часа утра, зубрили, ложились спать нередко за полночь. От недоедания, забот, от недосыпания, от текстов и всякой церковной славянщины мы сильно отощали, ходили с красными припухшими веками. Легче всего дались мне русский язык, география, священная история; по арифметике я едва вытянул.

Незадолго до окончания экзаменов Витька Богоявленский отвел меня в сторону и под секретом сообщил: он видел Фиту-

Ижицу выходящим из дома, где жила Даша. Это было странно. После бесплодных догадок и размышлений мы решили Дашу о Фите-Ижице не спрашивать, но за ним последить самим.

На другой день под вечер Витька после удачного экзамена по латыни отлучился в город, там встретил Дашу, гулял с ней и был «накрыт» Тимохой Саврасовым. После ужина его вызвали в учительскую. Халдей тупо оглядел его с головы до пят, долго барабанил молча пальцами по столу. Тимоха улыбался тяжелой и жирной улыбкой. Халдей равнодушно спросил, где и когда Витька познакомился с белошвейкой Дарьей Васильевой. Витька ответил что-то невразумительное..

— Не зазорно тебе гулять по главной улице со шлюхой? — прогундосил Халдей.

— Скажите, какой кавалер нашелся, — вставил словечко Тимоха.

Витька поспешно ответил:

— Она не шлюха, она работает на машине, помогает семье. У нее отец железнодорожный рабочий.

— Гулящая девка! Продажная тварь!

— Недурное начало для молодого человека, — опять прибавил от себя Тимоха и тухло засмеялся.

Витька молчал.

Халдей поднялся из-за стола, вплотную подошел к Витьке, взял его за пуговицу куртки, медленно спросил:

— Сношения имел?

Витька сначала даже не понял вопроса.

— Сношения имел с этой девкой? — переспросил глухо Халдей.

У Витьки вдруг задрожали колени и мускулы на лице, кровь стала душить его; задышавшись, Витька прохрипел:

— Молчать!.. Дурак!..

Он отшвырнул от себя руку Халдея с плоскими и жесткими ногтями и выбежал из учительской.

...До очередного экзамена Витьку не допустили, вновь вызвали в учительскую и там объявили: за «неблаговидное поведение» он исключается без права поступления в семинарию.

Вечером того же дня Витька со своими скудными пожитками нашел пристанище у дальнего родственника, дьякона.

— Чорт с ней, с семинарией! Не пропадем, — решил твердо Витька и будто даже перестал о случившемся думать.

Мы помогли ему перетащить сундучишко. Трубчевский ухитрился из кладовой «упереть» подушку и одеяло для приятеля. Все это произошло стремительно, и мы не успели даже опамятоваться...

...Сдали последний экзамен по пению. После благодарственного молебна Тимоха произнес выпускникам напутственное слово.

— Ей отвечал благородный, шеломом сверкающий Гектор, — прошептал Любвин, когда Тимоха начал говорить.

Слово тимохино дышало проникновенностью. «Вверенное» училище, преподаватели, наставники старались в меру скромных сил и способностей воспитать своих чад в страхе божьем, в смирении и в послушании. Теперь перед пасомыми, прошедшими искус экзаменов, открыта широкая дорога. Она ведет не только в семинарию, но дальше и выше ко граду небесному, иде же несть болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. Он, Тимоха Саврасов, надеется: воспитанники сохранят о своей alma mater неизгладимую память. Пусть же процветает наша матушка и впредь, пусть веселится она нашей радостью, пусть не старится она и растит благостно святую непоколебимую рать родителям на утешение, церкви и отечеству на пользу. Не забудут новые семинаристы и их, Тимох Саврасовых, этих скромных тружеников на благословенной ниве духовного просвещения, утучненной зело добрыми злаками.

— Штоб ты издох! — раздался вдруг явственный голос на всю церковь из наших рядов.

Возглас, об этом мы догадались позже, принадлежал бывшему вождю диких делаверов, Бурому Медведю, ныне готовому облечься в мундир с синими кантами. Тимоха Саврасов, к счастью для себя, или он притворился, — еще переживал самоупоенность от красоты своего риторства, он даже смежил очи, откинул назад голову и помахивал рукой в воздушных. Серегино замечание обеспокоило Фиту-Ижицу: он судорожно дернулся в нашу сторону, но преступника не открыл и сделал вид, будто ничего не произошло.

После тимохиной элоквенции первых учеников наградили книгами в золотых обрезах и похвальными листами. От Артамошки-Самовара, от Баргамота разило винищем, и бурсаки поближе невольно к ним принюхивались. Коринский блистал новым фракком; Баран мечтательно поглядывал в окно, видно, думая о пчеловодстве и о руководствах к пчеловодству... Халдей лупил оловянные глазища, оттопыренные уши у него просвечивали. Он походил попрежнему на мопса и нетопыря... Старая гвардия еще держалась. Она готовилась к дальнейшим неусыпным просветительным трудам по обработке духовных сирот и неопытных отроков.

Самое существенное, однако, в том состояло для меня и для

Любвина, что общий балл поведения нам вывели не четверку, как угрожал Халдей, а пятерку, хотя и с минусом. Следовательно, мы тоже были семинаристы. После рассказали матери: Халдей уступил училищному совету, нас отстояли Баргамот и Баран.

...Итак... прощай, бурса! Прощай, старая шкодница и греховодница!.. Вот уж поистине: была без радости любовь, разлука будет без печали...

С выпускным билетом в кармане я поспешил к Даше. В последние дни перед окончанием бursы мы опасались к ней заглядывать. Я застал Дашу в слезах. Она сидела у стола в серой полумгле и, когда я открыл двери, только на мгновение отняла платок от лица. У ней вздрагивали плечи, она съежилась, сделалась меньше ростом. Комод был сдвинут с обычного места. На диване в беспорядке валялись платья, блузки, белье. Успокоившись, Даша поведала: накануне явился квартальный надзиратель с предписанием Даше от полиции выселиться в любой другой город: предоставлялся двухдневный срок. Квартальный дополнительно сообщил: на Дашу донесла бурсацкому начальству старуха-домохозяйка, будто к ней, Даше, тайком шляются бурсаки, Даша их принимает, оставляет у себя по ночам, обирает и развращает их. Видимо, именно к старухе ходил недавно Фита-Ижица в связи с ее доносом; своевременно это заметил Витька, но неправильно решил, что Фита был у Даши. Бурса донос старой ябедницы направила в полицейское правление с просьбой оградить будущих батюшек от дашиного растленного соблазна. Местожительством Даша выбрала Козлов, но у нее там не было ни родственников, ни знакомых.

— Как я там устроюсь — одному богу известно, — закончила Даша свое повествование.

Высылали Дашу порядком «отеческим», без «бумаги».

Прическа у Даши растрепалась, шпильки валялись на засоренном полу. Даша не замечала, что разрез блузки, в пестрых горошинах, сполз и открывал до соска левую грудь. И отводил от груди глаза и не мог их отвести. Это белое, мягкое, женское я видел так впервые. Сочувствие дашиному горю, ее слезы, ненависть к бурсе, созерцание женского соска — смешались в сложное, смятенное чувство.

Я подошел к окну, раскрыл его. Низко и ровно прогудел майский жук, темным косяком мелькнула летучая мышь так близко, что я невольно вздрогнул. За рекой, через луг, от черной кромки лесов надвигалась теплая ночь. По мостовой дробно простучала пролетка, звуки в отдалении замерли. В ровной сплошной синеве задрожали далекие звезды. На задворках бursы,

около кухни, громоздились кучи мусора, торчали оглобли водовозных телег с бочками. Из помойки порой доносилось пряное зловоние. Странное очарование! Чистое, нетленное небо и запахи помойки!.. Казалось, я сбрасываю с себя прошлое, как ненужную кожуру, и вновь рождаюсь... Да, на миг я почувствовал себя не подростком, а взрослым, предоставленным только самому себе... И небу, и звездам, и лесу, и реке решительно не было никакого дела ни до меня, ни до слез дашиных, ни до Витьки. Мир равнодушен к нам. Ему недосуг. Он занят собой. Какое бесчувствие! Мы окружены великой немой вселенной. Надеяться можно только на себя и на подобных себе. Это я понял тогда... Я утешал Дашу, как умел, и все не мог забыть округлой груди ее и коричневого соска. Было жутко, стыдно и обольстительно.

Я ушел от Даши около полуночи. Весенний мрак скрывал дорогу...

...Я теперь многое знал о жизни.

...Утром мы принесли с чердака в бурсу библиотеку, после помогали Даше укладываться. Мы хлопотали деловито и угрюмо. Даша, бледная и усталая, была молчалива. Иногда она садилась на диван, задумываясь и забываясь. Иногда она оглядывала нас и еле заметно улыбалась. Из дашиной комнаты была видна квартира Фиты-Ижицы. Он распахнул свое окно. Я сел на подоконник, громко откашлялся, чтобы обратить внимание на себя своего бывшего начальника. Фита строго на меня поглядел. Я выдержал его взгляд. Да, я вот с Дашей, я у нее, и ты, Фита, теперь не волен надо мной. Фита не сводил с меня взгляда. Серега, сзади меня, вложил два пальца в рот и оглушительно свистнул.

— Ах ты, тварь содомская! — крикнул он отдельно.

Фита не спеша закрыл окно.

Часа через три мы суетились на вокзале, таскали дашины узлы и корзины, сдавали в багаж постель, устраивали Дашу в вагоне. На прощание она всех нас накрепко перецеловала.

— Даша, вы на нас не сердитесь? — сказал я ей, когда она перед самым отходом поезда выглядывала из вагона. — Ей-богу, мы не хотели, чтобы вы уезжали.

— Глупости говорите... Меня не вспоминайте худым... Вон Витю выгнали из-за меня.

— Ерунда! — нахмурившись ответил Витька.

— Прощайте, Даша, прощайте! — кричали мы, обращая на себя внимание пассажиров и толпившихся на перроне.

Хотелось сказать ей что-нибудь нежное, значительное, но бурса не научила нас таким словам. Вагон тронулся. В последний раз улыбнулась Даша; влажно сверкнул ее неправильный, острый

зубок. Кому из нас она больше его показывала?..

...Мы долго бежали следом за вагоном. Скрылась Даша, слился с поездом ее вагон, за поворотом исчез и поезд и дым растаял... Мы все глядели вослед ей...

...Пишу эти страницы в горах... В горах осень...

Льдистые дальние вершины блещут в холодной синеве; ближе они нависли темно-серыми громадами. Как четки, чудесны, легки причудливые изломы их в девственных небесах! По этим изломам видно, какой чистый, прозрачный там воздух. Как влекут к себе эти воздушно-нежные и ясные очертания! И лучше всего сознание, что они близки и одновременно далеки и недостижимы. Слегка кружится голова, когда подхожу к пропасти, но голова тоже кружится, если, запрокинув ее, я смотрю на островерхие пики: так высоки они. С отвесных каменистых груд ниспадают горные потоки. Они висят неподвижными серебряными развернутыми свитками. Пусть читает их, кому ведомы их древние письмена. Горы тянут к себе, и от видения снеговых вершин чудится, будто и сам делаешься лучше и чище. С грустью и с завистью слежу я за плавным орлиным полетом. На склонах — березовые рощи... позднее золото листьев... Солнце... Лучи его не разгоняют прохлады, но незаметно опаляют кожу...

В горах горная тишина, беспечальное одиночество. Тишину в горах слышно. Одиночество в горах слышно. Бытовое, чем живут внизу люди, отпало. Дольний мир лежит минувшим, подобный потухнувшим воспоминаниям.

...Над изломами гор, там, где они соприкасаются с небом — светлая нежнейшая кромка, еле зримая.

...«Древне-разломанные горы»...

...Горы-престол...

...Горы в снегах...

Думаю о Даше, о дашиной судьбе. Ничего мне о ней не известно. Да и жива ли она?

Ситцевая Даша...

И жизнь твоя пройдет незрима
В краю безлюдном, безымянном,
На незамеченной земле, —
Как исчезает облак дыма
На небе тусклом и туманном
В весенней беспредельной мгле...

...Никогда не была для меня Даша ни первой и никакой другой любовью, и самое слово это, к ней отнесенное, звучало бы

здесь неуместно и пошло. И стихов ей никто не писал. И забыли мы ее в пору нашей юности скоро. Но признаюсь: многие встречи с прославленными людьми, беседы с ними, умные и поучительные, без раздумий я променял бы теперь на встречу и на беседу с ситцевой Дашей, какой знал я ее в далекие бурсацкие годы. Не знаю, для чего нужно повидаться мне с Дашей, а повидаться хочется. Должно быть, нужно рассказать ей о пройденных путях, о жизни, о смерти, о вечном и неутолимом томлении духа, о несведенных концах, о новой земле отцов моих, о свершенных и несвершенных делах, о недопетых и неспетых песнях, о словах неизреченных и о многом, о многом ином... А, пожалуй, и говорить-то ничего не следует, а лучше посидеть в дашиной комнате в весенние сумерки, без лампы, когда за окном гаснет тихо закат древней позолотой и между облаками и позлащенными краями застыла озерами лазурь, а темный лес за мирной рекой уже в ночных сновидениях, а березка клонит долу скромные ветки. Звенит негромко гитара, и склонилась над ней простодушная Даша в белом платье с темными горошинами, сродная небогатым нашим, не пышным полям, добрая, сердечная. Перебирая струны, Даша поднимает голову, неопределенно улыбается, говорит какие-то совсем простые слова; неправильный зубок выделяется в темноте. А около Даши сидим мы, бездомные бурсаки, обойденные жизнью, и отдыхаем от бурсы...

Немного хотелось бы вернуть мне из прошлого и вновь пережить... И вот опять бы пробираться школьником к Даше тайком с орехами и леденцами в карманах и жалеть, что денег всего только двадцать копеек и угощение слишком уж скромное...

...А где остальные?..

Сергея Орясинов работал врачом-хирургом на старой войне, сделал, по словам его, тысячи операций. В семнадцатом году летом, будучи в Петрограде, вышел он под вечер из своей холостецкой квартиры, да так и не возвратился совсем — пропал без вести.

Любвин, наш Стальное Тело с чугунным гашником, окончил коммерческий институт. Ныне на юге работает фининспектором.

Обременен семьей.

След Витьки Богоявленского отыскался в восемнадцатом году. Рассказывали, что во время войны с немцами командовал он батареей, побывал и в Австрии и в Румынии. В гражданскую войну большевиком-командиром носился по Украине, по уральским степям, где-то под Златоустом, и у себя, в родных краях. Здесь, между прочим, расстрелял он священника Басова, нашего сверстника по школе. У этого Басова председатель

сельского совета отобрал лошадь и тарантас. Когда пришли белые, Басов донес на председателя. Председателя после истязаний повесили. Село занял своей частью Витька и на другой же день казнил своего школьного товарища. Представляю, каким залихватским матом изъяснялся на фронтах Витька и как он хвастался любовными победами!

Живот же свой Виталий Богоявленский положил на поле красной брани в двадцатом году под Харьковом...

...Накануне разъезда мы закупили колбасы, воблы, печеных яиц, булок, красного церковного вина, сняли лодку и отправились за город в лес. Вечерний звон медленно плыл за нами по реке. Река казалась застывшей. Она отражала небеса. От прибрежных камышей шел еле слышный зеленый шелест. За железнодорожным мостом мы выбрали песчаный берег, развели костер. На елях и соснах блестела паутина. Лес курился синей душистой дымкой. На сияющий солнечный круг уже можно было глядеть. Меж деревьями от него рассыпались мелкие стрелчатые лучи. Справа от нас, шагах в двадцати, зеленел старый кряжистый дуб. Солнце ударяло в его вершину; закатный жидкий свет ложился на груды листвы, мешался с ней, но был не в силах уже разогнать сумрак. Он был угрюм, старый многодумный дуб. Песок не успел еще остыть.

Мы устроили совещание о библиотеке. Ее передали кружку бурсаков. Решили: библиотека в надежных руках. Один Любвин высказал опасения. Его не поддержали.

...Приступили к закускам и к вину. Пили мы его вместе в первый раз.

Я сказал друзьям:

— За тех, кого нет с нами...

— Нет Шурки Елеонского...

— Нет Пети Хорошавского...

— Нет нашей Даши.

— Да и Витя уже как бы не с нами... исключен.

Трубчевский полусмешно, полусерьезно прочитал:

Этот кубок вам, друзья,
Двое или трое,
С кем не раз был весел я
В сладостном покое,
С кем не раз переживал
Мрак времен суровых,
Славлю вас, подняв бокал,
Старых или новых.

Вспомнили писателей-бурсаков: Помяловского, Решетникова, Левитова, Добролюбова. За них выпили. Уже стемнело. Огонь играл на наших лицах и отражался в воде. Над рекой плыл туман; чудилось, что и мы плывем.

— ...Вот Даша... — вспомнил опять ее Серега и не закончил.

— ...Да, вот Даша... Даша, — вымолвил я, — освобождала нас от бурсы. Она больше всех выбила из меня бурсака, да и из вас также, друзья мои.

— Это верно, — опять согласились все в один голос.

— Ты, Витька, не горюй, что тебе пришлось пострадать за Дашу, — заметил Трубчевский.

— Она тоже за нас пострадала, — прогудел Любвин, подкладывая в костер сучьев.

Витка молодецки опорожнил стакан, точно он был взаправду опытным выпивохой, сдвинул на затылок фуражку, выпятил нижнюю губу.

— Чепуха... Я недаром поплатился за Дашу. Кое-что я за это имею.

— Что же именно ты за это имеешь? — спросил я его с недоумением.

Витька преважно ответил:

— Что наш брат имеет от женщин, то от нее я и имею.

— Врешь! — сказал я, отбрасывая в сторону палку, обожженную в костре.

— Брешешь! — молвили Серега и Трубчевский.

— Не вру и не брешу, — заявил упрямо Витька. — Я, братишки мои, не зевал, как вы... Я свое дело знаю... Зато меня и уволили.

...Да, таков был Витька Богоявленский, не хуже и не лучше, превосходный товарищ, но удивительный и вздорный враль, едва дело касалось его любовных походов и побед!.. Он не пожалел даже Даши.

— Витька, — сказал я ему мягко, — Витька, не ври! Ты прямо ополоумел. Признайся, ты солгал нам.

— Я солгал? — вскрикнул Витька и рассыпал искры из глаз.

— Нет, ты не солгал, ты пошутил над нами.

— Пусть шутит, кто угодно, а мне не до шуток.

— Ты, Витька, рыцарски себя вел перед Халдеем.

— Я покажу вам рыцаря, дышло вам в рот! — совсем сатанея, заревел Витька и потряс даже головешкой.

Мы не обратили внимания на Любвина, а он уже сидел с чугунным лицом и застыл, точно статуя. Потом вдруг сорвался с места и, ни на кого не глядя и словно ничего не видя перед собой, быстро скрылся в темноте за деревьями. Витька сразу осекся,

схватил за хвост тарань и стал неистово отбивать ее о каблук сапога. Все угрюмо молчали, усиленно подкладывая сучья в костер.

Любвин возвратился к костру. Сел и уперся взглядом в землю. Подглазники у него были краснее обыкновенного.

— Выпьем еще за Дашу! — предложил неестественным голосом Витька.

— Я с тобой согласен, — обратился он ко мне, — Даша из нас выколачивала бурсу.

Витькины слова нужно было перевести так: — Ты прав. Я немного заврался.

Все вздохнули свободнее, налили церковного вина; один Любвин не пошевелился. Мы его не упрашивали.

...Костер сухо трещал. В нем горело наше прошлое. А отсветы уводили в будущее. Оно было багровое. Кругом реяли безобразные тени. Где-то оттопыривал огромные тонкие уши Халдей, с прожилками, напоминающими пауков. Не знал я, понятно, тогда, что долго эти уши будут висеть надо мной, что всюду они будут меня преследовать, ловить мои самые сокровенные поступки и помыслы. Что даже в тюремных подвалах и в далеких забытых краях не укроешься от них... Да... Уши Халдея!.. Россия!.. Россия Малют, застенков, тайных канцелярий, охранок!

Пропахнувшие дымом, мы затушили костер, уселись в лодку, миновали железнодорожный мост, причалили к Эльдорадо, к местечку в лесу, где торговали пирожками, мороженым, водкой, закусками. На берегу к нам подошел пьяница Платоныч, бывший академик и преподаватель в семинарии, босяк и шатун по ночлежкам. На этот раз он был трезвее обычного. В опорках, с огромными мешками под глазами, в грязных лохмотьях, насмешливо он оглядел нас.

— Зачем, бурсачье, сюда затесались?.. Перешли в семинарию?.. Ага... Рады? Чему, дураки, радуетесь?.. Человечество разыгрывает пошлейший и гнуснейший фарс, а старается выдать его за глубокую, осмысленную трагедию. Врут... сочиняют всеобщую историю... Нет никакого смысла в истории. Читали «Кандид»? Раблэ и Свифта тоже не читали?.. Между прочим: из вас сделают болванов и народных обирал. Только и всего.

— Не сделают, — ответил уверенно Витька.

Платоныч присвистнул, погрозился.

— Эге!.. Все желторотики и желтопузики так болтают, а напроверку выходят здоровенными подлецами, пройдохами и живодерами.

— А ты знаешь, где правда и какая она? — спросил я.

Платоныч сел на траву, закурил папиросу, провел рукой по опухшему лицу.

— Знаю две правды... две истины... На краю могилы познал я их...

Платоныч поглядел на свои лохмотья.

— Истина первая:

Стою задумчивый над жизненной стезей
И скромно кланяюсь прохожим...

— ...Ничего не надо... Ничего ни от кого... Пушкин не кичился перед неграмотной няней. Я тоже не кичусь, не горжусь. Смиренно прошу... двугривенный... хочу униженья...

— Истина вторая и последняя:

Во всем мне слышится таинственный привет
Обетованного забвенья...

— ...Понимаешь, желтопузик... Таинственный... Истина всех истин. Голос вечности... Потому: жизнь — река, смерть — море...

Платоныч вдруг резко поднялся, махнул сердито рукой, обнаженной по локоть из-под лохмотьев:

— А, ну вас! Все равно ничего не поймете...

Он зашагал к кабаку. Меж деревьями кабак светился желтыми пьяными огнями.

...Мы отчалили. Безмолвие и ночь простирались над тихой землей... Скрип уключин... удары весел... негромкие наши голоса... Журчала вода, напоминая о неустанном течении жизни... За излучиной на взгорье темными горами в редких огнях открывался город.

Я вспомнил аргонавтах...

...Где-то наше золотое руно?..

23 октября 1932 г.

Примечания

Индийские прозвища иногда не соответствуют *индусскому* обществу: сообщество было организовано позже увлечения индейцами; бурсаки, наделившие себя раньше разными именами, не соглашались их менять.